

*Свердлов*

№ 2 (912) · 1981

ISSN 0131-6044

# РОМАНОВ ГАЗЕТА



АЛЕКСАНДР ПЛЕТНЕВ  
ШАХТА

## **АЛЕКСАНДР ПЛЕТНЕВ**

Александр Никитич Плетнев родился в 1933 году в сибирской деревне Трудовая тринадцатым в семье.

До призыва в армию был рабочим совхоза в деревне Межозерье. После демобилизации остался в Приморье и двадцать лет проработал на шахте «Дальневосточная» в городе Артеме. Там же закончил вечернюю школу.

Произведения А. Плетнева начали печататься в 1968 году. В 1973 году во Владивостоке вышла его первая книга — «Чтоб жил и помнил». По рекомендации Евгения Носова и Валентина Распутина его приняли в Союз писателей СССР, а в 1975 году направили учиться на Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького. А. Плетнев был участником VI Всесоюзного совещания молодых писателей, где его произведения получили высокую оценку. Он продолжает активно работать: появляются его новые книги — «Дивное дело», «Когда улетают журавли».

Роман «Шахта» — первое крупное произведение прозаика.

Александр Плетнев—лауреат Всесоюзного литературного конкурса имени Николая Островского. По итогам Всесоюзного конкурса ВЦСПС и Союза писателей СССР на лучшее произведение художественной прозы о современном рабочем классе А. Плетневу присуждена за этот роман первая премия,

# РОМАН- ГАЗЕТА

ОСНОВАНА В 1927г

№ 2 (912)  
1981

ИЗДАНИЕ ГОСКОМИЗДАТА СССР  
МОСКВА

АЛЕКСАНДР ПЛЕТНЕВ

## ШАХТА

РОМАН

Тот сентябрь в Приморье был тайфунным. Из-за сопки с океана врывались в долину тугие, рывучие ветры, плотно забивали низкое небо темно-серой массой, и проливались хлесткие, долгие дожди; реки и речки сносили мосты, рвали плотины, затопляли жилье, и даже через монолитную бетонную крепь ствола шахты пробивалась вода, обваливаясь в глубину; штреки становились сырими, скользкими от насыщенной влагой струи воздуха, и тогда тяжело работалось в забоях.

Начало осени—время тайфунов, но обычно пронесутся за месяц два-три ветродуя-вододея, коротких и буйных, а меж ними и после них — дни, будто выкованные из золота, и небо из крепкой сини натянуто над долиной — от сопки до сопки. Но тот сентябрь был особый; видно, один и тот же тайфун толкся на одном месте, вихрил и не хотел уходить.

Михаил во вторую смену работал до часа ночи, и едва кончилась смена и остановились конвейеры, а уж напарники на ходу надевали куртки на пропитанные потом рубахи, пригнувшись, как перепелки в скошенной траве, спешно уходили гуськом: «шух-шух-шух». «Догоняй, Михаи-ил!» — едва донесся голос, свет истлел за ними — и тишина.

Он сбросил с себя майку, выжал пот, а когда надел ее, выжатую, то будто змеи опоясали тело, — до того показалась холодной. Снял с деревянного колышка, вбитого в рудстойку, куртку, перекинул через плечо ремень самоспасателя-противогаза и, скользя спиной по рудстойке, сел на почву. «Хлещет, должно, на-гора», — подумал, почему-то беспокоясь, и чувствовал вместе с беспокойством истомную слабость: ни рукой, ни ногой не двинул бы. Не помнил, чтобы такое с ним было раньше, но только левая сторона груди вся затяжелела, и хотелось спать. Безлюдная тьма лавы едва дышала почти горячей рудничной атмосферой, словно этот воздух исходил из пасти зверя. Михаил торопливо допил из фляги теплую

© Издательство «Молодая гвардия», 1980 г.

4 Романгазета № &

1

воду и опять расслабился, затих, прислонив голову к рудстойке.

Звуки, оказывается, жили, — это после металлического лязганья конвейера, глухого грохота комбайна лава показала пустой. «Гук-гук-гу-ук», — где-то далеко вверх лопалась, разламывалась порода, будто кто-то работал там, долбил обушкой. «Ах-х, кох-х, уф-ф», — стонали, кряхтели рудстойки, медленно погибая под тяжестью, а в самом тупике отработанного пространства лавы, где рудстойки почти все были поставлены «на колени», обрывались, глухо шлепали коржи породы, шлеп-шлеп — редко так, вроде кто-то ступает: ступит и прислушивается, и опять сделает шаг-два, и вновь затаится.

«Яшка ходит», — говорят шахтеры. А бывает, во время работы вдруг «заиграет» кровля, хлынет порода обвалом, и какой-нибудь шахтер то ли в шутку, то ли всерьез кричит из безопасного места: «Яшка, ты чего на своих-то?! На своих-то ты чего?»

Давно-давно, когда еще и дед Андрей в шахте не работал, рассказывают, трудился забойщиком паренек Яшка. Любили его на руднике (тогда углем в долине владел капиталист, а вместо теперешнего города Многоудобного Пльвунный рудник был) за вольный нрав; часто он подбивал шахтеров на бунты против хозяина, ну, хозяин подговорил своих слуг, те и устроили обвал, захоронили живьем Яшку в глубокой земле у самого угля. Люди побоялись хозяина, не стали сразу Яшку откапывать, а потом будто бы решились, да не нашли Яшку в завале — ушел он сам, а как и куда — неизвестно, больше никто никогда его не видел. Только ходит он с той поры за завалами, над старыми и новыми забоями, то забудет про свою обиду, и тогда не давит кровля, не обрывается сверху порода, и работается людям спокойно, то вдруг разбушует, разгневется, и начинается усадистое давление, размальывает крепь, до угля на животе еле проползают, а там Яшка наберет в горсть мелкой породы и сыплет, как горохом, на каски да спины — это самое опасное, когда мелочь «закапает», «задождит». Яшка предупреждает: уноси ноги! «Капеж» не обманул ни разу — обвал не минует.

Складно люди придумали эту печальную легенду. Может, и не было Яшки в жизни, но уж приметы подземные знай-ведай, коль в шахту пришел, не гордись, приглядывай за каждой мелочишкой, думай-соображай, иначе Яшка этот набьет тебе шишку или того хуже. Тут чистый опыт, и ничего больше. Науки нету, чтоб изучил — и работай. Ни одна умная голова для шахтерского дела такой науки придумать не могла. Так и называется: «горное дело», а раньше горным искусством называли. Вот как — искусством! А искусство, как известно, дара и таланта требует..

Михаил сидел, отдыхал, слушал жизнь и —•  
воженных недр и по гуркотящим, шлепающим, жело отпыхивающим звукам почти точно знал, что происходит в породе над его головой, зне: лава «постарела», что кровля «затяжелела» а ней, и если лаве не сделать ремонт, то чере; : :• ки-двое кровля «сядет по-черному», то есть запечатает лаву обвалом вместе с конвейером и **S : M** - байном. Потом ему подумалось, что кровля терпеть больше не станет и «сядет- прямо сейчас, но уходить не поторопился — так тянуло те.: почве, что и осторожность пропала.

Перед спуском в шахту Михант мнил начальнику участка Василию Матвеет : Голте ну, что надо приостановить лаву -для тот подозвал тогда Михаила к стону, тловнс , не хватало сил говорить на расе: ров, и сказал каким-то мятым, жевавь что и вплотную было еле слышно:

— Ты, Свешнев, знаешь главное к \_\_\_\_\_• тера? — И сам же ответил: — Это сме.т.:е на-ходчивость, риск, конечно. Выдержит етее - =-ля!

Борис Черняев, горный мастер двадпа : :• лым лет, что-то старательно записывал з заму-соленный толстый журнал и тут бросил р; уставил удивленное лицо в такого непрнзчы:-: смелого Головкина.

— Здесь, конечно, не опасно... — показа.: на стол Черняев. — А лаву надо закорстри! — ск;.: i с упрямым вызовом.

— Закострим в свое время, — мягко, но настойчиво клонил к своему Головкин. — А сегодня я с вас уголь спрошу...

Михаила Головкин тоже немало удивил.

— Ефим! — окликнул бригадира Колыбаева. — Слышал, что я сказал? И ты, Петр...

Петр Азоркин в углу, у дверей, пытал Валер-, ку Ковалева:

— Кроху имеешь?

— Чего?

— Ну девку, — скалился Азоркяв. — Слушай сюда, — басил он приглушенно. — Я тебя научу. Лошадь, говорят, бояся сзая, а бабу спереди...

— Хы-хы!.. — тряс Валерка кудрями и краснел. — Как это?..

— Петр! Ефим! — звал Михаил. — Не касается, что ли?

— Раз начальство решило... — Азоркин выказал из-за спины смуглое горбоносое лицо. — Чего дуть-то против ветра! — И опять к Валерке: — Эх, мне бы твои годы...

— Ладно, на месте увидим, что делать. — Колыбаев лениво разглядывал по-совиному желтшо круглыми глазами запроваленный кузнецовый ключ, стучал серым горбылем **НОИ** летовой стали. — Недокалил, сапожник. а репа, — ворчал незлобиво, будте раег-сасf *шежи* не о лаве, а о ключе.

«— Свое дело знай, Свешнев,— почувствовал поддержку Колыбаева Головкин. — Если каждый будет не в свое...

— Вы чего крутите-то? Не против ветра, а против себя дуем!..

— Закострим лаву,— уже слабее настаивал Черняев. — И дуть тут нечего.

— Садись, Свешнев. Сядь, наряд мешаешь давать,— задвигал Головкин губами, похожими на грибы-моховики.

Михаилу подумалось некстати: если хлопнуть Головкина по плечу, то из-под ладони вылетит зеленый дымок глена. «А ведь лет на десяток старше меня... И всю жизнь не подымался из-за стола. Видно, без движения тела и души трухлявостью взялся». И показалось, скребни его, сделай прорешку — и вытечет он, оседет, как пустой мешок. Но все же сидела в Головкине какая-то пружина, постоянно и монотонно двигающая его, как шестеренки часов. Все уже привыкли к тому, что Головкин такой: размазня-тесто, ни себе, ни людям радости. Ну и ладно, дыши себе, сопи, поглядывай на все осоловелым взглядом, а мы сами по себе, в свободе, без понуканий и нажимов, станем вести забор, выгонять на-гора уголь. Да, станем... если бы так все было! Пухлая рука Головкина много лет вела участок, будто лошадь под уздцы. Не было ее, свободы-то,— невидимый поводок-то, похоже, крепкий был. Ах, черт, да кто же с этого поводка рвется? Колыбаев? Так он в молодости свою меру определил: «Мне,— сказал как-то,— все равно: хоть уголь лопатой наваливать, хоть тебя на этой лопате по штреку возить — лишь бы деньги платили». Черняев вот появился, как штычок ранневсходного злака: прямой до опасной хрупкости. Его самого беречь надо, пока не поймет, что прямо сорока летает, да дома никогда не бывает. Такого даже Головкин без наруги через колено сломает,

...В начале смены в лаву со штрека вползали по-собачьи на четвереньках — до того вход в лаву зажат. Азоркин последним вполз, на четырех косяках стоя, подумавшись: руку вытянул, словно лапу в стойке, слух насторожил к «разговору» кровли.

— Гав, гав!

Колыбаев крутил головой, большой и круглой, оглядывал кровлю. Шеи у него, казалось, совсем не было, и голова крутилась прямо в плечах, точно в шаровом соединении.

— Мышеловка-западня, а не лава... — заключил и неторопливо разделся до майки, открыв бочкообразное тело на коротких, толстых ногах.

— Ты, Ефим, совсем что-то врасширку пошел,— оглядел его Азоркин. — Тебя, как бочку, катать можно, ей-богу.

Валерка Ковалев, шахтер-первогодок, как сидел на конвейере, пил воду из фляги, так и повалился, взвизгивал по-девчоночьи, вскидывая ноги в резиновых сапогах последнего размера.

— Ну ты... жердина! — Колыбаев уставился на Валерку выпуклыми глазами, словно их кто выдавливал изнутри. — Кабель вон за комбайном расправь — весь в узлах...

Валерка с услужливой виноватостью кинулся выполнять приказ, осклизаясь на кусках угля, ударился каской о сломанный верхняк-перекладную, отскочил да об рудстойку плечом пришелся.

— Спокойней, Валера! — крикнул Михаил и с сожалением подумал: «Ему к на-гора небось тесно, а тут, как в клетке, бьется. Вымахал, угловастик. В шахту залез, дурачок. Сколько профессий под солнышком наплодилось, а выбрать не смог, научить, видно, некому. — И тут же на свое перекинулся: — Тыфу, разжалелся, а у самого, учителя, сын не в горный ли техникум пошел?..»

Думая о такой несуразности, удивляясь ей, Михаил, однако, помнил и о настоящей минуте.

— Так как, мужики, костры будем выкладывать? — обратился к напарникам.

— Не было наряда кострить. Я за двести тонн угля расписался,— сказал Колыбаев, перематывая осклизшую от пота, шибящую тухлостью портянку. — «Москвичи» опять на шахту пришли... — внезапно сменил он разговор. — Комаров говорит, бери автомобиль, а "тут три тыщи, ну никак, хоть умри!.. — Бригадир хлестнул портянкой об рудстойку, задумался все об одном и том же: когда к пяти тысячам рублей он сможет добавить еще три и купить машину. Вид у него был несчастный постоянно, если кто заводил разговор о машинах. Пять — он скопил легко, а на трех тысячах «забуксовал» — дети, стали старшеклассниками.

— Вонючий же ты, козлина. — Азоркин брезгливо сморщился, укладываясь на доску-семерку. — Леня в стирку сдать... Ты и «Москвича» завоняешь.

— Тебе что, спальня тут?! — окрысился Колыбаев и, надувшись, закричал Валерке: — Узнай та-ам! Запустят, нет конвейер, в крестителя их мать!

— Ты чего, Ефим: «Наряд, наряд!» Сам же сказал, посмотрим на месте. Ну гляди... — Михаил направил сноп света в отработанное пространство, где кровля, перекалечив крепь и нависнув брюшиной, едва не касалась почвы. — Ей же и помощь-то небольшая нужна. — Он говорил о лаве, как о живой. — Пяток костров, часа на три работы, и жива-здоровая...

Но Колыбаев в завал не глядел, отвернулся даже, всем видом показывая, что речь идет о пустом.

— Брось ты, Михаил, дуб кулаком перешибать,— сказал Азоркин, позевывая. Он лежал

вверх липом, прикрыв каской глаза. — Кровля садиться начнет — убежим. Ноги в руки — и тягу. Не в первый раз: за двадцать лет побегали. — Зевнул с подвывом, помечтал: — Эх, с часик бы конвейер не включали... Ночка была, скажу я вам! Не ночка, а эта... Курская дуга. Сегодня бы еще после смены, только Райка моя пасти стала. Раньше ничего, а сейчас за каждым шагом следит. Трудно жить, мужики!..

— Пойти позвонить Головкину, что ли?.. Пусть сам поглядит на лаву, он же еще в нарядной сидит... — говорил Михаил не то себе, не то Колыбаеву с Азоркиным.

— Кто сидит? — Азоркин приподнялся на локоть. — Отсиделся наш Василий Матвеевич, к Ольге-киоскерше теперь уволокся. Точно! — поспешно заверил он, заметив, как Михаил и Колыбаев вдруг уставились на него.

— Подь ты, разыгрывать-то!.. — Колыбаев попробовал выразить безразличие на лице, но не выдержал. — Он же это... еле ходит. Зажирел, как гусак в мешке, а Ольге много ли больше двадцати?

• — Дурак старый! — Азоркин поднялся, хотнул. — Хмельной, целоваться ко мне лез: «Петя, Петруша, не ты, так умер бы, не познал счастья, — подражая голосу Головкина, "гундосил Азоркин. — Вроде кто-то ожил другой во мне». Тьфу! Противно глядеть на него. И Ольга — умру, дескать, без тебя. Это Ольга-то умрет без него, жирного бобра. Ну, сдохнуть мне! Я же Ольгу передал ему со всеми рекомендациями и правилами эксплуатации, — с циничным наслаждением пояснил он. — Она мне то же самое говорила...

— Закрой помойку! — оборвал Михаил Азоркина. — Захлебнешься когда-нибудь...

— А ты...

Комок породы с килограмм скользнул из-за верхняка, долбанул Азоркина по хребту, тот аж подпрыгнул, сторбившись, зашипел от боли по кошачьи.

— Ха-ха, — тряхнуло смехом бочку-торс Колыбаева. — Яшка знает, за что бить!..

Азоркин выворачивал руку, силясь достать ушибленное место, сипел:

— Завидуешь, Миша! Всю жизнь один хлеб ешь, вот и завидуешь...

— Оскотинился ты до крайности! — Михаил подтягивал зубки на рабочем органе комбайна, даванул на ключ, тот сорвался, козанки сжатого кулака встретились с литым зубком; боль прошла по костям в плечо, стеклась в сердце, озлобляя его и обессиливая. — Девку-недоростка растлил и хвалишься... Браконьер!

Работать он старался спокойно, боли напарникам не выказал, только до ломоты сжал зубы да глаза за припухлостью век глубже упрятал.

— Чего браконьер? — Азоркин было улегся, но резко сел. — Она и недоростком была вон, —

стукнул по доске р^дстойкой не т-з.-ять! — Повалился опять на доску, сказал мг;.: — Нашел кого жалеть! Баб жалеть!..

Слова Михаила, видно, нисколько не задели Азоркина. Вид у него был сонливый, точно у кота, разогревшегося на печи. Подперез голову рукой, плавно изогнувшись, так, что грудь и спичну, будто коваными латами, облеки.-: мышцами до тонкой поясницы, Азоркин цедил ленивый взгляд через полусмеженные ресницы и лениво говорил:

— Браконьер!.. Не со мной, та\* с другим... Ольга эта... Они такие, как перезревшие орехи раскальваются. Самостоятельную-то не гггбо... Жалел бы я их!

— Что ж, ни одна не придавила сердце-то, самостоятельная?.. — с робкой надеждой попытал Михаил.

— Нет, ни одна. Да мне она никогда не встречалась, самостоятельная-то. — Азоркин слабо пожал плечами: дескать, что делать, если все такие.

Монотонно, словно заведенный, Катабаев точил брусочком топор. «Черт бы с тобой — живи, как хочется, — думал об Азоркине Михаил. — Только Ольгу-то развратил и Валерку теперь развращает...»

Одно удивляло: почему тянет к нему женщин? Красивый ветродуй; лишь бы сегодня прожить, а завтра хоть солнце не всходи — этим, что ли, привлекает их к себе? Мою Валентину хотя бы взять — замужняя, двухдетная, а тоже тянет заглянуть в чужой огород, хоть и знает, что Азоркину еще ни одна не нужна была на всю жизнь.

Всякий раз, когда Азоркин приходил к Свешневым, то вроде в шутку обнимался и целовался с Валентиной в прихожей и потом в комнате как-то все оказывался рядом с ней. шутил с намеками, грубо; то за руку ее возьмет, то приобнимет, а глаза похотливые, откровенные. «Да ладно тебе, да отстань, — притворно возмусзлась Валентина, но Михаил видел, как она ШаМаа вся\*, щеки ее пылали, глаза туманились. — Мала, зашти...» И все посмеивались. И Михаил поддерживал смех, стараясь изо всех сил показать, что все здесь чисто, невинно. Смех получался искусственным, потому что ему было стыдно за Азоркина с Валентиной и за себя тоже. Особенно было стыдно за Валентину. Не замуж же она за него собиралась, замужняя и детная, да еще зная о дурной славе Азоркина.

Азоркин вызывал Михаила покурить и нарочито в подробностях рассказывал о своих последних любовных утехх, но вдруг менялся в момент, обмякал.

— Не знаю, Миша, — грустил Азоркин голо-сом. — Я им во, — показывал большим пальцем кончик мизинца, — ни на столько нн одной не верю...

— Да-а, тяжело тебе,— хитро сочувствовал Михаил. — И я помочь ничем не могу, чтоб они все тебе верность сохраняли, тут, знаешь, что? — отламывал от куста сирени ветку. — Ты замок каменный выстрой. Так? Тут — ров, железные двери. Евнухов найми. Ну, как эти... ханы. Правда, власти не позволят... и деньги опять же... У тебя своя-то семья в каком домишке?..

— Смеешься?..

— Горе твое смешное. — Михаил резко отбрасывал ветку. — Не мужское горе! Плакал бы с тобой...

— И заплачешь,— обещал Азоркин. — Вот она,— кивал головой в сторону веранды, откуда поглядывала на них Валентина. — Плывет, что масло на сковородке. Верить ей?

— Твое-то дело, верю, не верю? У тебя жена есть. Вот и испытывай на ней свою веру.

— Испытай! Может, я ночью в шахту, а она...—Азоркин сплевывал, делая обиженное лицо, замолкал.

— Сколько же ты своим ядом жизнью потравил!.. — На бледном лице Михаила проступал морковный румянец, так, казалось, униженно звучали эти слова, точно пощады просил у Азоркина, дескать, не трогай мою семью. И Азоркин так, должно быть, его и понимал, носогубные складки потягивал то ли в сожалеющей, то ли в презрительной улыбке.

— Боишься?..

«Боюсь»,— хотелось Михаилу признаться. На вопрос Азоркина не отвечал, сам спрашивал:

— Семьи рушишь... Детей-то чужих не жалко? Да и свои есть...

— Чего?! — недоумевал Азоркин. — А-а, вон ты к чему! — Шевелил раздутыми, как у норвистой лошади, ноздрями. — Жить тоскливо! — говорил и уходил, не прощаясь.

Азоркин за калитку, а с Валентины тотчас же слетало веселье — мрачнела, делалась раздражительной. Михаил знал, как ей хочется, чтоб он задел ее словом, а она бы потом нашла повод, как вывернуть это слово против него, излить на него свое раздражение. Но он молчал, этим пуще раздраживая ее. Валентина опасно гремела посудой, суежилась по дому, словно, в" спешке искала чего; мимо Михаила проносила свое крупное перехватистое в поясище тело, аж ветром опахивало: «Ничего, попылай. — Михаил усаживался с книгой на веранде, у широкого, во всю стену, окна. — Темное выгорает в тебе, бесит твою душу. Светлое-то так бы не гоняло тебя, а тихой печалью придавило бы». А Валентина, глядь, и в самом деле притихала, что делала — не видела вроде. Вот тогда и забанзался Михаил. Терпел, терпел да и не выдерживал, спрашивал:

— Ты чего, захворала, что ли?

— Ничего,— отвечала таким тоном, что ясно: он заранее во всем виноват. А на правом глазу

ее при этом коричневая крапинка-треугольничек расплывалась, тонула в глубокой темной серости. А копь утонула крапинка, значит, правды от слов жены не жди — признак верный. И еще, это в гневе она, когда крапинка тонет.

— Захворает тут... Ревнует к каждому пню...—Литыми вислыми плечами подергивала, ровно кто неприятный прикасался к ним. — К Азоркину ведь ревнуешь!..

— Ладно!.. — суровел Михаил. — Галька вон, Лыткова... выздоровела. Одна с троими осталась, так... ни кожи, ни рожи теперь. Вылечил Азоркин...

Валентина вздрагивала и напряженно, словно в ожидании удара, склонялась над столом. Лицо ее калилось жаром, и даже полоска пробора на голове розовела. «Вот сейчас взорвется, если я несправедлив,— ждал Михаил. Но Валентина — ни слова, и сердце его провалисто затихало, холодело, будто в груди стылый сквозняк гулял. Видно, и вправду мугили бесы душу — ни соврать, ни правду сказать. — Охота тайком сладкого полакать, и не больше, потому и сказать нечего...»

...Азоркин спал в одной майке на сырой доске.

— Ефим, прикрой его. Наспит чахотку.

Колыбаев не приостановился, точил топор. Михаил вылез из-за комбайна, накрыл Азоркина спецовкой, подоткнул полы под его твердый, точно дерево, бок. Азоркин тянул носом насморочно, не просыпаясь. Спит Азоркин, такой беспомощный во сне, и грубоватые красивые черты лица его смягчены едва заметной улыбкой. Что ему снится? Да ясно, что спящий не свои думы думает. Левая ладонь полускрючена в серых острых полусах мозолей; в дюжее ребристое от вен запястье врезался пропитанный потом и угольной пылью ремешок от часов — никогда часы не снимает, даже в бане — они у него пылеводонепроницаемые. Азоркин гордится ими и хвалится как-то по-детски: «Во, гляди! — бац о рудстойку. — На, слушай». И расхохочется — такая душа нарастопашку. «Черт ты баламутный», — чему-то улыбнулся Михаил. Снял острый блин породы, кажется, на одном воздухе державшийся над Азоркиным, швырнул его в завальную сторону и едва услышал шлепок падения — звук заглушил рассыпчатый треск, словно со всех сторон ломали мелкий сухой хворост. В отработанном пространстве, где день назад в рост стояли, сегодня не проползти —> там, в кромешней тьме, погромыхивало далеким глухим громом да из глубоких разломов кровли с внезапным ливневым шумом вытекала мелочь.

Всего метрах в пятидесяти, а казалось, в недостижимой дали тусклой ниточкой длиной с полногтя желтел выход из лавы. «Не убежим, если чего. Тут и останемся...» — подумал Михаил как

о чем-то обычном и постороннем и, вытянув шею, зачем-то напряженно глядялся в сторону выхода, и этот кусочек желтой нитки вроде бы уменьшался, чернел, исходя на нет. Михаилу почувствовалось, что в лаву перестал втекать воздух. Он, будто сглатывал с блюда кипяток, потянул в себя со свистом и — что вдыхал, что не вдыхал — все равно воздуху не хватало. И вдруг остро осознал, с каким хилым запасом сил крепь удерживает над его головой возможную смерть. «Вот сейчас бы уйти и не оглянуться... Нет, нужно не идти, а бежать. Не успеть шагом до выхода». Но не пошел и не побежал. Двадцати лет не хватило, чтоб уйти — куда же теперь! Михаил присел на корточки, обхватив голову руками, сжался. «Сейчас страшно, а потом — ничего... Азоркину хорошо — спит. Ноль раз, ноль два, ноль три», — отсчитывал. «Тик-так, тик-так», — прямо в перепонки ушей бил молоточек азоркиных часов, смешиваясь с шумом кровли, а в крепко сжатых глазах — громадное закатное солнце вспухало, вспухало...

Ему вдруг показалось, что разломанный монолит породы коснулся его рук, еще какое-то мгновение удерживаясь на жестких гранях немощной связи.

— Азоркин! — Михаил взбросил от головы руки, спружинил ногами, взметнулся подстреленным зайцем. — Азоркин-ин!

— Чего ты? — Азоркин, скосив глаза, прислушался, не включили ли на транспортном штреке конвейер. Убедившись, что не включили, переспросил, позевывая: — Чего кричал?

Михаил, точно приходя в себя от морочливого сна наяву, глядел на сонного, недовольного Азоркина, на глыбастую спину Колыбаева, который все точил и точил топор.

— Чего, чего, — передразнил, унимая разгулявшийся в теле страх. — Куда дел ключ накидной?

— На кожухе комбайна. Чего шуметь-то?..

— Ну, ладно, ладно, досыпай, — проворчал, радуясь, что позорного его состояния никто не заметил.

Зубки на рабочем органе уже давно были укреплены Михаилом, но он забывчиво тянул и тянул ключом неподатливые стопорные болты, понимая, что страх не прошёл, что он обманывает себя, отгоняет страх вот такой бесполезной работой, как обманывал себя давно в детстве, когда ехал один ночью в степи, обмирал от каждого бурьянного куста, темнеющего у обочины дороги, и истерично горланил песни.

Страшно было и стыдно: вот же они, Колыбаев с Азоркиным, спокойны, как и сам Михаил был спокоен тысячи и тысячи подземных дней и ночей, мало отличимых от сегодняшней смены, когда так же трещало над головой, давило, стояло, ухало... Кровли бывали и «легкими» и «тяжелыми», как вот сегодня. И испуг бывал, и

опаска, и "восторг мгновенного **ряска**, когда в момент успеешь подставить едпнетзеную рудстойку, а по-шахтерски говоря, к...; -спасительницу, — но никогда у Михаила не было такого смертельного страха. «За что ж это накатило на меня! Отвяжешься ты, проклятый, нет? — взмолился Михаил, бессильно повисая на гаечном ключе. Потом торопливо ощупал над головой слюдянисто-осклизлую, запотевшую пот;/ — Завтра, если жив останусь, в шахту не пойду. Все. Отшахтерил. Видно, Яшка пометил. Трусов з живых не оставляет...»

Упрел, вымок не по работе, и голову что-то давило, будто под череп накачзз... н зоду, и руки ослабли. Гаечный ключ был мсгрым. и комбайн потемнел от влаги.

Значит, затайфунило на-горз. т:-.нз, затайфунило.

Михаил где на четвереньки" :::: пригнувшись добрался до спецовки, что внес-тг -::: ом в рудстойку колышке, вынул к: : : :-::: кармана часы. Двадцать пять минут зсег: :::\_::: с начала смены, а думалось, что зсе двадцать пять часов. «Вот же до чего перетрясло веете. Уже н я вроде не я. То в любое время. :-е - т- **Н2** часы, ошибался на пяток-десяток м:-:у- •• тут... — думал, нащупывая в большом, в: s:-; г:г. :пеповки, кармане флягу с водой, но п. ьтерстистое, упругое. — Тьфу, гад, все :пк: • у!» Вынес взмахом руку из кар?:акз : т. : : ::::ью в мизинце, шмякнул истошно шмищдш' крысу в штыб, сразу ощутив подступн токивоты— до того, паскуда, отвратительный гть^г-з:

На мизинце, в месте -по:і :-:н-но налились четыре капельки. Михаил достал «тормозок», завтрак. С отвращением :і: -д^з: - ":-:авато порванную крысой газету, захватанный с краю хлеб и колбасу. Видке. т:ль: :н:--:т: знпетит, потому и сидела в кар = г. за ;— :г.2скости. Да и сейчас не убежзт: : "птзито зеленели две точки ее глад. Горбатая, длкнномордая, с белым облезлым хз-еттм. водила антеннками усов и скалила уз:—а к д.тхннг. кгзнс—не, точно бивенки над скошеяэо\* **ЕО**-акулья нижней челюстью, зубы.

Старый откатчик Федор Лытков не однажды рассказывал, как в войку крысы насмерть заелн ослабшего от плохой еды и большой работы его друга-шахтера. Горный мастер с полсмены отпустил того домой, а он полпути до ствола не смог одолеть, свалился, гут на него и напали полчища. После смены шахтеры наткнулись на страшную картину... На этом месте рассказа Федор Лытков туго сжимал маленькие глаза в глубоких глазницах, грабастой рукой схватывался за жилистую шею, словно хотел задавить себя, и просил младших своих напарников «преподнести вина», поскольку его «груды не выдерживают жара терзания» из-за мучительной смерти друга...



Конечно, на Михайловой памяти на его шахте «Глубокой» крысы никого не заели, но кусали частенько, хотя об этом знали мало, ибо укус крысы считался позорным: значит, сидел, бездельничал, а хуже того, может, и спал где-нибудь в теплой безлюдной сбойке. Да еще частенько крысы оставляют шахтеров без «тормозков». Тут уж не зевай — борьба за существование,

Михаил кинул испорченную еду крысе, та подскочила то ли от радости, то ли от испуга и, вцепившись в обертку, задом, рывками поволокла в сторону завала и все не спускала зеленые злые точки с Михаила, пока не скрылась за глыбами породы, и тотчас там возникла драка: писк, шум разрываемой газеты, какое-то пофыркивание, будто вспархивали один за одним воробьи. И только тут стукнула Михаилу в голову радостная догадка: «Эй-э, да вы, горбатые зверюги, оказывается, все здесь!»

Вот за что и терпели шахтеры это поганое создание — крыса никогда дуриком себе погибнуть не даст, заранее покинет гиблое место. Человеку чего только не дано знать и предвидеть наперед, но почему-то не его, всемогущего, наградила природа, а низменную тварь-крысу таким сверхъестественным чувством-знанием. Уж за двадцать-то лет Михаил Свешнев познал горное дело так, что, кажется, мог угадать, какую рудстойку когда сломают, словно он сам сверху направлял на каждую давление. Не тот ли Федор Лытков еще совсем молоденькому сказал: «Ты, Мишка, будешь шахтером редкой силы из-за того, что в тебе провидимость в самую дальнюю твердь есть, а усадка души — терпеливая. А моего Степку хоть лбом в уголь бей — не научишь. Был бы недоумком, так и спросу бы не было. А то ведь не дурак... Почему? Спрашиваю, и ясности нету».

«Провидимость... с редкой силой,—хмыкнул теперь Михаил. — Ни опыту своему не поверил, ни спокойствию своих напарников. Хорошо, крысы подсказали, а то бы так и бесился».

Опустившись на колени, он попил воды из фляги, прислонился плечом к стойке, прислушиваясь к крысиной драке и отдыхая. Крысы не спеша уйдут из лавы: за сутки, а может, и раньше до обвала, только бы не проглядеть, когда уйдут. И снова Михаил посмеялся над собой: как же не проглядеть! Это сегодня уже полчаса дурью маемся, потому что лаву не кострим и конвейер почему-то не включают, а в обычные дни «тормозка» достать ее успеваешь,—попробуй тогда брось работу да пойдешь крыс высматривать, чтобы вся шахта над тобой смеялась... «Ну да ладно, а сегодня спасибо крысам, успокоили. Трусу много не нужно: он и в ложке утонет, и на паутине удавится. — Михаил не мог простить себе того, что произошло с ним в эти дурные длинные полча-

са. — Не-ет, братец, в дворники тебе, в дворники, а то комочком с куриное яйцо стукнет по каске, и сдохнешь от разрыва сердца, как пить дать, сдохнешь».

Размолотая холодная рассыпуха породы потекла на мокрую спину, плечи и не скатывалась с тела, шершавой творожистостью облепляла до самого пояса, за черной от пота и пыли, обвисшей на замусоленных ляжках, майкой. «Сыпь, сыпь давай! — Он не увернулся, не изменил позы, зная, что за мелочью может и потяжелее чем двинуться. — Вот так же потом сыпать-то будут. Сперва по горстке бросят, а потом лопатами...»

Он вдруг поймал себя на том, что каким-то глубоко скрытым закоулком души ухватил наконец причину, которая понуждала уйти из шахты навсегда: «Все, все. Какой разговор — шахта трусить не даст. Все равно перелобанит. Она тебе поможет решиться один раз — и навечно», — будте не себя, а кого-то другого убеждал, не соглашаясь с ним.

Он цеплялся за эту причину, а она, словно блеклый росток, обрывалась, обрывалась. И тогда он плюнул в сердцах, нагнетаясь весь противно тяжестью непонимания самого себя: «Чего ты дурака-то валяешь? «Уходить, уходить...» Уйдешь., с печи на полати на гнутой лопате. Тыщу раз уж собирался уходить. Ушел он!»

Недорезанным кабаном внезапно заорал пустой конвейер, поволок железные цепи-скрепки по вычищенному до блеска желобу-рештаку. Звуки сухие, перекаленные — они будто разламывают чеп, пеп и песком натирают мозг.

— Включа-ай! — Азоркин подпрыгнул с доски, схватился за уши. — Затыкай ему хайло! Мишка, где тебя черти!..

— Потерпишь,—скорее себе, чем Азоркину, процедил сквозь зубы Михаил. Выключив свет, зачем-то еще с минуту подождал, наблюдая через просветы меж стоек, как озирается, ищет его Азоркин, и стал выбирать к комбайну. «Уйдешь, далеко-о уйдешь, куда ты денешься», — продолжал говорить он себе, вкладывая в сказанное какой-то потайной, вроде бы не относящийся к действительности смысл.

Механическим движением руки пробежался по щитку с флажками-кнопками, наполняя электрическую систему комбайна током, а гидравлическую — масляной жидкостью, почувствовал через манипулятор, как по телу комбайна прошла жи-зи-дрожь силы, передаваясь ему. Комбайн напряжился, готовый двинуться вперед. «Не рвись, еще наработаемся», — Михаил, словно тешась своей властью над машиной, попридержал комбайн, будто накапливая в нем рабочую ярость, и пустил, крутнул вентиль орошения. Рабочий орган вошел в пласт с глухим свистящим грохотом сокрушения, отсекая от груди забоя «стружку» угля на всю свою метровую длину и своим же винто-

вым гребнем, зубками хапал отбитое крошево, уминал под «живот» комбайна. Похоже было, что комбайн пожирал уголь, оставаясь вечно голодным, ибо, пропуская через свою утробу толстенную цепь, он тянул сам себя по этой цепи и по конвейеру, который выгребал из-под него уголь.

С шипением уходила по конвейеру черная речка. Все металлические звуки приглохли, потому что им некуда было лететь — до того были малы жизненный объем лавы и сам комбайн по отношению к непостижимой громадности Земли.

Переключив свой светильник на «длинный» свет, Михаил вглядывался в затуманенную угольной и водяной пылью сдавленную перспективу лавы и чувствовал, что страх хотя и прошел, но какая-то неумная муть все еще крутила душу. Казался себе каким-то полураздавленным, как эта лава. «От непогоды, что ли?.. Напарники вон спокойны...»

Мелькнул и исчез свет у выхода, потом затряса, приближаясь. Это горный мастер Черняев преодолевал пылевую завесу. Видно, с затаенным дыханием бежал, потому что, приблизившись, захватал воздух шумно.

— Ты чего?.. Без воды рубишь?

— Не видишь — хлещет. — Михаил выключил комбайн.

— А-а! — замахал руками Черняев. — На главной лебедке редуктор сломался. Лес на участок хоть на себе подавай. Два нарезных забоя на месте топчутся: один на воду пробился, там хлещет, а другой породой заваливает. Где я уголь возьму? Как я план выполняю? Да Комаров меня — во! Подвесит, — шепотью провел под горлом к уху, показывая, как «подвесит» его директор.

Черняев часто моргал, шмыгал маленьким утиным носом, кажется, вот-вот-готовый разреветься. Снял каску, стал тереть мокрую голову, размазывал грязь по лицу — совсем не мужик еще, а парнишка-переросток.

— Ты не страдай, Боря, — пожалел его Михаил. — Мы и за те забои угля нарубим.

— Нарубят^ они! — нарочито недоверчиво обрадовался Черняев. — А у самих тоже кровля на почву ложится. Вы уж тут смотрите, — попросил умоляюще. — Не мне вас учить, но смотрите!..

И побежал, выгнув узкую спину и болтая тонкими икрами в широких резиновых голенищах.

«Смотрите, смотрите! А чего смотреть — взглядом кровлю не удержишь... Ошалел парень. А зрячий ведь — там, на-гора, все понимал, а тут заметался, как заяц под выстрелами. План, план! Она же тебя, эта лава, и подрежет, хоть не сегодня, так завтра... Ошалел, ей-богу!»

Михаил сменного плана над собой не признавал. Он был убежден, что такой план придумали Еместо погонялки для работников ленивых, хит-

рых и бессовестных. А когда все лг-сди будут честными, тогда сменное задание отменят.

Был у Михаила об этом разговор — и не с кем-нибудь, а с самим директором шахты Александром Егоровичем Комаровым. Комаров с Головкиным затеяли поставить Михаила бригадиром. Михаил дал согласие, обо всем договорились, а под конец Комаров возьми да скажи:

— Во всем поможем тебе, Михаил Семенович, но и план спросим. Крепко спросим. — Комаров даже рыжим кулаком стол придавил. — Хоть ты, знаю, не пугливый, но сразу предупреждаю.

— План... Вы работу с меня спросите, а план... чего ж...

— Это все равно, — еще не **повив** Михаила, согласился Комаров. — Работа и есть алан.

— Может, и не совсем так. — псгачал головой Михаил. — Я отвечать буду ээ рз:-:ту. Я в бригаду ребят подобрал, которые будут ~~~-тать по воле сердца и наивысшего старания каждого.

— Ну, — торопил Комаров, а золотистые его ресницы мелко-мелко подрагнзгтн — Ну?

— Нам давайте вволю крепежного материала, оборудования и порожняка... А от нас — работа...

— Посто-й! — нетерпеливо зато го рукой Комаров. — Посто-ой. А я разве не : ~:ч :-е говорю? А? — призвал он в свидетели Гслсвкжна. — План — это жизнь!.. — Комаров резко титул вытянутыми пальцами в воздух.

— Сменный план не жизнь, а ферма. — возразил Михаил, потому что много думал об этом.

— Ты, Михаил Семенович. как-то вразрез жизни мыслишь!..

— Не вразрез. План — зтт тжехость. чертежи, — гнул свое Михаил. — Кая же :зд без плана разбить или участок в шахте *из?ез-зм-~-* Тут все вычертить надо, рассчитать, чтоб где какое дерево. Или штреки... Чтобы и уголь удобно было брать, и воздух шел без задержки. А уж сколько садовнику за день деревъез высаживать или шахтеру угля брать, тут не надо'бы **плаамровать-нормировать**. Норма, она унижает **человека**.

— Видал идеалиста? Ты это сам или кто тебя... — показал Комаров Головкину в Михаила. — Не занимаетесь с рабочими политэкономией, вот и результат!.. Ну хорошо, хорошо, — словно соглашаясь с Михаилом, продолжал Комаров. — Допустим, твоя бригада будет работать без плана, а как ты говорил... по воле сердца и старанию, то есть — стопроцентная сознательность. Допустим. Хотя... — Он сокрушенно покачал головой, посмеялся таким смехом, который явно был не от веселья. — Значит, работаете. Но самый примитивный вопрос: от какой точки отсчета вести оценку вашего труда? Хорошо вы работаете или так себе? Выплачивать вам премию или как?.. Ведь должен же быть стимул?..

Михаил жалел, что так все получилось: «Залез со своей ложкой не в свою чашку с этим

бригадирством. Ишь смотрят как на недоумка. «Вразрез жизни. Идеалист!» Его монголоидное лицо вроде чуть, пеплом подернуло, округлые ноздри широко присаженного носа раздулись, будто в них пружинистые колечки вставлены.

— Точки, точки... Что уж без точек этих нельзя увидеть, как люди работают! — Михаил до того стал закипать сердцем, что и забыл, с кем разговаривает. — Хорошо работают — платить за тонну сколько положено, и все. А то — стимул! И слово-то какое-то не наше, заморское. Своего не нашлось, зачем оно нам?..

Михаил осекся. Явно завыл тон не перед тем, кем надо. Но Комаров не одернул его и удивляться и говорить перестал. Сидел, отваливаясь на спинку стула своим истязным телом, и лицо у него было задумчивым и вроде даже печальным. Весь как-то ушел в себя и молчал, и Михаил не выдержал, сказал с покаянием в голосе:

— Я, Александр Егорыч, не могу быть бригадиром. Сами видите — не дозрел я.

— Что? — очнулся Комаров. — А-а, какой там не дозрел. Вот бы дожить до того времени, когда все такими недозрелыми станут!.. — Директору бы разгневаться на Михаила за то, что голову морочил, а он, наоборот, просил будто бы. — Вот, — сказал напоследок, — пласт как ни глубоко лежит, а пробиваемся до него, руками трогаем, а до ваших душ сколько ни пробиваемся... Иди, путаник. Время потратили, а у нас все ж таки... план!..

...Михаилу казалось, что он рубит уголь уже с полчаса, а прошло всего минуты три. Комбайн, потеряв плавность хода, мелкими рывками напрыгивал на уголь, норовя сорваться с направляющих бортов конвейера. «Разволновались мы с тобой», — подумал Михаил и остановил комбайн, извиваясь ящерицей, обогнул его, прихватив с кожуха кувалду.

В завеси пыли руку протяни — не видно, не то что железную рудстойку-временку в четырех метрах впереди, а корпус комбайна сантиметра на два не дотянулся до нее. Михаил работал вслепую легко и уверенно, и его окатывало приятной гордостью: «Отскочи, кто не понимает!..»

Металлическая набалдашина рудстойки почти насквозь продавила листовичный верхняк, от чего свободная консоль его удавленно разбухла до волокнистых разрывов, а в другой конец, будто печатка в сургуч, впился комель деревянной рудстойки; средину верхняка прогнуло в страшном каком-то напряжении — дерево не переламывало, а разрывало, как веревку. Михаил, примериваясь, постучал по концу болванки-клина на выдвижной части рудстойки, и звук получился мертвым, будто не по железу стучал, но по мерзлой земле — металл от давления потерял звук. Михаил понял, что работать будет опасно.

Оглянувшись, попятился, изогнулся, ударил по клину хлестко, с выхватом на себя, так, что, кажется, руки свои чуть было из плечей не вырвал. Будто выстрел, с коротким звоном влетела в полость рудстойки освобожденная от клина выдвижная часть. «Крах!» — спружинила кровля, с шумом стряхнув с себя всю мелочь, все, что плохо держалось. Михаил, присев на корточки, закрыл нос подолом майки, подождал, пока протянет струей пыль, а когда рывь схлынула, осмотрел кровлю и ничего нового не обнаружил: кровля резиново набухла, а в глубине ее и в стороны разбегалась кипучая трескотня мелкого разрушения, но вся она еще удерживалась в связи с великой массой, которая оседала незаметно и неотвратимо.

Отбив голыми руками холодное, резущее от заусениц железо, Михаил с натугой вытянул рудстойку и, подхватив ее, восьмидесятикилограммовую, понес в новую галерею. Его выгнутый позвоночник, пресс живота, плечи, икры ног — весь он, кажется, звенел от напряжения: «До чего ж примитивно работаем!» — подумал, грохнув железяку на почву.

— Принимай! — крикнул напарникам.

Кольбаев с Азоркиным подхватили железяку, стали подводить ее набалдашиной под конец верхняка. Потные их лица так плотно были залеплены пылью, что казалось невероятным, как могли не повредиться их поблескивающие обмылками глаза. Валерка, целясь кувалдой в набалдашину, шерил черные, точно замазанные ваксой зубы.

— Носом дыши. Ну! Закрой рот, — советовал Михаил. — Три дня жить собрался?

— Что «дыши»? — загудел Валерка, задержав замах и тыча пальцем в широкую ноздрю вздернутого носа. — Забито все — не тянет...

— • Выбей!

— А?

— Выбей, говорю!

И по своей надобности, к также для примера Валерке Михаил фукнул из одной да из другой ноздри, но в носоглотке до того все было пересушено пылью, что облачками выфукнулась все та же пыль, которой не хватало слизи, чтоб приклеиться, — шла напрямую в легкие.

— Куришь! — засмеялся Валерка, веселье которого было вызвано не иначе как глупостью его, и пошел охаживать кувалдой по набалдашине.

Часа за полтора Михаил двадцать три раза останавливал и запускал комбайн, потому что выбил и перенес двадцать три железных стойки. И всякий раз, когда запускал комбайн, он морщился, как от йжоги\ потому что знал: от частых запусков — • из-за большого пускового тока — могут сгореть обмотки электродвигателей. Давил на кнопки-флажки, из моторов вырывался тяжелый, мычащий стон, и он так зримо представлял, как опалаяют их внутренности тяговые вихри раскаленных электронов, чтобы раскрутить, дать рабочую

энергию роторам, что у самого кругообразно начинало наполняться жжением в груди. Он верил в силу машин и не верил в силу мышц — когда переносил в низкой лаве бревна или железо, сердце его так гоняло кровь, что, кажется, она закипала в напряженных мышцах, и от того, что разум почти не участвовал в работе, было стыдно и унижительно за самого себя, точно он не по своей воле переносил тяжести, но по насилию.

— Иди, Миша, охолодись,— позвал Азоркин, когда Михаил перенес двадцать третью рудстойку.

Азоркин стоял на коленях перед надломленной стойкой, на отщепях которой висели спецовки, и, сняв каску, вытирал лапами куртки голову, лицо, плечи. Потом, отпив из фляги, протянул ее Михаилу.

— У меня своя,— отказался Михаил и окунул лицо в прохладу куртки. — Сколько теперь времени?

— Теперь? Половина восьмого, надо думать. Солнце закатывается,— ответил Азоркин и посмотрел на часы. — Тридцать пять восьмого,— сообщил он.

— Вот черт!— подосадовал Михаил. — Время ушло, а сделали... С креплением возимся, а комбайн стоит...

— Не переживай, хрен с ним со всем,— душевным, сочувствующим голосом сказал Азоркин. — Вон и конвейер остановился, видно, порожняк кончился, отдохни и ты. Душно сегодня, спасу нет...

— Железо мокнет — тайфун должен быть,— поддержал Михаил.

— Ночью врежет,— согласился Азоркин. — Тайфуны любят по ночам разбойничать. А сейчас на-гора закат... — Он забывчиво держал флягу, сощурившись, глядел далеким взглядом перед собой, будто и впрямь оберегал глаза от закатного солнца. — Восходы-закаты, сколько же вас схоронил я в этой ямине? — Азоркин вздохнул, покачал головой. — Что-то страшно иной раз становится. А? Тебе не бывало страшно, Михаил?

Михаил, насторожился — так неожиданно прозвучали для него слова из уст Азоркина, не знающего, на что он тратит свою жизнь.

— Кому страшно? Тебе? — Михаил даже-хотел руку протянуть, потрогать Азоркина, убедиться: он ли перед ним? — Ты серьезно?

— А что я, не человек? — обиделся Азоркин. — Я знаю, ты меня не принимаешь за человека. Знаю!

Азоркин шелушквал со своих плеч и лопаток присохший угольный штыб, крупную, как отруби, пыль, и грудь его, живот были сложены словно бы из выпуклых плиток, плечевые кости-дуги туго увязывались мускулами с жилистой шеей и с бугристыми предплечьями. Накинув куртку, уселся на обрезок бревна, сразу обернувшись из богатства обмокшей птицей.

— Почему не человек? Что мне тебя и знать? — не согласился Михаил и, смущенно улыбаясь, не выдержал, признался: — Я сегодня перетрусил до крайности. Хотел удрать вз дать; и вас бросить. Ты спал. Думал, тая...:--:--; схоронит.

— Да, тут недолго,— показал Азоркин на кровлю.

— Ян говорю: нам, таким ко всему трезгкшим, страх на пользу. Привыкших-т: ятаоназет почаще. Хорошо, говорю, что страши: А т: ттс к находим — не радуемся, теряем — не горюем. Живем ветром вольным. Куда летим — *гурега* не знаем...

Михаил не замечал, увлеченный -а- ~: скулам Азоркина задвигались же::

— Ишь, куда ты подтянул. \ :т:и:э, хорошо!» А чего «хорошо»? Вот эта гггва вонючая? Головкину сейчас хорошо — Таи? С Ольгой. Понял? — Азоркин придавил у\zii i кровле, и такое злое напряжение было в гг: n~\*. 2 гигуре, точно он собирался проломить = :-=>-: . :?:. . =? ровый слой породы, высвободить.;; Hi--:ci

— Ты сам о страхе-то... — начал ашв и Михаил, но Азоркин перебил его:

— Да, о страхе, но не о том. i sj>K:\*у ты подвел. Ты признай меня, ветродунвогв-ав А-а. не нравлюсь! — протянул обрадовааво.— Хочешь, как ты: люби работу, люби жеву\_ Ввовь. Кто ее, такую работу, может любить? Мерей? Так он тут, мерин-то, за месяц сдох бы. А м& — ничего! По двадцать лет трубим! Только есав ввуртенности вскрыть, то там грязи побольше, чая ила в каресе.

— А кто тебя тут держит? Привыкла тебя в словах напарника едливость, будто не туп?.. — Михаил почувствовал а неприятную для себя сираз Азоркину возражал, а самому left.

— Во! Верно. Никто не л\*иагвт Не гривязанный, а скулишь. А я не схухс е свободу тут себе добываю, чтобы там. на-~::: — ; : » -гарем, как конь в овсах!.. — Азотов ггечея^ с ваеч куртку, повесил на отшей, зетггздагз: т<>д:ст:му улыбнулся. — Ты слышал, скули а sarxa? То-то! Сегодня в кои веки раз скульагулг. дороговато, подумалось мне, за свободу досва смл» вввчу. Надо бы в неделю раза три сюда агусклься или часа на два рабочий день убавить. А ты уж скорей — «хорошо». Хетти:: г; не г- -

— Это что же: э тнзхте — та: -:з--:з—вольный?.. Частями-то... — без охоты сказал Михаил.

Над головами вдруг засопело, трлезуче зачавкало, мягко и страшно для зна:-г\_ : :-:атило капезом, и тотчас глухо стрелънули знуртенним сломом несколько стоек. Азет::: лихаилом, перебирая ногами и руками по-обезьЕен, отскочили метров за десять, насторожили слух. Там, где сидели, еще с шорохом осыпалась мелочь, слышался древесный треск, но постепенно все успо-

коилось, только где-то в глубокой высоте будто бы умирал далекий-далекий гром.

— Яшка, зараза, пугнул — аж шмутки побросали! — хохотнул Азоркин и пополз обратно к полузасыпанным курткам, где, казалось, уж ни одной «живой» стойки не было, а кровля надулась пузырем, едва не касаясь почвы. Азоркин в момент выклубился из-под опасного места с барахлом под мышкой.

— У-уф! Аж мурашки по спине...

— А зачем было — из-за тряпок?

— Глупый! Пирожки в кармане. Стал бы я из-за тряпок голову совать. У тебя ведь тоже... Вон. Ефим с Валеркой уж давно «тормозят». — Швырнул куртку Михаилу, — Перекусывай, чего ты?

— Да за меня уж крыса...

— Ну? И молчишь? — Азоркин разделил тугие, как резина, отдающие техническим маслом столовские пирожки. — Их на автоле жарят. Крысы и те брезгуют. В твой карман залезли, а от моего шарахаются... А о каком-то ты рабстве толковал?

I

— Да в шахте, говорю, ты что — раб, а на-гора, выходит, вольный?

— Хэк! Додумался. Раб... В шахте я, Миша, добытчик воли, значит, тоже вольный. Я же сознательно лезу в эту соковыжималку, чтоб заработать деньги, и на работе не халтурю. Скажи, ты хоть раз заметил, чтоб я ленился, а?

• — Не скажу.

— Во! — Азоркин выполоскал рот, сплюнул воду в сторону. — Волю неволей да ленью не добудешь! — изрек назидательно.

— Ну, а какая же она у тебя, воля, там, на-гора? — поинтересовался Михаил.

— Какая? — подмигнул Азоркин. — Ты сам сказал, что я ветром буйным живу. А ветер по воле не тужит. — Он долго, с глубоко запрятанной в себя улыбкой и сочувствующе глядел на Михаила. — Ищешь правду в людях, а своей правды не знаешь. Вот ты и есть, Миша, раб. Точно, раб. У тебя-то как раз и нету воли нигде: ни на-гора, ни здесь... Не дали же тебе Головкин с Колыбаевым лаву кострить. Не дали. И ты сел со своей волей. Головкин пошел ва-банк... У этого же борова клыки наружу... Конец квартала: каждый кусок угля — на премиальные. А ты под горя-:-:-: руку: кострить.

— А ты — не кострить?

— Да мне не надо, вот в чем разница! Ну, это... может, и надо... как бы тебе сказать: по моему, если не хотят, то есть препятствуют, как говорится, силы враждебные, и пускай препятствуют. Я это препятствие штурмовать не буду. Чихал я на это все, потому что я свободный! На днях по телевизору один мужик в белом пиджаке из какой-то пьесы сказал: дескать, нету правды ка земле и на небе она, правда, тоже не ночевала.

Руками и ногами голосую за слова золотые, хотя я сам давно понимал, что правда все же есть, только не общая правда, как, к примеру, баня или столовая, но у каждого человека она своя: у тебя своя, у Головкина своя, у меня своя, ну и тэдэ и тэдэ... Твоя правда — быть всю жизнь в неволе, потому что хочешь, чтоб было по-твоему, а хотение не сбывается, а сбывается так, как другой хочет, у которого документы получше твоих, а я к хотению стремлюсь там, где мне есть простор... Я на скользкое не пойду и в узкую щель не лезу.

• — Если бы ты поддержал меня против Головкина, — с грустью в голосе сказал Михаил, — то наверняка лаву сегодня не портили бы.

Азоркин вдруг вскинул голову так, что каска свалилась, и стал вытрубивать хохот. И оборвал внезапно:

— Ты ему это... мочись в глаза, а он — божья роса! Час толкую, как лбом в забой... При чем тут лавы, а? При чем тут кто кого поддерживает или сваливает? А-а! — отмахнулся досадливо. — Пошли вы... — Азоркин длинно и весело выругался. — Тебе бороться охота! Вы же, такие, нормально не живете, вам все борьбу подавай, кулаками в воздухе помахать — милое дело. Вот и маши. Или одному неловко дурасть выказывать — дураков к себе вербуешь?

— Зря ты, Петр, столько слов тратишь, — вздохнул Михаил. — Я тебя не осуждаю — чего ты оправдываешься, я тебя понять хочу. Правда, говорят, суда не боится. Ты вроде весело говоришь, а сам злишься, потому что ты одинокий и даже своей правде не доверяешь.

— Я самому себе доверяю. Вот тут у меня, — Азоркин ткнул себя в грудь, — все мои судьи и защитники. Я сам себе друг и брат, ни к кому претензий не имею — потому мне все одинаковы: что Головкин, что ты, что... не знаю, кто еще...

— Что фашист-палач? — подсказал Михаил.

— Не превышай меру! — несколько не смутился Азоркин. — За превышение по затылку бьют. — Азоркин вдруг по-собачьи замер, вглядываясь в сторону верхнего выхода. — Видал? — кивнул неопределенно. — Ефим побежал по телефону орать. Глядишь, включают конвейер, испортят нам беседу... Так вот, значит, уважать некого, некого и любить... Меня жизнь делала... Все справедливо!

Конвейер завизжал, загремел скребковой цепью, проглатывая слова Азоркина и будоража нервы. Михаил, пригибаясь на ходу к уху Азоркина, прокричал:

— Не дай бог, прижмет хвост, тогда и поглядим, кого уважать, кого любить станешь...

— А во! — Азоркин ткнул Михаилу под нос черный кукиш. — Не заважаю, не люблю!.. Я лучше голову в петлю!..

«Дурак-дурачина, — тянулось липучей резиной в мыслях Михаила то ли о себе, то ли об Азорки-

не. — Вот уж дурак так дурак!» — и он хряскал уголь, не тратя сил, легко, да тоннами, тоннами же переносил на себе рудстойки, убивая силы, сбереженные на машине.

Сам себя забыл в труде, пять последних часов в пять минут обернулись, когда в уши сладостным пением полилась тишина, и тут услышал удаляющиеся шаги напарников и колыбаевское: «Михаил, догоняй!»

Вот тогда, отирая пот и одеваясь, он представил получасовой путь от лавы до ствола, подъем в клетки на-гора, переодевание с баней, дорогу от шахты до дома поперек ночного городка да еще по ответвлению-распадку вверх, представил весь путь, и впервые за десятки лет таким недосягаемо далеким показался дом, таким неодолимым путь (который был сроду радостным и легким), что невольно опустил на почву у стойки, чтобы, накопить силы перед дорогой.

Он очнулся, как ото сна, вскинулся: «Вот елки, нашел место — в лаве, под «разгулявшейся» кровлей сидеть! Смена давно на-гора поднялась, наупрашиваешься стволового, чтобы одному клеть дал».

Поднялся, ойкнул от боли в пояснице, а тут хлопбытнул корж породы килограммов на триста прямо-на комбайн. «Завалит к черту, а что делаешь один?» Но место вывала породы оглядел. Корж, падая, раздвинул крепь, и в раковине купола отстаивалась, надувалась порода, еще готовясь сорваться.

Михаил включил комбайн, дал задний ход. Комбайн, будто в благодарность, мягко заурчал, закряхтел и медленно попятился под целую крепь. «Ну вот, тут и отдохай, тут тебя не ушибет. Отдыхай, а я — домой. — На ходу нашел в кармане часы и вовсе раздосадовался: — Почти час просидел, чтоб меня!..»

Стволовой Иван Яковлевич Загребин, дородный, с гладким, совсем не шахтерским лицом, на просьбу Михаила подняться на-гора с какой-то радостной строгостью сказал:

— **посидишь!**

«Уж не везет, так сплошняком». — Михаил покорно сел на лавку, кутаясь в спецовку и удивляясь появлению Загребина под стволом, потому что Загребин самый большой активист на шахте и поэтому почти не бывает на работе.

Из ствола обвалью хлестала вода, откатчики лаково блестя резиновыми куртками, выталкивая из клетки вагонетки с вымоченной рудстойкой и распилом. Ветер с шипением нес крупную плотную водяную пыль, и Михаилу представлялось, что

он не на ветру сидит, а в стремительном потоке воды. «Полощет на-гора,— подумал уже в который раз. — Как бы не заколеть тут».

Загребин, в резине поверх ватника, плавно двигался от замков клетевых решеток к сигнальному щиту. Подал сигнал в машинное отделение, он важно прохаживался в ожидании клетки. Голову он держал высоко, рот кривил з презрительной улыбке, большие серые глаза — застывшие и немигающие, и Михаилу подумалось, что они также безжизненны и холодны, как мокрая резина.

Стволовой — должность легкая, но власть над людьми имеется. Не то чтобы власть, но зависимость от него, что ли. Спуск • подъем людей делается строго по графику. После смены выстроятся шахтеры очередь к клетке, и когда, к примеру, у всех часы показывают ровно т-т- :: ;. Загребина — без десяти минут. Люди из душных забоев потные — спецовки насквозь, а в ств. ств. до десяти метров в секунду.

— **Поднимай! Время!**

Загребин — руки за спину т :: да невозмутимо и отрешенно.

— Ты погляди, прохлаждает: г не выказывать себя из-за спин Загребину. другого киш-

— Празднует, что не у него — гакинует пяток

— Не трогайте его. а те етде минут. Или ранний уход с работы пришьет.

— А что я — раньше? Гляди, иовертли ему!..

• — Да кто ему поверит — такому-то?..

— Ты потом доказывай!

Михаил задержался без пр-г-аны. а к Загребину теперь не подступиться. Ом взял из вагонетки доску пошире, приладил заветрие, но Загребин тэтнес доску опять в вагонетку.

— Не положено струе сопротивление делать, — сказал поучительно. — Не знаешь, что ль? — Сел рядом, загородил собой от ветра, спресил дружелюбно: — Проспал, что ль?

Михаил коротким взглядом увидел выпуклый водянистый глаз, широкую кость лба — лицо могучее и даже мужественное. Не из мерзлоты будто.

— Я говорю — прюспал?

Вопрос был настойчивый, с издевкой.

«Не буду разговаривать», — решил Михаил, втягивая шею в воротник для экономии тепла.

— Я же по-хорошему. Чего ежишься-то? Спрашивают, так отвечать надо, — выстроился начальственно.

— Надо? — не выдержал Михаил. — А вот возьму и не отвечу, что тогда? Все к власти-то манит. Да это у тебя не от поста, а от разврата!..

— Какое там, Миша! Была власть... — Загребин снял рукавицу, отер лицо рукой, желтой, как коровье масло. — Вот и ты уж со стариком поговорить не хочешь... Да, А я живу, похаживак^ на

белый свет поглядываю. А тебе хотелось бы мертвым меня видеть, да? Все' вы хотели бы...

— Чего городишь? Кто — вы?..

— Ну кто ж? Вы. Ясно кто! — Загребин пылливо уставился на Михаила. — Вот ты, простил ты меня за то, что я тебя к Караваеву водил за папиросы? Не прости-ил! — протянул, вроде радуясь тому, что не простил. — Мно-о-гих вы моментов не понимали." И теперь не понимаете... Все вы не понимаете, потому и не любите. А я — за правду, за нее... Для вас же, беспонятливых...

— Ну, хва-атит скулить-то. — Михаил сморщился, как от кислого. — И ты туда же, с правдой-то своей... Сорок лет по кабинетам моменты ловишь. Рабочим числился, а хоть кусок угля добыл? Моментчик! Чего ты за правду свою прощения просишь?

— На-гора поднимаемся через сорок минут, — со злым удовольствием сообщил Загребин и встал. — Смена мне будет в три...

Михаил, чувствуя страшную усталость, прикрыл глаза. Грезилась степь, такая желанная и недостижимая. Ничего не хотелось ему сейчас, но только бы лежать в прогретой полднем степной траве у родимой своей Чумаковки.

Гулко гукали буферами вагонетки, клацал клетевой замок, со старческим сипом и кряхтеньем падала из ствола вода, воздушная струя шипела с подвывом, и в этом монотонном шуме голоса откатчиков выделялись чеканно, металлически.

— Дави, дави. Ну! — требовал Федор Лытков.

— Пойдет — не кажишься, — досадовал молодой голос. — Оставь пар для старухи!

— Ну, это... трепло!

— Ла-адно, — нехотя соглашался молодой.

«Гах, гук, ах-х, пши-и-и-с-с», — убаюкивал шум — и опять голос Лыткова:

— Я, Генка, вчера Пушкина видал в телевизоре. То — артисты, а это — сам... с царем смело говорил, как я с тобой...

— И царя Николашку видел? — куражился молодой.

— Кати, жеребец! Разнуздаясь! — обиделся Лытков.

Михаил, по уши закутавшись, выдыхал из себя тепло под спецовку, но не мог одолеть липкого холода и чувствовал сквозь полудрему, как весь тыл: дер~2затся. «Ничего, дождемся... — говор и себе, чувствуя свое нездоровье. — Только бы Загребав болыде не цеплялся».

Когда-то, в нест::-ое к технике безопасности время, в шахте курив. Михаил помнил, как выдали на-гора тровх обуглившихся проходчиков, взорвавших метан гтiаввив. как ревел шахтовый гудок — тогда и такое было; мк,- уже после пожара, на обтедахт:- **ВВВанк**: дед Валентины

Андрей Павлович Туров, с силой протягивая в груди силикозные легкие, точно железякой, грохал рукой по дубовой трибуне:

— До коих пор, в бога вас! В железа табашников, в этапы!..

Вскоре, будто отозвавшись на угрозу деда Андрея, сошел сверху закон, строжайше запрещающий курение в шахте. У ствола, при спуске в шахту, поставили табакотрусов из изработавшихся вконец стариков. А толку-то! Тот же дед Андрей сперва взялся круто: ошупает у шахтера карманы, заставит снять каску и, кольвчувствует подозрение, требует:

— А ну-ка, расстегни штаны, молодец!

А смена напирает, волнуется — людей сотни, а по графику спуск полчаса длится.

— Ты, старый хрипун! Поищи у бабки!.. — кричали более ярые.

На помощь к деду Андрею прибежал из шахткома Иван Яковлевич Загребин. Деловито и аккуратно, чтоб не замараться о спецовки, продирался в голову очереди, к решетке клетки, взбирался на дедову лавку и, махая руками, кричал поверх касок специальным для такой обстановки голосом:

— Товарищи! Товари-и-щи-и! Будьте сознательными! Не нарушайте технику безопасности-и! Ваша жизнь нужна Родине-е!

— В шахту нада-а!..

Задние поджимали передних, те прорывались в клеть потоком.

— Товарищи-и!.. — вопил. Загребин, страдальчески скрещивая руки на груди. Спрыгивая с лавки и подрагивая щеками, уходил возмущенно и обиженно.

— Выполнил приказ? Иди, наверху хвостом помети, — неслось вслед Загребину.

Из-за проверок шахтеры стали опаздывать к месту работы, и шахтовое начальство решило не обыскивать, пустить дело на самосознание да закон, но деды оставались еще торчать у ствола для кое-какой остратки.

Дед Андрей особо строг был к своему зятю: чужих пропускал в клеть, а ему заступал дорогу.

— Папиросы есть? — А сам глазками, как острыми осколками угля, норovil в душу продолбиться.

Михаил тогда еще не курил толком. Стеснялся тещи и жены, а деда побаивался. Дед табака не переносил: «В шахте мало газу — тут еще хапать». Михаила заподозревал с первых его затяжек, заставлял дышать ему прямо в землистый, искрапленный углем нос. Михаил хукал в себя, дед вроде в шутку хватал его за ухо, приказывал:

— Не напрягай пузо, вольней дыши! — Отводил нос, задумчиво глядел в пол, опять нюхал. — Воняет, а чем, пес тебя знает.

На всякий случай, опять же будто шутя, давал по носу щелчка — ногтем, как железной ложкой.

Голова Михаила дергалась, из глаз вытряхивались слезы.

— Че дерешься?! — фальшиво обижался Михаил, радуясь тому, что через чесночную со смородинным листом зажевку дед не пронюхал табачного дыма.

• — Сма-атри, молодец, прихвачу, бой будет!

И прихватил, да в такое время и таком месте, что и через двадцать лет Михаилу вспоминать неохота. Перед спуском в шахту у ствола дед ладонями, как булжниками, стал остукивать Михаилу бока, нагоняя страху, добрался до широкого голенища резинового сапога, извлек из-за складок портянки полпачки измятого «Прибоя». Михаилу сперва даже как-то бесшабашно-весело стало: «Вот, мол, какой я смелый». И папиросы он нес в шахту не для себя, а Колыбаеву, тот еще в чистой раздевалке заметался: «Возьми, Мишка».— «Да ты что? Не-ет. Да я и не курю. Нет!» — «Не курю!.. О себе только... — окрылся Колыбаев. — Там же дед твой. Найдет — смолчит». — «Ла-адно, возьму, курец — пухлые уши!..» Шутки-хаханышки. А они, эти шутки, ой, как дорого обошлись, ума подбавили: живи, вспоминай да с законом не балуй: закон не дед Андрей, шелчком по носу не отделаешься. Это Михаил тогда сразу

\* понял по лицу деда: как-то посерело оно вмиг. Дед долго совал папиросы мимо своего кармана, а глаза его мигали растерянно и недоуменно. Шахтеры примолкли, и четко Михаил услышал:

— Все. Один допрыгался...

— Заткнись! — шикнул кто-то. — Никто не видел ничего!..

Вот тут-то и оборвалось внутри Михаила. Его веселость отлетела. Он так покраснел, что ему казалось, будто в сумрачном пристольном помещении стало светлее от его пылающего лица и весь его позор и преступление и вовсе видны всем.

Дед еще что-то подумал, и тут глаза его стали расширяться, полниться гневом. Он резко откинул плечо да как долбанет Михаила — еле каска удержалась, а голова кругом пошла. Шахтеры — в хот хот. Аут, кричат, чистая победа.

Ясно, победителей не судят, а Михаил был кругом виноват. На его беду, тут же появился Загребин.

— Ну вот и поймали! — Вид у Загребина был таким, будто это сделал он, и только он. Одной рукой держал Михаила за рукав, другой требовал у деда Андрея папиросы. — Давай-ка, давай-ка сюда! — приказывал строго, оглядывал перепуганного Михаила, и то ли сочувствовал ему, то ли пугал: — Как же ты. а?\_ Ведь загремишь под новый закон годика на три. Себя не жалеешь — о родителях бы подумал.

— Эй, чего прилип к парнк?.. Мишка, тряхни мордастого да вали в гдахту:— пл. мели нет .т.-. .

— А что там? — тянули шеи любопытные из хвоста очереди.

— Да Свсшиева с табаком накрыли.

— Какого Свешнева?

• — А бес его! Из солдат какой-то.

— Гляди-ка, дед-то, говорят, родня ему.

— Ну? Да по мордам его!.. Бей, значит, своих, чтоб чужие боялись! Жалко, укатают парня. Загребин не отступится — легко, пес, хлеб добывает!..

Загребин, багровея от натуга, тянул Михаила за рукав от ствола, тот упирался, спечовка на нем перекосилась, обнажив другую руку, широкую в ладони и узкую, жилистую в запястье, как у всех, у кого в детстве был рахит.

— Не тронь. Отпусти! — сдавленным голосом требовал Михаил. — Сам пойду. Отпусти-и! Шакал!

Рванулся отчаянно, встал, затравленно водил глазами.

— Оскорбля-ять?! — взвизгнул Загребин, поймал Михаила за полу. — Сды-пати? — звал шахтеров — свидетели! — крикнул кто-то из толпы. — Шакал и есть!..

Хохот такой поднялся, что пыль от спечовок пошла, и этот хохот долго звучал из уносимой в глубину бетонного ствола клетки мягким, слабеющим эхом: а-а-о-у-у... И все притихли, невольно прислушиваясь к этому г-г-присмиривший Михаил понял, в какую он пенал беду. Его будут судить, а потом надолго-делтт; закроют за железной дверью. Слышал он от крепильщика Иванкина, человека тихого, с рыхлым г серым, как порода, лицом: «От суммы да от ттстмы не зарекайся... Жизнь!» Иванкин говорил многозначительно, с видом человека, познавшего жизнь на всю ее ширь и глубь, а теперь со смиренной мудростью поглядывающий на нее со стзоов--

А Михаил и в мыслях боялся допустить, что тюрьма может состазить часть его жизни. Она, по его понятиям, существовала где-то за страшным пределом, ступить за который — все равно что умереть позорной смертью. И сама она — как смерть для людей, помеченных судьбой, которым с рождения предопределено стать злодеями, или умереть в юном или молодом возрасте. Нет, нет, это все не для него — он чист, честен и вечен, и не только смерть, но и старость его минует, а если нет, то будет она в такой неопределенной дали, что не проглянуть в нее, в ту даль, да и не стоило туда проглядывать. А тут, что это?.. Да и за что? За полпачки «Прибоя»? И потом — туда?.. Неужели он — уже не он и незримо отделен от нормального мира, нормальных людей, причислен и выкинут в тот предел ужаса и позора?..

— Дядя Ваня, я нечаянно. — Губы у Михаила тряслись, глаза суетливо и просяще бегали, —



Прости, дядя Ваня. Я больше не буду... Нечаянно...

— Нечаянно?! За нечаянно — бьют отчаянно! Пошли, пошли к начальству шахты! — Загребин подталкивал уже не сопротивлявшегося Михаила. — И ты иди! — позвал деда. — Ишь, своих прикрывать! Поставили тебя тут, так чтоб честно...

— Ну, ты про честь-то... — Дед Андрей вдруг окинул гневным взглядом Михаила: — Чего сопли распустил, пакостник? Пошли ответ держать!..

Широко хотел дед зашагать, гордо, да не вышло: засеменил, шаркая резиновой обувкой по выбитому цементному полу, норовил выправить излом в пояснице, но крепко заколодили ее годы, работа внаклонку да листовничные бревна-рудстойки. Откинув голову назад, он шел, дважды переломленный: в пояснице и в шее, — и таким жалким показался Михаилу в своей гордости, что спрятанные после окрика деда слезы наживились опять.

Загребин у дверей кабинета директора шахты вскинул руку перед лицом деда Андрея: «Погоди». Просунул наполовину в дверной проем, громко доложил:

— С табаком накрыли, Петр Васильич!

— А при чем тут я? — слышалось раздраженное. — Сообщите прокурору!

Последние слова, будто куском породы, тупо двинули Михаилу в темя, и он, ничего не соображая, как через дурной сон, слышал глухие голоса, а потом резкое загребинское: «Заходи!»

Загребин положил перед директором шахты папиросы, отпятился к стенке, сел, по-орлиному огляделся и, успокоившись, устало вздохнул: дескать, замотала забота-работа. Дед с Михаилом стояли у дверей, а директор Петр Васильевич Караваяев, опершись локтями о стол, набывчив седую кудлатую голову, глядел на грязную пачку «Прибоя» — долго глядел, тяжело. И чувствовалась в его позе властная военная тяжесть: повел бровью — и судьба решена.

А на дворе был поздний октябрь, небо — густо завешано стоялой тучей-рассыпухой, и скупой свет дня не побеждал сумерек кабинета. И тишина, и мрак, и от этого вроде бы холод полз от пола по ногам к спине Михаила. А Караваяев все молчал и глядел на папиросы, крупные рабочие его руки г во покоились, и только раскрылки больших :::-ен чуть шевелились. Обстановку молчаливо \: главный инженер Головкин, тогда молод\*, смуглолицый.

=ил во все глаза пялился на Караваяева,  
; ::::о. которая не пощадит, разразит до-  
гу и Головкина увидел не сразу, но бо-  
: : - - - как через тающий туман. Увидел  
встрече с ним на шахте, опять  
: • • - \* :: :у себе. Ему было до дикости  
• евероапшш знать, что Головкин Василий Матве-  
.: - . :::: :.u\_:J: казенный человек, единствен-

ный здесь, на краю света, кто видел Михаила нездешнего, совсем в иной жизни; знать, что ноги Головкина ступали по половицам его родного дома, что его потчевали за ужином травяным, на голимой воде супом из «сплошных автоминов», что он, ночевал в горнице на единственной в семье Свешневых кровати, застланной вместо постельного белья вытертыми до мездры овчинами; знать, что когда-то нечаянно появившийся в степной сибирской деревеньке, и всего на одну ночь, чужой человек — это и есть теперешний главный инженер Головкин: все это было для Михаила, как сон наяву.

...Михаил тогда только начал работать в шахте. На-гора, помнится, поднялся, как всегда: ни глаз, ни рожи, еле волок ноги, и от утраты сил все качалось в глазах, плыло. Но Головкина сразу узнал. Тот шел навстречу по узкому коридору — переходу из грязной раздевалки к ламповой. Узнал, но не поверил себе. Думал, может, газу в лаве наглотался и в голове всякие фертели, тем более что в ней, в голове то есть, и во сне, и наяву, и на-гора, и под землей — родная Чумаковка, степь, люди и даже странный постоялец... И вот он сам! Михаил было озабочился тем, как бы не качнуться в узком проходе, не вымазать дорогой костюм Головкина. К стене раскинутыми руками и спиной прижался, пропуская Василия Матвеевича. Тот прошел, обдавая свежестью, духами и какой-то высокой недоступностью своей жизни.

«Василий Матвеевич! — позвал Михаил. — Василий Матвеевич, Свешнев я! Вы меня не признали? В степь вы к нам... в сорок девятом...» — «А-а, — поморщился Головкин, — помню. Значит, судьба сюда?» — «Да вот, солдатом служил рядом и в шахту, в какую поближе...» — попридержал радость Михаил, заметив равнодушие Головкина.

Он и радовался не от встречи с Головкиным, но в его лице — хоть, с малым свидетелем-осколочком своей жизни на родине.

«Такая даль, сколько везде народа, и вот там, в Чумаковке, а теперь тут... Прямо сказка неправдашняя! — все дивился Михаил и простоудшно пожаловался: — А я тоскую по степи, по деревне своей — прямо спасу нет». — «Ну и поезжайте туда, — заметил Головкин. — Здесь же не колхоз, не держат. Если какие вопросы будут, заходите в кабинет главного инженера», — добавил сухо.

И пошел. А Михаил глядел ему вслед и не мог с места сдвинуться — до того был унижен словами «поезжайте... здесь не держат». Выходит, что будет он здесь, на шахте, или не будет — никто этого не заметит, и не нужен он шахте вовсе. От слов Головкина он почувствовал себя песчинкой в бесконечно большой человеческой массе, передвигающейся в пространстве по каким-то вихревым законам. А помнится, председатель колхоза, неграмотный, кособокий калека Филипп Маркелович Расторгуев, упрашивал уходящего в армию Михаила:

«Мишка, возвращайся в колхоз. Не вернешься — без ножа нас зарежешь».

После бани выпил он тогда в шахтовом буфете две кружки пива и расплылся весь. Забился в самый глухой угол сквера между конторой, похожей на барак, и стеной гаража и, покачиваясь на скамейке, как от зубной боли, причитал сдавленно:

Ах, куда же залетел я:  
Хутора да хутора.  
Заболит мое сердечко —  
Не залечат доктора...

«Чего страдаешь?» — случился рядом Федор Лытков. «Да вот, пива две кружки...» — «Э-э, брат, — перебил Лытков, — тут не пиво. Ты в лаве упился, а так нельзя. Ты рабочий, а рабочему силы надо раскладывать так, чтоб на всю жизнь. Она у нас, у шахтеров, и так жизнь подкороченная. Гляди, парень, приглядывайся. Это сейчас тебе кажется, что ты вечный, а вот годам к сорока сгорбишься, сядешь на завалинку... А-а, то-то!»

Лытков достал папиросы, тряхнул, предлагая Михаилу, тот покачал головой, отказался. «Лето тут какое-то бешеное, — сказал печально, оглядывая сквер. — Прямо на глазах все жиреет. А у нас в степи не так: хлеб растет. А тут камни». — «Юг — что ты хочешь. Океан рядом. Греет да поливает. — Лытков пускал дым в нависшие ветки вяза, и они будто парили, напоминая Михаилу банные веники. Лытков повернул к Михаилу лицо, тронутое морщинами ранней старости. — Все мы тут, Миша, залетные — не один ты. Я вот с Орловщины. Служил на Усури да и присох тут». — «Да? — обрадовался Михаил, что не одинок в судьбе. — Не тоскуешь по родине-то?» — «Как не тосковать, — вздохнул Лытков. — Тоскую. А в отпуск поеду — сюда тянет, зараза, хоть волком вой. Русскому сердцу, Миша, везде тоскливо, потому что мы влюбчивы, — пояснил Лытков. — Нам без тоски жить нельзя, у нас земля большая, а за ней ухаживать надо. У нас тоска от пространства».

Михаил рассказал Лыткову о встрече с Головкиным, о потерянности своей из-за этого. «А чего тебе Головкин? — вскинулся Лытков. — Он хоть и начальник, но если так говорит, значит, сам не знает, по какой ему дороге идти, потому и тебя рассеивает. Он у нас начальником участка был — знаю я его. Головкин — косвенность нашей жизни, а не основа. Плюнь на него»<sup>2</sup>

Лытков отшвырнул окурок, покачал головой, хмыкнул: «Ишь ты! Уезжай... А я, Миша, пятнадцать лет на шахте ломлю и скажу тебе: уедешь если, то крепко опечалишь меня. Он, сколько прошло народу через шахту, что воды через водоотлив. Сколько у меня напарников поменялось! А я не о всех жалел. Ушел — иди, но тебя пожалею.

Без таких, как ты, везде тоскливо — врет' твой Головкин, сволочь».

Вот ведь сколько в жизни слово стоит! Головкин словом, похоже, Михаила на колени поставил, а Лытков тем же словом на ногах укрепил. С той поры выбросил Головкина из сознания. И на тебе, встретились — не отвернешься...

Караваев все молчал, времени директорского не жалел, а Головкин посмотрел на Михаила, как на стенку, вкрадчиво, почти не потревожив молчания, спросил у Загребина:

— Он в забое курил?

— Нет, Василий Матвейч, — почтительно клонясь в сторону Головкина, полупешотом ответил Загребин. — Я его у ствола прихватил.

— Не врете! Не вы, а Андрей Павлович... —> вырвалось у Михаила от напряжения.

Загребин дернулся, будто от тычка в шею, попетушину зыркнув поверх головы Михаила, и замер. Тишина накаливалась, как перед взрывом. Только кровь в уши: «тук-тук-тук...»

— Так вот, Петр Васильевич, обнаружены папиросы. Чего в молчанку-то играть? — не выдержал дед.

— Фамилия?.. — Директор не поднял глаз.

— Так Свешнев... Внук, значит. — Пальцы дед бегали по пуговицам брезентовой куртки.

Пришли ответ держать. Это —

Караваев медленно поднял голубые, как весенний лед, глаза.

— Что-то я не припоминаю, чтоб у тебя такой внук был. И садись ты, Андрей Павлович, не в церкви.

— Ну ладно, зять мои. Сына Николая дочку держит. Внучку, значит, — пояснил с готовностью дед.

Михаил остудился о взгляд директора, опустил голову.

— Какие семейные традиции, — сказал Караваев, — и вот тебе: раз — и как топором отсек!

— Он оскорбил меня: шакалом назвал, — с готовностью пожаловался Загребин.

— Ну-у? — будто бы удивился Караваев. — А ты почему не в шахте?

— Освобожден. Семинар в шахткоме сегодня.

— Семинарист, значит, — Караваев кивал головой, словно вынужденно соглашаясь с кем-то. Затем сделал нетерпеливый жест в сторону Загребина, точно смахнул что со стола, и, поймав взгляд Михаила, отрубил: — Судить! А пока иди в шахту.

Михаил эти слова воспринял как-то странно: без волнения, с полным безразличием. Он видел, как Головкин изогнул брови и забарабанил рукой по столу. Дед тяжело, до красноты в лице поднимался со стула. Он уже не заботился выпрямить свое тело, стоя внаклонку, оглядывая вокруг себя пол, словно отыскивал что-то оброненное.

— Ну что ж... Да.. — И потянул резиновыми сапогами к двери, едва не доставая руками до пола.

— Андрей Павлович! — окликнул было Караваев, но дед, должно быть, ничего не слышал, и уже скрылась за дверью его согбенная фигура. Караваев опустил взгляд на бумаги. Головкин отвернулся к пасмурному окну, а Загребин, показывая начальству свою непрерывную работу общественного, вынул книжечку и что-то записывал в нее. И эта их безучастность так поразила Михаила, что тело его от макушки до пяток стало заполняться жаром-кипятком — так был оскорблен не столько за себя, сколько за деда.

— Поймали преступника, да? — Губы у Михаила тряслись, голос поднялся до детского звона. — Поймали, да?

Загребин аж подскочил, с готовностью кидая взгляд то на Караваева, то на Михаила. Ого! — взглядом выразил недоумение Головкин, но так и остался сидеть.

— А я не боюсь... Тюрьмы не боюсь, вас не боюсь — на холуях далеко не уедете!..

Потом он почти ничего не помнил, не сопротивлялся, когда Загребин выталкивал его из кабинета, только бормотал бессвязно:

— Ладно, пойду. Я пойду... Но и вы тоже...

Деда Михаил тогда нашел за копром — он сидел на громадном старом копровом колесе, между спиц которого пророс бурьян, и глядел вприщурку на отвал угля. Уголь самовозгорался от осенних дождей. Едкий дым туманился, заполнял пространство и, наверное, ел деду глаза. Дед часто моргал покрасневшими ресницами.

— Ты чего, дед?

— А? — отозвался дед, кинул короткий взгляд на Михаила, словно стыдился поглядеть нормально. — Иди в шахту, Миша, а то припозднишься, и стволовой не спустит тебя. — И, стыдливо торопясь, попросил: — Дома не рассказывай пока. Иди. Да...

В лаве и того не лучше: Лытков — с места в карьер:

— Эх, ты-ы! — Сел на лесину, каской об почву треснул. — Ну что там? Не тяни душу!

— Судить будут. — Хотел сказать просто, а жалоба без спроса в голос втекла.

— Да? — взметнулся было Колыбаев, но тут же осел. — Ну, ничего, тебе полезно посидеть.

Михаил почувствовал, будто его ударил сзади свой, давно знакомый человек, ударил ни за что ни про что, лишь бы только ударить — и все. Боль была настолько острой, что рудстойки в глазах закружились хороводом.

— Ты же сам... это... просил папиросы взять, — очухивался Михаил. — Просил ведь?

— Ну просил. А у тебя головы нету? Попросят в петлю полезть — полезешь?

Азоркин Петька, тростинка гибкая, оскалился на Колыбаева:

— Ну и толстокожий!.. — Потом напустился на Михаила: — Зачем брал папиросы, дурила, если сам не куришь?!

— погоди, Петр, погоди. Фу ты язвы! — Лытков потряс головой, точно от дурного сна. — Что ж это, Ефим, товарища подбил — и в сторонку?

Колыбаев явно уже догадался, что сбочнул лишнее, и теперь, отвернувшись, стоял поодаль настороженно, как потревоженный зверь, трогая пальцем острие кайла.

— Как же нам с тобой работать? — спрашивал Лытков. — Ты же нас тут, волк, всех передавишь. Среди своих плодить Загребинных?.. Н-нет, если Мишку, не дай бог... так и ты загремишь! Подстрекал? Подстрекал. Признался? На себя петлю-то поставил, волчина!..

Кажется, с той пасмурной, бесконечно долгой осени у Михаила навсегда отяжелела душа, огрузилась постоянной и непонятной для него тревогой. Он вроде как приподнялся над жизнью и теперь торопливо, с жадностью вглядывался, словно бы примеривался, определял: кто он есть среди людей и как с ними ладить дальше?

Поостынув и одумавшись, не мог без стыда вспоминать, как ерничал у ствола, грубил и унижался перед Загребинным, как недостойно вел себя в кабинете Караваева. Им тогда владели страх и отчаяние, а уж тут не до совести и рассудка. Одурил, что и говорить, загнанному зверю уподобился: скулил, рычал, кусался. Правда, деда было жалко в тот момент, но позже понял, что сам же его опозорил.

Осень приморская всегда была желанна, но эта выпала для Михаила тяжелой, как сон на похмелье. Не было ни дождей, ни заморозков. В непросветный морок было закутано небо, и эта пасмурь не пускала к земле холод, но и от солнца тепла тоже не пропускала. В ровном влажном холоде дремал город в долине; южные склоны хребта рыжели кудряшками дубняка и казались так близко — руку протяни и погладишь упругую мягкость мерлушки. Но близость обманчива — до сопки больше пятнадцати километров. Это так мощен и высок хребет, и потому немощными и беспомощными представлялись городок и даже терриконы, что цепочкой протянулись вдоль северной окраины Многоудобного, виделись пятью многогорбыми кучками, насыпанными ребятишками в игре. Пять кучек — пять шахт. Средняя шахта, «Глубокая», самая крупная и старая: терриконы ее заняли немалую площадь, срослись в единое основание, но вершин было семь. Некоторые вершины уже давно перегорели, и теперь их ярко-оранжевые осыпи буйно зарастали чертополохом — их насыпал дед Андрей; другие были посвежее, курились зеленоватым дымом — в них выдавал породу до своей гибели на войне отец Валентины,

а последний террикон его, Михаила, еще совсем серый, но пылал всю, и по нему букашкой вползал скип, с острой макушки сыпал щепотку породы, и издали было видно, как, по-блошиному подскакивая, скатывались глыбы породы вниз.

В таком сонливом состоянии природы звуки как бы' вязли, запутывались, словно в тенетах: вроде все слышится — и ничего. Паровозы изредка кричали сырыми барками и клубили пар, который, долго не мог истаять, белыми червячками возился и вроде, бы не вверх уходил, а впитывался в землю.

Ниже дома Свешневых, в овраге, поросшем ивняком, тихо всхлипывала вода истощенного ручья. А выше, за садом-огородом, поднимался в сопку раздетый до последнего листа лес: листва лежала мягким, волглым, не теряющим цвета выстелом, и потому на фоне этого выстела деревья тяжело чернели, будто из чугунного, литья.

В доме Свешневых тоже приглохла жизнь. Дед после того случая с папиросами сразу слег и по двору передвигался с трудом, шипел легкими да сухо кашлял. Ему и дышать и кашлять уже было нечем — легкие совсем стянуло силикозом.

• — Ну... гхе... чего там? — обращался к Михаилу, когда тот приходил с работы.

Михаил понимал вопрос деда, но отвечал уклончиво, да и теща тут же и Валентина. А дед явно, должно, из-за болезни и старости терял бдительность.

— Все так же, — говорил Михаил, — на месте шахта, не завалилась...

— Ишь ты... гхе... не завалилась... Я те завалюсь!..

— Да что поделалось-то? — тревожилась теща. — ЖилИ Не тужили, а тут... Что, сынок, запасмурнел-то?

— Анна, не вяжись к парню, — хрипел дед. — Двадцать три молодцу — пора и задуматься, примирить.

— Легко сказать «не вяжись»... Не вижу, что ль, весь как прибитый...

Она кивала седой головой, комкала костлявыми, в черных венах руками бязевую кофту на усохшей груди. Михаил не мог глядеть на тещу, садился за стол, ел, не отводя глаз от тарелки.

— Погода пасмурная. Вот и... Сад вон собирается во второй раз зацвести — пропадет... — Михаил давил комок в горле, жалея родню. Поднимался из-за стола, решив твердо: «Завтра пойду к Караваеву. Судить так судить, нет так кет...»

— Пойду поработаю, — виновато топтался около Валентины, будто просился: пойти или не пойти, а та сидела на кровати, вся оплывшая — живот уж к носу подступал, — х лицом водянистым и пегим от коричневых пятен и с испугом в детских глазах перед не известными ей еще родовыми страданиями: «На кого же их таких, четверых?..» — спрашивал, ненавидя себя.

Он выходил во двор, подправлял забор, колос дрова, и в дом идти ему не хотелось. А день तो ли умирал, то ли еще жил — с утра до ночи словно сплошные сумерки. Нароботавшись в шахте и по хозяйству, он тяжело поднимался по крутому взъему через сад до заросшей бурьяном калитки, выводящей в лес, и шел еще выше, до Ели с Изгибом По-лебяжьи.

А листва в лесу прямо подушка подушкой, под ногами не шумела, упругилась, и было непонятно: откуда она брала столько желто-розового света — так темно было небо!

Ствол ели начинался почти горизонтально, потом изгибался лукообразно в обратную сторону, опять выправлялся и уходил в высоту. Похоже, что у нее в молодости был своенравный характер: как все ее сестры, расти не желала, а повзрослев, поняла, что искалечила себя зазя — расти все равно некуда, кроме как вверх.

Михаил сам для себя назвал ее Елью с Изгибом, По-лебяжьи. Длинное дал имя, но не улицу же он назвал так, не какое-нибудь поселение, чтобы люди потом мучились с адресами и казенными бумагами, а дерево, и только для себя.

В первую же свою шахтерскую осень Михаил пошел в вечернюю школу. В восьмое класс. Две недели заглужал он своим храпом голоса учителей. Первый урок еще кое-как выдюживал, на втором — веки хоть спичками распирай, а голова то и дело срывалась с безвольных рук, приходясь лбом об парту, чем веселил одноклассников, до не учителей. В конце концов он уже не одолевал тяжести головы и спал все уроки и перемены, и его насилу добуживались в двенадцать ночи, когда заканчивался последний урок.

Классный руководитель, физик Николай Степанович, из тех фронтовиков, которые еще Не отвыкли удивляться, что они остались живыми, однажды обратился к Михаилу.

— Свешнев, пока ты не уснул, — сказал он, — давай-ка решим с тобой задачу на тему «Тепловая энергия и работа». Тема тебе егде не нззестная, но я ее знаю, осилим вдвоем. От тебя нужны только данные. Итак, ты, кажется, навалотбойщик?

— Ага. Пятый месяц,

— Стаж не нужен. Продолжительность рабочего дня — восемь часов. — Николай Степанович ловко записывал на доске левой, а правая его, неживая, крючкато топырилась пальцами в черной перчатке. — Норма выработки?

— Двадцать две тонны.

• — Лопатой?

— Ну.

— Все?

— Нет, еще бревна носим, железо... Крепим. Ну, и еще там всякое.

— Какое?

— Ну шуры забурить, за глиной сбегать для

пыжей, инертной пыли наносить, лаву ею обсыпать, порода с кровли обваливается—убираем. Но это не пишете, это все в норму входит.

— В норму! Самой собой, что ли, делается? — почему-то осердился Николай Степанович. —<sup>1</sup> Пыль-то инертная зачем? Что у вас там, пыли мало?

— А это, когда уголь взрываем, так чтоб попутно метан не взорвался,— пояснил Михаил.

Николай Степанович еще долго мучил Михаила вопросами о весе да расстояниях, даже зачем-то спросил, сколько и чего он съедает за день, потом надолго забыл и про Михаила и про класс, сбубнил про себя: «Килокалории, тепло, работа». Дважды исписал доску формулами и цифрами и, закончив дело, постоял, похмыкал, подакал и сел за стол.

— Тебе, Свешнев, чтобы учиться, нужно поменять работу,— сказал сочувственно.

— Нельзя. — Михаил начал понимать затею учителя.— У меня семья большая.

— Ну и что же, никто не работает?

— Почему? Работают в колхозе. — Михаилу стало отчего-то неловко: «Выставляет перед классом...» — Работают, еще как!

— Да, да,— согласился учитель. — Но ведь раньше-то они жили без твоей помощи? Так же не потянешь школу.

«Жили не тужили...» — Михаил больше не хотел об этом вести, разговор, а Николай Степанович помолчал, помигал, затем подошел к доске, вздохнул и мелом жирно подчеркнул какую-то цифру.

— Ноль целых восемьдесят девять сотых лошадиной силы в час, требуется, чтобы произвести ту работу, которую делаешь ты, Свешнев. О какой учебе тут<sup>4</sup> говорить?

Михаила эта лошадиная сила несколько не удивила.

— Ну и что? Что мне лошадь! Не втянулся я еще... Да у нас мужики после работы огороды копают, дома строят<sup>4</sup> Чего мне ваша сила-то?..

— Да не наша, а ваша! — Николай Степанович потянулся для чего-то за указкой.

«Треснет еще, псих». — Михаил покосился на подрагивающую в руке учителя указку.

• Приглушенно заройвшийся было класс притих.

— А мы поможем Свешневу,— каким-то звонко-натянутым от волнения голосом сказала с *co-zizhik* датты Валентина Турова. — Поможем, пока он не сгизыкнет. • • \*

и всех в классе, Валентину *ee* знал, не мриглядывался. Слышал только краем уха, что она двеаую школу для работы бросила, швей на фабрку астд-са. Ну, иной раз и поглядывал на нее, так, &дѣдльзь,— впрямую-то он на городских глядеть стесгался. Все они ему казались — **чужого, недостуЕНОго** рода-племени, и да же не думалось о том, что у него будет из них

невеста. Женитьба ему представлялась неопределенно и туманно. «Вот когда-нибудь поеду в отпуск в Чумаковку и заберу с собой Аньку Тонких ила Нинку Скорохватову — все равно кого», — так ож думал иногда.

А сегодня он коротко оглянулся на голос Туровой — и опять глаза в парту, да еще не выдержал, оглянулся на миг. Но не увидел ее лица, хоть и глядел, а уткнувшись в парту, восстановил ее образ в памяти: лицо нежное-нежное, как первый снежок, и такое юное, но статью девка крепкая, крупноватая, к своему лицу малоподходящая. «А ведь для когр-то подросла, чья же она будет?» — подумал, и так что-то прижало ему 'сердчишко, будто редьки наелся без хлеба. «Что об этом, дуралей...» — пытался утихомирить себя, а тоска и почему-то обида неизвестно на кого разыгрались внезапно и пронизывающе, аж зубы заломило.

— Я уйду, Николай Степанович. Можно? — попросился.

— Навсегда не советую,— строго отвечал учитель.

До дверей шел и обмирал от стыда за свою солдатскую одежду. Казалось, что Валентина Турова и весь класс только и глядят на его кособокие в пятках кирзачи, на потертые до выбели шаровары и хвостиком торчащую из-под ремня гимнастерку. И ведь думать не думалось до этой минуты, что одет плохо — тело не голое, чего еще надо? — в деревне до девятнадцати лет носил брюки из маскировочной разномастной плащ-палатки, которые сзади глядели «очами» заплаток, а тут целое, в один цвет полотно, и не позаботился хоть, какие брючишки купить, рубашку — все деньги в деревню высылал.

Три вечера в школу не<sup>4</sup> заявлялся. Лежал, думал, как найти силы для учебы. И ничего не мог придумать. Из лавы уходить никак нельзя еще года три-четыре — в Чумаковке школа начальная, а братьям и сестре восьмилетку надо заканчивать в Чистоозерной. За десять километров в одних валенках да в одной телогрейке четверых попеременно в школу не переводить. «Все,— решил,— младших выучить перво-наперво, а там видно будет». Решил. А денег занял, купил первый в своей жизни костюм из толстого сукна — чтоб подешевле да покрепче — и штапельную рубаху: «Надо... Чего ж, не век в солдатском...»

Не сознавался самому себе, что обновки покупал только из-за нее одной, из-за этой девчушки Туровой. И все эти три дня наваливал уголь, а угля не видел — движется, скользит по темным осыпям ее лицо; о далеких ли родных местах думал — и там она: то на опушке березового колка видится, то на берегу Тихонькой сидит; по улицам ходил — и тут, куда ни глянет, о чем ни подумает... Все позаступила, позагородила собой. Нерадостно, больно и тоскливо. И почему-то лезло в голову несуразное, что он ее, настоящую, живую,

никогда не встретит, не увидит ни в этом маленьком городке, ни в другом месте, и даже, если пойти в школу, То и там ее не будет — Не будет никогда.

И все же в школу он пошел и Валентину там не увидел. «Как думал, так и есть», — отметил для себя, не удивившись. Два урока отсидел для приличия и ушел, чтоб вернуться в эти стены через семь лет.

А в тот вечер он постоял в школьном неосвещенном дворе, обращенном к южной, сопочной окраине города, где в крутом распадке по редким, заглушённым садами огням угадывались жилища, потом вышел через кирпичную калитку, пересек мост через ручей, приближаясь к черноте сопки и устью улицы, из которой — не раз видел, когда Турова для него была никто, — она спускалась к школе в синем плаще и с красным портфелем. У крайнего, глухо уснувшего дома постоял под какими-то могучими деревьями, вглядываясь в белеющую песчаную дорогу улицы, которая где-то вверху, а может, прямо здесь, у 'подножия сопки,\* подходила и к ее дому, и опять не поверил себе, что в каком-то из темнеющих домов она теперь живет, реальная.

«Я еще немного жил и работал, а что-то устал», — определил он свое состояние, уходя в общежитие.

Напарника по комнате он не застал, тот был, наверное,, в шахте, сел за стол, открыл тетрадь по алгебре и рядом с нерешенным примером записал стихи:

Лишь одного не изживу я:  
В каком краю, в каком пути  
Я потерял тебя, живу,  
И где теперь тебя найти?  
В какой траве, в каком тумане?  
В каких домах, в каких лесах? —

Он, записывая так быстро, что сразу не спохватился, что не чужие стихи записал, а свои. «Да ну! Не может быть!» — не поверил, но, сколько ни вспоминал, так и не вспомнил того, что эти строчки он где-нибудь читал или слышал. «Неужели?!» Он раз, да другой, и еще десяток раз перечитал стихи, а потом понял, что они недописаны. Сейчас допишу, решил он, но- после слов «в каких лесах» как остановился, так и ни с места, будто вдруг опустилась перед лицом железная стена. Побился, побился об эту стену и, ослабев, повалился на стол и, разметав руки, проспал до утра.

Через день, в воскресенье, проснулся до света, хоть и выходной был. Крестьянское-то в крови жило: когда ни ляг, а встань до солнышка. С постели поднялся с трудом: все тело словно камнями битое. Усталость вроде не вытекла из него за Цочь, а из пльвучей, перетекающей в теле превратилась в жесткие узлы, стянула ломотно мышцы и кости. Он знал, что все это до первых

отмашек лопатой, до первой лесины, а тзм растворяются они, истают до завтрашнего подъема.

Одевшись, он походил по комнате и прилегал кверху одеяла, стал думать и ждать дня. Когда стелу, будто лиственничной корой, облепило всходящее солнце, Михаил вышел из общежития и направился в сторону той улицы в сопках, чтобы разыскать Валентину. «Потерял ее... — укорял себя за написанные стихи и за причину, заставившую их написать. — А ты находил- ~а нойдн сперва, а тогда уж...»

На сердце было спокойно и ровно, как будто он шел в солдатском строю, гдг не нужны глубокие думы.

Перешел мост через ручей и остановился, чтобы оглядеть с удобного места всю крутую, подковообразную вогнутость сопки, в которую, словно по ступенькам, поднимались крыши домов, а сами дома виделись плохо из-за садов в вольно разросшихся деревьях — так, кусок веранды, часть окна, зеленеющий обшивкой угол. — а за домами, по склону подковы, курчавился лес. схваченный красками ранней осени, задгтгнаеык хвойной темью. «Ну и гнездышко! Это асе надо — природа, а!» — дивился Михаил, входа в улашу, как в аллею.

Тут же справа, из-за к; :=го=»:тднх ветвей черемухи, вывернулась аов\_г.:о.; ; прогнутой крышей и крошечными ;к\_-ч... \_-:а. И сама избушка и подворье заросла нглавой, крапивой и всяким чертополохом-луввинвоц вз которого, словно из засады, объявился веред Михаилом старичок в шахтерских калошах аа босу ногу, в длинной и жесткой, как нз кроввааша! жестн. рубахе,<sup>4</sup>

**В РЯДНИЧНЫХ КОРОИКИХ ТОТТІІІ. ос"Еджающих тон-**  
кие ноги.

— Здоров, 'аед'.

• — Здоров. — Дед — - 5-т? =ид= к полурассы-, панному, иствлешему аатавхтваку бывшей ограды.

, — Не скажете, где Туровна живут?

— Андрюшка-то? Кис се сказать. Осьмой дом выше. — Дед весел: аь< взывал из волосатого рта два желтых зуба. — Андрюшку не знать... Как же! В моем отраве выл. Петька Караваев тоже. Сенька Черноухий — Тут-ка, в Многоудобном, считай, тыщи м)жикив. к:уу я в гражданскую партизанским командиром был. Мы тут, на Пльвунах то ись, интервентам шкуру дубили. Они у нас тут досигались.

Михаил подумал, что дед вроде под хмельком, а тот обежал его проворным взглядом, спросил, подмигнув:

— Ты, стачаем, не с поллитровкой?

— Нет, — улыбнулся Михаил. Дед ему нравился. С таким поговорить, как на родине побывать.

— А то зайди. Бражка есть.

В дальнем углу огорода поднялась над жирным гречишником старушечья голова, повязанная

серым платком. Старуха поглядела из-под руки, зашумела:

• — Гуляй, ирод, нагуливайся! Я тя выкормлю, как зима подскочит! — И скрылась.

— Хе... Воспитывает,— нисколько не смутился дед. — А ты кто будешь. Андрюшке-то?

• — Никто.

• — Вот и я вижу — никто. К девке, значит... Девка у них крутая, ядреная. Шестнадцать уж ей. А ты женись и не оглядывайся. — Дед сам почему-то оглянулся туда-сюда, приблизился, обдавая перегаром. — Выбирай корову по рогам, а жену по родам. А Туровы — люди стоящие, корневистые, истинный бог. Сам не шахтер? Шахтер. А то бы зашел. Бражка-то?.. Нет. Ну, гляди. Вот так вот, значит, и вознимайся к Туровым,— показал вверх по улице.

Михаил пошел, улыбаясь добрым словам старичка и тут же забывая про него от пугливого волнения перед тем, что будет через семь домов от избушки.

Тайно влюбленные создают себе особый мир понятий и представлений, где -все наоборот: то соломинка видится бревном, то бревно — соломинкой. Михаил будто гири-пудовки на ногах волок и, чем ближе был восьмой дом, тем тяжелее поднимался: «Что я скажу? Ну что я скажу?!» — И оглядывался, как бы примериваясь задать стрекача под гору.

Но вот и дом: серый, бревенчатый, с большими

2-ми и 2-ми: зндой на север, в сторону города, стоят высоко, в глуби усадьбы так, что основание 1 -д: - - выаде его, Михаила, притаивается за кустам сирени у калитки.

— Маша! СаеааеаL.

Его удге.-z zZz-i Валдае дама, з широком авнгале мех садовых деревьев, новаив картошку. Валентина бежала, оступаясь в мягких осыпях с рг копанного, раскинув рука, точно вытавь кого поймать.-

Потом он помогал копать картошку, а мать Валентины слова не проронила, рылась в земле, кидая неприветливые взгляды. Она была худая, вроде большая чахоткой и созем слабая: часто разгибалась, словно к чему прислушиваясь, мяла на тощей груди кофтенку и, как бы молясь, поднимала к небу большие, с синеватой эмалью белков глаза. А дед Андрей и того был не лучше: ползал по грядке на коленях, выгнув спину горужкой, грабасто скреб жесткую землю корчеватыми руками, подогнув пальцы внутрь, упирался для подвижки. Был он весь будто из глины сбитый и засушенный, а внутри у него будто гулял ветер — так шумно дышал дед. Время от времени глядел на Михаила, выставив шишкастын нос, спрашивал:

— Из солдатов, значит?.. Чего ж к отцу-матери нетюехал?

«— Да ты уж спрашивал,— смеялась Валентина.

— Загунь! Не с тобой толкую. — И опять к Михаилу: — В шахту навек или деньжонок добыть?

— Не знаю. Как придется,— отвечал Михаил рассеянно, потому что рука его часто встречалась с рукой Валентины над ведром, и от этого он терял силы и внимание.

Пообедали на веранде. Там не обед был, а так, только отбывание времени: Михаил стыдился при Валентине еду в рот брать, а той, видно, тоже не до еды было: скребла вилкой по сковородке, вскидывала на Михаила серые, в пушинах ресниц глаза да краснела.

— Ешь, что ты? — просила вынеженным, выдающим ее состояние голосом, отчего мать и вообще поджимала бледно-синие нервные губы. «Не выносит меня. Злая, потому и худа, что кашеи-ха», — невзлюбил будущую тещу Михаил.

Он попросил задачник по геометрии, чтоб не подумали, что приходил без причины. У калитки Валентина спросила срывистым голосом:

— Тебе охота уходить?

— Не-ет,— затряс он головой, удивляясь действительности, которая вчера показалась бы сном.

— Пойдем, покажу дерево-гуся,— предложила она.

— Где? — спросил Михаил, а сам покосился на веранду. — Вон смотрит!

— Не бойся, она добрая. Это она за меня боится. Я же одна-одна у них. Папа убитый, а ей сердце жить не дает.

— Где дерево?

— Там,— махнула она рукой, и он пошел через сад к другой калитке, хоть совсем не знал, что калитка там есть. Шел он быстро, не оглядываясь и не спрашивая, куда идти. Так и дошел первым до ели.

— Ты разве знал?!

— Откуда же? Ты сама меня привела. Не туда бы пошел — сказала. — Осмотрел ель, улыбнулся. — Это не гусь. Это Ель с Изгибом По-лебяжьи.

— По-лебяжьи?! — хохотнула Валентина. — А почему по-лебяжьи?

— Не знаю,— ответил, удивляясь могучей силе :-•.: •- -г. земли, на которой вырастают та- z.-...-z1... па.:.:у что у него на родине везде i.' : четнсзем. такой мягкий, что с лошади упа- дешь и не ушибешься, а березы, сколько ни растут, больше себя не вырастают.

Валентина взбежала на кривулину ели, зашаталась, забалансировала и, вскрикнув, стала падать. Михаил подхватил ее, тяжелую, словно из камня, переполненную здоровьем и молодостью.

— Ты чего? — Он враз задохнулся и был не в силах держать Валентину на руках те несколько секунд, пока она была как бы в обмороке, спешно

пытался поставить ее на неупористые ноги.— Что с тобой?

Валентина, не открывая глаз, стала искать ногами упругую, как резина, хвойную почву, чтобы легче встать, обхватила сгибом руки шею Михаила и, словно невзначай, ткнулась горячим ртом ему в подбородок. Грубо толкнув его, встала, а у самой слезы сверкнули на потупленных ресницах.

Мать дожидалась их на крыльце,

— Ты чтоб больше сюда не приходил,— приказала, опалив жгучей темнотой глаз.— Девчонке только-только семнадцатый... — трясла плохо прибранными под платок седыми волосами.— Увижу— так и знай: заявлю в милицию! Иди отсюда, бесстыжие твои глаза!

Если бы земля под ногами провалилась, то и спасение бы было. Михаил глядел снизу на нее, беснующуюся, и улыбался, да такой улыбкой, что не приведи господи человеку так улыбаться!

— Мама! Мама! — заступалась Валентина. Потом вдруг вцепилась в руку Михаила, вызывающе выставилась:— А мы, может, поженимся, а! Ну, заявляй! А мы поженились!

Мать — в рев, дочь — тоже. В дружном согласии в обнимку скрылись в доме,

Михаил с Валентиной с женой и вправду не затаили. Они поженились в теплый февральский день, когда с океана временно наплыла на бесснежную землю майская теплота. Первую брачную постель для них стелила Ель с Изгибом Подлябья — стелила все свои долгие сто лет, укладывала хвоинку к хвоинке.

Валентина не вспоминала про ель, про то, что для них она значила, и Михаил никогда ей об этом словом не напомнил, хоть и имел по этой причине на жену тайную обиду. Напоминать — все равно что выпрашивать любовь, унижительно и стыдно, и это наводило на думы, да то, что в любви Валентины есть что-то неполное, ущербное..

Для Михаила ель и место под нею стали и чем-то освященным и тайным, и он всегда жалел о том, что ни в радостный, ни в горестный час — никогда больше не позвала Валентина пойти к ели, и он ходил туда один.

Пришел он и тогда, на исходе заглохшего дня, и долго сидел у корней ели, думал. Представлялось, как дойдет известие о его позоре до Чумаловки, до родных.— До всех дойдет, кто его знает на земле...

Откуда-то сверху наплывал сонный басовитый шум. Михаил прикрыл глаза, и шум приглох, только тоненький посвист ветра в бурьянных струнах да белым-бело на свете— А слабой тенью за редким снегопадом — деревня, и он вдет за задним

возом сена и слушает древнее пение полозьев и степного ветра, которое, мнилось, слышалось ему еще до рождения, еще до первого просветления света в глазах. Бескрайнее, ничем не лающее воли пространство и тяжелое, погибельно сжатие угольного подземелья — как можно совместить такое человеку? Неужели кусок хлеба да штаны без «очей» так заманчивы, что из-за них можно променять милую родину с ее горным суетом на искусственный мир мрака и тяжести, где лава так и называется — «камера»?

Михаил открыл глаза. То ли навзгву все видел и думал, то ли задремал, утом.— е.— ^ . Леж ствол в низине проглядывал город, во неясно — через сумерки, будто под мутной ВОЖBaV Только терриконы пестрели приплясывав: па .'. :а: :той огней да вся городская часть долины оеремнигивалась ранними фонарями. А ель гудела на непроглядной высоте, и другие деревья г-'аралн шума от ветра — сквозного и студеного. «Ну вот и все», — сказал Михаил, почувствовав в себе какую-то решимость, новое что-то, чего в нем вк (ввяо раньше.

Назавтра, после смены, он вообел к Караваеву. Вышло удачно: Караваев был с-даж, а Михаил очень не хотел, чтоб кто-нибудь ехал был. Караваев погукал в телефон, положил трубку и угрюмо смотрел на Михаила. Мнхавл вевольно переступил с ноги на ногу, но глядел смело, чтоб не подумал Караваев о нем, будто ов врвшел просить милости.

— Садись,— пригласил директор, во не показал, куда садиться, и Михаил сел на крайний стул у дверей.

— Я узнать хочу.^Петр Бвгг-дьонч: что там с моим делом? А то время идет— сказал и не узнал своего голоса — так оя •ни иви и И ведь не боялся теперь уже, а робость какая-то взяла перед этим солидным. а ". -...-вдм властью и большими заботами человеком. Робость в стыд. Верещал тут зайцем в прошлый раз, истерику закатывал, ничтожная душонка. Мнхавлу даже показалось, что Караваев смотрит ва вето брезгливо, с отвращением.

— Идет время... — глухо стачал Караваев и не изменил позы: грудью ва стол, голова пригнута, вперед выставлена, словно на него кто сзади давил, а взгляд тяжелый-тяжелый.— Как там Андрей Павлович?

Вопрос был неожиданным.

— Да как... хворает.

— Хворает, значит.— Караваев трудно, впол оборота повернулся к окну, кудлатую седую голову подпер рукой и, кажется, надолго забыл про Михаила. На что он там смотрел? В окне одни голые вершины шахтового парка.

«Уйти, что ли», — подумал Михаил.

— Вот горняк был! — Караваев обернулся, выпрямился.— И сын.его, Николай Андреич. Добровольно на фронт— вот. И — навек. Лучшие —



там,—махнул рукой Караваяев, и Михаил совсем уже его не понимая.—Ну иди, Свешнев, не тни душу. Сам сказал: время идет... У тебя-то его, времени, а у нас. Когда в шахту?,

— Из шахты только...

— Ну иди, отдыхай.

— Простите, Петр Васильевич, ну... за все!— невольно вырвалось у Михаила.

Караваяев взял было ручку, а теперь опустил ее в стакан.

— Понимаешь хоть, о чем просишь? Уйми страх-то, на-гора папиросы изъяли, не в шахте... Судить не будут. А совесть болит? Вижу, болит. И я тебе не поп, чтоб душу твою лечить. Сам,, Свешнев, лечись. А то хорошо так-то: пришел, покаялся да снова грешить. Так, что ли, жить собрался?

Михаил не из-за боязни одной пришел к Караваяеву, хотя хоронилось в душе и такое, чтоб покаяться. Поведи Караваяев ' разговор по-другому, и, наверное, все не так вышло бы.

— Как получится, так и буду...—Михаилу захотелось скорей уйти.

— А может, как надо? Ты же не бревно самосплавное в реке, ты в коллективе.— Караваяев закурил и через пелену дыма, прищурившись, глядел на Михаила.— Самые вредные люди те, что пакостят и каются, каются и пакостят. Та-акие черви!.. Воля не моя—я бы таких судил!—Затушил папиросу, потянулся за ручкой, двинул бровями.—Иди!

Заходил к Караваяеву с тяжестью в душе, ту же и унес с собой, а может, потяжелее. Что ему, Караваяеву, Михайлова жизнь Цыплячь? В войну генеральское звание имел и дела генеральские делал. Для него одна человеческая судьба—не судьба.

Старый и малый в городе знают дурачка Федю. Ходит он по дворам и шахтам с гитарой без струн, детей и взрослых называет дядями и тетями и косноязычно твердит одно и то же: «Яшка бьет. Дурак Яшка...» Знали и то, как в сорок четвертом повел Караваяев пятерых шахтеров почти на верную гибель в незакрепленном забое уголь брать. Полсмены кидали уголь из страшного зёва. Сам директор, голый по пояс, купался в поту, а рудстойки все не подавали—не хватало их. Кровля едва-едва держалась, уже отрывались, шлепали мелкие коржи, предвестники страшного. Говорили, что один из пятерых выскочил в закрепленную выработку с истощным ором: лучше, мол, расстрел, чем так ждать сМерть часами. И тут же кровля, вильнув ветвистыми щелями, будто черная молния, обрушилась сотнями своих тонн: воздушшей волной выфуркнуло два размякших тело, один был Караваяев. Трое остались в лаве. Тот,

:=:• тв:::очил до обвала, запросился на фронт, да что-то с разумом у него случилось: задурнл, задурнл, Им н оказался Федя. А про Караваяева

рассказывали: пришел в больнице в сознание с первыми словами: «Забой восстановили? Уголь даете?..»

Погнуло, поломало директору кости, а железо в характере осталось-без царапинки-вмятинки до старости.

А после затяжной осени и бесснежной зимы всей шахтой собрались на траурный митинг. Гудки надорвались за час крика, уши у всех позаложило, и потому необычно глухим показался голос Караваяева: «Ну вот, дорогие мои товарищи, и осиротели...» Он впервые, может быть, в жизни слово «товарищи» сказал с таким мягким горестным выдохом, что всех сразу приблизило к нему, вроде и не на многолюдье были. Потбм он долго молчал, втянув шею в воротник кителя. А тишина над сотнями людей покоилась, и, в эту тишину так кощунственно врвался из пришахтового парка разноголосый веселый крик ополоумевших от ранней весны птиц. Караваяев приподнял руку, сделал нетерпеливый жест в сторону парка. Может быть, Михаилу показалось, что Караваяев сделал жест, но, наверное, так оно и было, ибо в парк тотчас побежал Загребин. А Караваяев все молчал, будто .. выжидал, когда Загребин наведет в парке порядок. Он вдруг приоткрыл рот так неестественно, точно в дурном смехе, одной рукой, словно ослепленный, прикрыл глаза, другую прижал к сердцу. «А-аэ-э!»—вырвался из безобразно оскаленного рта по-ребячьи жалостливый крик, и Караваяев стал заваливаться на подхватывающие его сзади руки.

Народ покачнулся в слабом'движении и замер, потому что с помоста уже говорил кто-то другой. Михаил не мог стоять спокойно, оглядывал застывшие лица, одни с сухой задумчивой скорбью, другие в слезах нескрытых, а сам был весь пронизан точно стальным и острым караваяевским криком-стоном. Взгляд его упал на лесогона Степана Кобелькова, он плакал не как все. Большая, вроде бы шире плеч,' голова трясла Степаново тшедушное тело, трясла до самых его калош, в которые были сунуты тощие ноги. Эти калоши и брезентовые штаны Степан зимой и летом носил в шахте и дома.

Что-то все говорили и говорили, сменяя друг друга, а Степан все плакал, и Михаила все не отпускала боль от караваяевского крика, от жалости к Степану Кобелькову, и он-скрипел зубами, чтобы не выпустить слезы. Он вдруг догадался, что саднящая ломучая горечь души была у него вроде как отдельная ото всех, вызванная не тем, над чем обмерли люди, и он даже застыдился и убоился этой своей горечи—так она кощунственна была в эти минуты.

Потом для Михаила пошли недели тягуче и тяжело. Тот, неосознанно просящий спасения от гибели крик торчал нагноистой занозой в сердце, и Михаил не мог умом постичь, почему не унимается

в нем эта острая боль? Ведь сколько видано им было и слышано в крутое время в своей Чумаковке, когда с пеной у рта билась, обмирала какая-нибудь первочасная вдова с зажатой в кулак бумажкой-извещением, когда мать, взняв лицо к потолку, выла, как от пытки, по старшему Степану, а младшие Анька с Петькой, какие-то шершаво-синие, животастые и тонкошеие, точно птенцы-голыши, заполняли паузы меж ее воем мягко и сипато, уже не прося, а только бесполезно извещая себя и других: «И-и-ись. И-и-с-с-сь охота-а». Те люди родные все, с одного круга горшки, в одной печи обжигались, и все же постонет душа, поскулит в общей боли, на всех разделенной, а глядишь,— и какая-никакая благодать сойдет днем внешним — тоже сплошная на всех. Но Караваев-то для Михаила из такого поднебесного мира! Почему же его стон ничем не выдувает из ушей, не наступает успокоение, и, невидимый, он все кричит и кричит, разрываемый болью? Караваев, сказывали, лежал в больнице, а Михаилу так невыносимо хотелось увидеть его таким, каким видел раньше: строгим и тяжело-властным, словно от этого зависела его, Михаила, Жизнь.

И увидел. Как не ожидал — неожиданно. Стоял у дверей бытового комбината, и его трясчох — так после подземелья раздражало, слезило глаза, точило в носу яркое позднеапрельское солнце, — когда вплотную тЗрмознул низкий с угловатыми крыльями джип и из него вылез Караваев.

Михаил шоркнул рукавом под носом и весь подался мокрыми расширенными глазами в неузнаваемо выжелтевшееся, бровасто насупленное лицо директора. Караваев ступил раз-другой так осторожно, точно под ногами был не асфальт, а ледоктрескунец. Михаил' уже видел дряблую щеку, стянутую морщинами заушину, когда голова Караваева сделала едва заметный поворот к нему. Строгий, но рассеянный взгляд скользнул по Михаилу и спрятался в глухое затенье бровей, да, видно, задела его больные, почти кричащие глаза парня, взгляд Караваева снова высветился уже цепко и живо. Губы его дрогнули в подобие улыбки.

— Свешнев? А-а-а,— протянул зачем-то, и бас его перебился, перекололся скрипучим тенорком. — Зайди-ка, брат.

«Живой, н уже не больно ему. Зачем зовет? — Сердце у Михаила колотилось, аж в уши хукало. — Ну, задрыгался! На расстрел, что ли», — унимал себя, поднимаясь за Караваевым на второй этаж.

Караваев сел за стол, закурил и долгим взглядом стал глядеть мимо Михаила. И тут Михаил разглядел, какой он старый и слабый: лицо все вдоль и поперек переборонено морщинами, в подглазьях темные мешки, и лоб желтый, покойнический, с запавшими висками.

«Хоть бы яд этот поменьше смолил, — нож алел его Михаил. — А то, глядь, и по тебе затраурят».

— Ну, говори, Свешнев. Ты же хотел что-то сказать. — Голос у Караваева был совсем не директорским — тихим и скрипучим, как у какого-нибудь деревенского старика.

— Да нет,— замаяло-я в растерянности Михаил,— ничего...

— Ничего так ничего,— тяжело согласился Караваев, завешивая лицо дымом. — Значит, ошибся я.

«Не ошибся», — чуть не сорвалось с языка, хоть и в самом деле говорить было вроде нечего.

— Андрей Павлович держится?

— Держится, да... — махнул Михаил рукой и опять заметил для себя, как мало жизненных соков осталось в теле Караваева, остатки которых он так усердно выжигает дымом папирос.

— Бросили бы вы, Петр Васильевич, этот яд тянуть, — вырвалось из души. — Толку-то от него, .. одна хрипота.

Караваев резко, как только он мог, вскинул голову, несколько секунд вид его выражал: «А что это за насекомое тут кашляет?» Но уголки его рта опять обмякли, во взгляде — пепельная усталость, и через эту усталость сочилась тоска.

— Мне, кроме врачей, никто совета не давал. Даже жена. Ты первый, смелый такой, пожалел, старика. Но поздно. Теперь уж поздно, Свешнев.

Он приопустил сивую кудлатую голову, и пряди его волос мелко-мелко подрагивали.

«А ведь, говорят, волосы не гниют, — стукнуло в голову Михаила, — Караваев исчезнет, а волосы сохранятся. Несуразность непроворотная в башке, ничего больше! — обозлился Он на себя. — Один скулеж собачий, а слов нет скулеж этот высказать».

— Поглядеть бы лет через двадцать, как вы жить, управляться будете. Да уж не увидишь, не услышишь... оттуда.

Старик пытался выправить, вытвердить голос, но он не налаживался, исходил на жалобу.

— Чего вы: не увидишь! — Михаил тер о штаны вспотевшие ладони. — Вам еще жить да жить! — вырвалось вековое крестьянское: хоть капелюшный, да глоток надежды, хоть соломенная, да подмога тонущему — \* известно, что умирающий никогда не верит, что он умрет, — кто стоял перед погибелью, тот знает.

— Жить да жить, гозоришь? А что, вот возьму и поживу, а? — Караваев будто в шутку просил у Михаила разрешения пожить и даже усмехнулся с какой-то просящей надеждой. (I

— А чего' не жить? — подхватил Михаил. — Только к сердцу так близко не надо... вон, как на митинге.

— А ты — не близко? Горе-то всенародное, г Михаил мелчал. Глядел, как перед большим окном еще голый, корявый ясень тихо покоил в своей редкой вершине высокий сиреневатый день — глядел и думал, как ответить Караваеву. Ни прав-

ду сказать, ни соврать. А какая она, правда? Как вот эти ветки, четкие и узловатые, или как сквозящее через них бездонное сиреневатое небо?

— Я не знаю,— сказал и вздохнул с подрагиванием в груди. — Горе всенародное, когда война или урожай сгорит — голод. И все равно все сразу не заплачут. Счастье-то, оно времени не выбирает,

— Так ведь всенародное горе, всенародное и счастье. — Караваев закурил снова, отмахнул дым, с костлявым звуком уронил руку на стол. — Всею свое время, Свешнев.

• — Нет,— покачал головой Михаил. — Общей может быть правда, а горе со счастьем времени не выбирают — они всегда в одной упряжке.

— По-твоему, я на митинге мог быть счастливым?

• — Не-ет! — поспешно и приглушенно выдавил Михаил. — Это ваше горе.

— Раздели-ил,— прохрипел Караваев. — А меня жалеешь. Вижу — жалеешь,— ..казал, утверждая. — Да чужой век не прожив» дь. Ой, сколько мы теряли, Свешнев! Как сказал добрый поэт: «Доколе ворону кружить, доколе матери тужить?..» Беречь бы нам друг друга. Вот так! — Караваев сжал кулак.— Жалеть, Да Тне научились.

— Этому не учат.

— Учат.

И помолчали. Может быть, и не в согласии помолчали, но как люди, имеющие общую большую-большую заботу.

— Зачем звали, Петр Васильевич?

— А-а, да затем и звал,— сказал старик неопределенно. — Иди, не держу.

Михаил — к двери, но Караваев остановил.

— Ты что ж, и руку мне пожать не хочешь?

Рука у Караваева была тяжелая, рабочая, но холодная — не прогретая кровью, и Михаилу захотелось поскорее отнять свою из его.

— Ну, давай... Вы будете счастливей нас.

И больше его Михаил не увидел никогда.

Караваев умер в пятьдесят третьем году, перед майским праздником. Михаил на похороны не пошел — был в шахте, но перед спуском заходил на второй этаж быткомбината, в клуб, попрощаться с ним. Ближе к гробу не пробился — столько вокруг него было начальства шахтового и городского. Михаил видел только желтый мысок лба и кончик носа. Обернувшись при жизни такой не-

— нной простотой и близостью, при смерти он стал далеким-далеким, что даже придвинуться, запомнить его лицо в последний раз и назек не было возможности — и не только потому, что плотной стеной разделяли их люди, но потому, что эти люди знали, сколько в каждом из них занимал места Караваев, и совсем никто не знал, было ли место для них в живом сердце Караваева и было ли оно и для этого светловолосого с монгольским *Zzir.LU* лица парня.

Перед Михаилом предстал стволовоy. Загребин с черной повязкой на рукаве. Лицо Загребина было горестно-озабоченным, с печатью большей его необходимости и в этой обстановке. Михаил, вытянув шею, стал смотреть через плечо Загребина, но уже лица покойного не видел, а только одну руку, вытянутую вдоль туловища. Пригнув голову, он стал выбираться из толпы и все прятал лицо от людей, а сердце ж'гло — оно не в крови, а в сухом жару купалось и просило слез, которых у Михаила не было...

Загребин легонько толкнул Михаила под бок.' Михаил медленно открыл глаза.

— Чего тебе?

Загребин зевнул, прикрывая рот рукавицей.

— Ты всего лет двадцать на шахте? А я, Михаил Семенович, сорок лет в родном коллективе. Сорок лет — это тебе не двадцать.

— Я шахтер, а ты от этого дела всегда держался подальше,— нехотя отозвался Михаил.

— Вот тут ты ошибаешься и заблуждаешься конкретно,— подхватил Загребин. — Вроде бы все и по-твоему, а на деле не так. Я всегда дух шахты держал, а это потяжелее рудстойки. В клубе чего сделать, на собрании выступить — кому-то надо. Его, слово-то, бывало, ищешь — мозги выворачиваются. Тут тебе не кайлом уголь ломить.

— Правда, что дух... — буркнул Михаил. — Ну, а зачем мне-то ты это говоришь? Чего добиваешься? \*

— Уважения!.. Уважения я хочу.

— Хочешь... А сам-то ты уважал когда людей? — без интереса спросил Михаил, думая о том, что Валентина теперь, вскинувшись после первого сна, наверное, с тревогой выглядывается из темной =ерз:-ль: з кипящую от ливня и листвы улицу. И •• - охватило в эту же минуту оказаться дома, но просто сказать — оказаться: на-гора еще подняться, да аккумулятор-спецовку сдать, да баня, да два километра поперек города шлепать...

Михаил с какой-то особенной чуткостью прислушался к своему дыханию, к жизни своего тела: «Уж не случилось ли со мной какой-нибудь к гнои, непонятной болезни? Теперь они, болезни, какие-то. все новые появляются. Может, притаилась она, болезнь, как тигрица». И вроде бы со стороны, чужими глазами поглядел на себя и как-то внезапно и четко увидел себя, почувствовал в неприятном, мерзком, нелепом состоянии и теперь спешно стремился вернуться к обычному себе, и тяжело ему было это сделать, как будто вынырнуть из-под неизвестной тебе толщи воды: рывок, а воздуха — жизни всё нет, и сердце вот-вот разорвет изнутри тело.

«Ишь ты, мне и совсем тепло'стало. Даже жарко что-то... И хорошо, что водой пылит в лицо...»

Он откинул голову на бетонную крепь, руки разметал.

— Слышь, ты! Ты чего это, а?

Загребин осторожно тряс Михаила за плечо. Михаил приоткрыл веки, а над ним глаза—испуганные и вопрошающие.

— Ну, что? Что с тобой, парень?

— Ничего, так. — Михаил выпрямился. — Так,

— Вижу — так. Э-эх!

Загребин, шурша плащом, заспешил к телефону.

— Дежурный! Диспетчер! — кричал он, и эхо разносилось под бетонным сводом крепости. — Да! Стволовой! Больного срочно поднять!.. Нет, не травмированный. Захворал. Свешнев, Свешнев! — Загребин бросил трубку, стал поднимать Михаила под мышку, как ребенка.

— Да ты что? — Михаил твердо поднялся сам. — Чего ты панику?..

— Ладно. — Загребин не отпустил его, вел к клетке. — Сам он! Сердце... Ну, вижу... Эх вы, молодежь! — быстро говорил мягким, совсем не загребинским голосом и заглядывал в лицо. — Лытков! — рявкнул неожиданно властно. — Открывай клетку!

Лытков заспешил, но не получалось у него с замком.

— Ты это, Миша?! — удивился он. — Застудил парня, а теперь орешь — открывай! — зашумел на Загребина.

— Ну, ты, потише, восемь сигналов дашь, понял? Сопроводжать буду. Без грохота чтоб, тихо!

— Да знаю, — отмахнулся Лытков и, задирая голову вслед тихо уходящей клетке, кричал Загребину: — Придерживай Мишку! — И исчезла в глубине его по-жучиному черная фигурка, а голос тонким эхом поддрожал и замер.

«Пушкина он видел живого...» — улыбнулся Михаил.

Он высвободился от опеки Загребина, и тот стоял напротив, привалившись к стенке клетки, осторожно следил за Михаилом, а Михаил чувствовал себя вполне здоровым, только сердцу что-то мешало слегка, будто кто осторожно прикоснулся пальцем и не отнимал.

— Ну, отошел? — поймав улыбку Михаила, обрадовался Загребин. — А то побелел, как молоко. Смены ночные твоему сердцу не положены, бросай Шахту, знаю, что говорю...

Непривычно медленно поднималась клетка: подъем больного — самая тихая скорость. Взрывников со взрывчаткой гонят поднимают — на шесть сигналов, а уж шахтеров — на четыре: с грохотом клетка мчится, будто не машина ее тянет вверх, а снизу какая-то сила выталкивает, как снаряд из пушки. Михаил за свою жизнь третий раз поднимался так медленно: на втором году работы ему сломало ногу, потом лет через пять породой чиркнуло по плечу, прорубило до костей

мышцы, и тогда в клетке он лежал на носилках и видел только сводчатое ее покрытие да дно. А теперь, направив луч аккумулятора на сверкающий от воды бетон ствола, с каким-то жадным любопытством всматривался в серый монолит, проточенный до змеистых руслин и раковин водой, ветром и временем, в следы опалубки, в проступавшие кое-где какие-то знаки, похожие на римские цифры, и вдруг четко — дата: «1928 год» и отпечаток крупной руки с запястьем. Михаила будто ожгло. «Стой!» — хотелось крикнуть. Казалось, не отпечаток, а сама живая рука уплывала в темь, шевелилась, пытаясь взмахнуть на прощание. Михаил было сдернул с каски светильник, чтоб просветить ловчей, но Загребин резко потянул за рукав.

— Срежет же, как бритвой! — показал на шею. — Чего там интересного?

Правда, чего? «Как же вот так-то всю жизнь?» — вычеканился вопрос, будто тот отпечаток на бетоне. Почему-то вопрос и след руки увязывались в одно целое. Что они за люди, шахтеры, кто он сам, Михаил? Неужто особенного устройства тела и души, коль не чувствую себя обделенными, раз их жизнь, если отбросить сон, большей частью проходит там, где никогда не ударит в глаза свет, пусть хоть пасмурного дня, свет, с которым в глазах родился человек и только со смертью его должен утратить? Кто первым додумался проторить дорогу в тартарары? Может, тому человеку жить наравне со воем на земле было тошно? В небо, должно быть, взлететь был не в силах и в чрево земли полез. Зло ли несусветное вгоняло его в землю, силушка ли добрая, смекалистая ли забота на века встала? А может, взял кто-то и пошутил нехорошо: создам, дескать, ад, вынесу оттуда черный горячий осколок солнца, а люди, глупышки, века во тьме тесной будут лазить, эти жаркие осколки вышашвать! Вон тот, что рукой бетон продавил: из-за молодого озорства ли это или из-за того, чтобы оставить хоть эдак память о себе? Где он теперь? Может, еще живет, здравствует и, утомившись, посидит на завитой хмелем веранде, задумавшись, ловит закатные лучи за грубым лицом, и слышится ему далекий-далекий подземный гул машин, хрусткий треск угля, вспоминается рискованный азарт молодости, когда душа и тело были налиты безумной отвагой: я тебя или ты меня! Накось, выкуси, давилня гремучая-сыпучая! Уголь мой! Взял я его, вырвал у тебя, а ты не сердись, что пустую тебя оставил, обрушивайся, ложись на мои следы, хорони их на сколько хочешь миллионов лет. Следы хорони, да не меня... А может, он лежит, тот, оставивший след руки на бетоне, на старом кладбище, на глубине двух метров?.. Ну что ж, кто бы ни выпечтал, а судьба одна: вся жизнь в земле, а смерть настагает — как же землю минует?..

Клетка плавно поднималась и время от времени

мелко подрагивала, будто не канат дрожал, а очень уставшая рука.

! Михаил вышел из клетки, навалившись на вагонетку спиной, запрокинув голову вверх, глядел в темный проем копра, куда уходили канаты, слушал, как гудит в толстых спицах колес ветер. «Ну вот, точно, тайфун. — Почувствовал опять, как слабость окатывает тело, разывает грудь. — Да, в непогоду... Верно, что сердчишко...»

Белый халат влетел в околоствольное помещение, заметался меж людей. Это медсестра Таня.

— Где больной? Кто?

Глаза припухшие, заплывшие. Видно, приняла сигнал сонная да сразу молодого сна не одолела. Сумка расстегнута, и халат без опояски, тоже расстегнут, воздушной струей его распахивает, ноги крепкие, белые оголяет по короткую рубашонку,

«Ну, курица», — качнул головой Михаил.

— Нету больных, иди досыпай, — сказал, и тут-то Таня остановилась, нацелилась тревожными глазами в его лицо.

— Нету, говоришь? А это Мы сейчас выясним... — Вцепилась в запястье — пульс щупать. — А! — как-то, по-птичьей гортанно воскликнула. — Ну, мужичье! Пошли-ка на лавку. Пойдем, пойдем, — тянула за руку настойчиво. Рукав задирать начала, шприц готовить.

— Да брось ты! Выдумала, — нерешительно сопротивлялся Михаил.

• — Я выдумую, я выдумую, — грозила Таня, натирая ватой руку. — Ишь!

— Ну, что с ним? — появился дежурный по шахте Соловков, худой, тонконогий, того и гляди, рассыплется: на жилистой шее граненый кадык, думалось, что вот-вот тонкую кожу прорежет. — «Скорую» надо?

— Нет, ему спать надо. — Таня застегнула сумку. — Ночные же... Переутомление. — И заст-рОжилась: — В больницу сходи. Обследуйся. Не сходишь — проверю!

Соловков пошарил взглядом по приствольному помещению, отыскивая Загребина.

— А ты чего два часа больного под стволем держал?

• — А кто его держал? Вот же он, пусть сам скажет, у него спроси.

• — Опоздал почему? <sup>1</sup>

(• — Так. Притомился что-то,

— Позвонить надо было. А то табельщица тарабанит: Свешнев не выехал. А мне что думать? Людей хотел посылать — мало ли что?

— Комбайн заваливает, отогнал пока.»

— В пятой лаве?

— Да, там. Кровлю пора «садить»..»

— Ну ладно, сверху, гозорят, виднее... — Поднялся и переключил неприятный для себя разговор: — Тебя, может, на азтсбусе домой?

— Да ну! — запротестовал Михаил, — Помоюсь и потопаю-.

Кранов-смесителей в бане прежде не было — какую воду пустит слесарь-банщик, той и полощись. Бывало, пустит кипяток или вовсе ледяную воду, и тогда пляшут голые грешники вокруг «дырчатой тучки», крикают морковно-красные или посиневшие, как куриные пупки. По трубам лупят железками<sup>1</sup>, припасенными на такой случай, рук в сорок — ад, содом! А слесарек в бойлерной за десятью стенами слышит, да не торопится. Крутанет вентиль, *дуцц* щедрая, а звон не унимается, тогда он вентиль в другую сторону: баньтесь! И поковыляет, благодушный, поглядеть на подопечных. Тут его — цап! И давай в одежде той водой, которую са\*м на свою разнесчастную голову пустил. Не часто такое бывало, а все же бывало.

Михаил тоже сегодня мылся перегретой водой. Видно, спит слесарь, да чего спрашивать в такой час, когда все живое — на земле безответно и беспомощно. Михаил старался не подставлять левую сторону груди под струю и все равно почувствовал неприятные толчки сердца, будто от горячего оно разбухало, а ребра не давали простору. Одевшись, он вышел в общешахтовую — нарядную, похожую на кинозал, и уже направился было к выходу, как кто-то его окликнул. Вскинул взгляд и в затенье угла увидел Загребина.

| — Погоди. Погоди, Михаил Семенович...

— Ну чего?

Тот подался вперед, глядел просяще.

— Тоскливо, спасу нет, как тоскливо, Миша, — промолвил и обмяк.

«Что я, его развлекать должен? Не ночь, а кошмар какой-то: застрял в ней, как муха в липучей вате».

— Чего домой-то не идешь? — спросил раздраженно.

— Домо-ой!., Ой-ей-ей, Миша, дома-то... Сын из тюрьмы пришел. Вот, говорит, отец, я — принимай! Куда денешься, примешь — сын же. А не примешь, так... он у меня такой. А теперь — день спит, ночь болтается. Работать — ни в какую.

Загребин приумолк, ладошками потер глаза,

— А нынче денег вымогал, — продолжал плаксиво. — Нож к горлу подставлял. Вырвался — да на шахту. Куда мне еще? —

— В милицию обратись, — посоветовал без особой охоты Михаил. — Прижмут.

— Да уж писал, посадили чтоб снова. Преступление, говорят, не совершил — не можем посадить. Ну вот, совершит, придушит, сади его тогда...

— Ты бы где лег на диван. Чего на деревяшке? — сказал, чтоб не обидеть человека невниманием.

— Да ты сядь, посиди со мной... — вцепился в него Загребин.

«Нет, он меня сегодня прикончит! — вовсе изнемог Михаил/— Нашел духовника!..»—И поспешно вышел на волю. Ветер хватанул, туго толкал то в спину, то в грудь — крутил в тесноте пришахтового двора.

Шахтовый парк гудом гудел. Вершина пирамидального тополя прохлестнула забор, как топором, метрах в двух от легкого дощатого буфета. Угоди по этому балагану, набитому посудой, было бы звону! Вершину уже спилили — мешала, должно, проезду. Асфальт был засорен мелкими ветками, а листву несло в свете фонарей, но до земли ее не допускало, разносило неизвестно куда.

Михаил миновал парк, к гудению и свистящему шуму которого примешивалось «ви-и-и-и-кр-р-ры... в-и-и-кры-ры...». Два автобуса въезжали на шахту, везли ремонтную смену, и двигателей не было слышно, будто машины катило ветром. Свет от фонарей заполошно метался, добавляя беспорядок в свистопляску ветра.

Было четверть четвертого. Михаил поднялся на асфальтированную насыпь, разделявшую на две части Богатый поселок, где слева у озера Мочалы угадывался во тьме домишко Азоркина. «Ми-ш-ша, Ми-ш-ша», — шумело сверху и снизу.

— Миша!..

В хилот отсвете далекого фонаря по насыпи взметнулась легкая, быстрая тень женщины, в которой он узнал Раису Азоркину.

— Испугался?.. — Раиса подхватила под руку, искусственно смеясь и дурачась, обдав незнакомым дразнящим запахом волос.

— Испугаешься... — Михаил и сам деланно посмеялся, отстраняясь от Раисы и с опаской ожидая от нее расспросов о муже. — Как сама-то не побоялась? А вдруг чужой?

— Не чужой. Я тебя и ночью из тыщи узнаю. С лавочки во-он где тебя увидела. Ты же что медведь ходишь. Миша-медведь. Что так поздно сегодня?

— Да так получилось. И твой скоро... — начал было и не смог выдать из себя неправды.

— Ладно, не мучайся за всяких... — поняла его состояние Раиса. — Я, может, и не его, я тебя жду...

•— Вот красота-то! — отшутился Михаил. — Везде ждуть: и "тут, и дома! Беги домой, того гляди, ливень врежет.

— Может, тебя проводить? Ты какой-то сегодня...

— Вот выдумала! Иди. А то будем провожаться: ты меня, а потом я тебя — до рассвета.

— Хорошо бы... — едва слышно промолвила Раиса.

— Иди!.. — почти приказал и, пересиливая ветер, зашагал. «Бес их разберет, семейку эту», — встревожился все же.

Окна домов темнели, но спали или нет люди? Должно быть, детям и молодежи такая буря не помеха, а подмога во сне, но пожилые люди и старики если спят, то непрочно, тяжело, а многие и вовсе не спят. Наверное, такая погода отнимала силы и у него, Михаила.

Ветер ломился не вдоль долины, а через сопки, с моря. Где-то громыхал оторванный лист крыши, по-кошачьи, вразноголосицу орала провода; метрах в десяти впереди Михаила грохнулся об асфальт шиферный лист и рассыпался, оставив после себя два небольших куска. Вдоль улицы и из переулков несло листву, ветки, песок, замутняя редкие непотухшие фонари. Где-то в подъезде сухо, с треском бухала дверь, мелодично рассыпалось стекло. Вблизи и в дальне-; перспективе города то зажигались, то тухли огни в окнах. Острый вой сирены пронзил неразбериху шумов за ближними домами, и тут перед Михаилом пронеслись две машины: милицейская и «Скорая помощь».

В распадке было относительно тише: здесь ветер кружил будто пойманный. о склоны сопки, гудел, слабея, в садах и постройках. Идти было хоть и на подъем, но пегие. Лом Михаила метрах в трехстах от устья тзсгадка, и он шел медленно, экономя силы, ибо в ногах была слабость и дрожь, а тело липко холодело потом. Пригнувшись, одолел взлобок дорога неред калиткой, сделал последний десяток гд - z: вес **седы** и плюнулся на ступень крыльца Т.: -: вспыхнул на веранде свет, выказал кусты сгрчния, огромную тень, метнувшуюся по ним, сжршшула дверь. Жена — босая, в ночной рубаше — сбежала к нему, под руку подхватила, пргтзе задевая лицо распущенными волосами.

•— Миша, ну что?\_ Госиода, ну «южно разве?..

Влекла по ступеням, склябаа горячая, обдавая родным запахом, треаскло алстадывая в лицо.

«Да что они сегодня вое?» Он освободился от Валентины. Та обижежнз гуояусгала его на веранду. ' Михаил, чтоб ве **шиямшь** слабости, сел не спеша за стол.

— Чего всполсеглась-то? Опала бы...

— А время-то, **тягишиши**, **четыре**. И идешь ша-таешься. Не вяжу, ~о хж\_

Михаил опт-спел лгио к столешнице:

— Задержались малость в лаве...

Валентина хетн.-лась за тарелкой, но Михаил попросил молока, жалко напился.

— Задетлал~сь... — Она сидела, подавшись к нему через стол, сжалась как-то вся и не верила его словам. — А мне что думать? Олега подняла, к сосет.=м г.гили звонить, а там провода порвало бурей. Что неправду-то говоришь? — Ресницы Валентины набухли влагой. Капли скатились на круглые щеки, задержались малость и, наполняясь, есгнг.тись. •—Тяжело тебе, одиноко? —спросила неожиданно.

— Спать надо,— глухо сказал Михаил, жалея жену. Поднялся, ладонями тронул ее щеки — тихо, чтоб не оцарапать застекленевшими шипами мозолей, Валентина прижалась.

— • Порежешься. — А в руки будто текла сила, плечи наливались и сам весь. «Не одинок,— хотел сказать. — Хорошо». Но не сказал, солгать не посмел: в 'чем-то есть одиночество. «В чем же, в чем?» И не мог додуматься, в себе заметить ее не мог — жена разгадала.

«Гу-гу-го-ву-у, шо-овх-х, ха-ха-а», — на разные голоса изощрялся ветер на чердаке, терся о стены, продираясь через корявые ветки сада. Кусты синири металась из стороны в сторону, резко выпрямлялись и опять стлались к земле, вроде как убежали, увертывались от преследователя, старались скрыться во тьму, но так и топтались на грани света и тьмы. Где-то корабли тонут, где-то ливни хлещут, выгоняя реки из берегов, снося во тьме теплые жилища... Вот-вот, в природе кавардак, а от этого вдвойне покоя нет. Слезы-то беспричинные бывають ли? Михаил уткнул лицо в волосы Валентины, пушистые, теплые. Та руки убрала, поднялась, к его груди прижалась на минутку.

— Сколько живем вместе и все годы не расставались, а мне кажется, что я тебя все жду и жду. Вот где-то 'близко — подойдешь, подъедешь. Как я жду тебя, Мишенька!

— Ну, выдумываешь! — Возразил ласково, но верил ей, сам такое чувствовал. — Ночь без сна — чего в голову не придет.

— Чего там ночь? Все равно ведь тебе: что я, что Азоркин с Колыбаевым... Душу ты широко распахнул... Всех не обогреешь, сам замерзнешь...

Капли хлестнули по стеклу, будто кто крупный песок швырнул, а потом стал кидать чаще и звончей.

— Пошли, пошли спать,— спохватилась Валентина.

Михаил уснул мгновенно, потому что тело и мозг уже больше не могли без сна, и остался за пределами его жизни весь мир на какие-нибудь три часа. Он не знал и не слышал, как с небес, подсекаемая ветром, пластами падала вода, как на дне распадка завозился, упруго утолщаясь. [ - чей, а потом еще подпых, надулся и, подминая под себя кустарник, взьерошившись вырванными корнями ильмов и черемух, кинулся в долину, на город; как в саду разорвало вдоль ствола яблоню, посаженную дедом Андреем еще -задолго до появления Михаила на свет, как за огородами, в лесу, Ель с Изгибом По-лебяжьи лишилась вершины, выставив в небо острые отщепы...

Михаил проснулся от тишины и солнца.

— Мама, где резиновые сапоги?— услышал ловавшийся на басок голос старшего сына Олега, потом глухое потаптывание на чердаке.

«Сапоги в сарае, а он — на чердак...»

Легко подскочил с постели. Тела будто не было — так легко. «Что же вчера гнуло-давило?» — удивился, будто не с ним случилась внезапная морока.

Он заглянул в детскую. Младший, Сережка, спал, подложив ручонки под щеку, так что пухлый ротик чуть сместился в сторону, головку запрокинул, точно петушок перед песней, в личико сына туго бил свет, и оно, смуглое от загара, похоже было на чернослив, подернутый белесым пушком; длинные ресницы мальчика трепетали, подрагивали: видно, яркий свет разрушал его сон.

Михаил задвинул на окне штору и, склонившись, стал поправлять одеяло. Сережка выпростала руки из-под щеки, по лицу его пробежала тень, должно быть, выспавшийся мозг готовился проснуться, бровки стали подниматься и опускаться, как крылышки у бабочки: подвигались-подвигались и замерли. «Ишь ты!» — почему-то обрадовался Михаил. Хотелось, чтоб Сережка проснулся, чтобы он смог пощекотать сына легонько, подергать за ухо, вызывая на игру. Со стороны поглядеть — Михаил сам был похож в эту минуту на десятилетнего ровесника Сережки: лицо расплылось в проказливой улыбке, вот сейчас щипнет Сережку и спрячется под койку, выждет минуту и закукует или Замяукает там. Да если бы тако-го не бывало! Схватит Сережу или Олега, когда тот был поменьше, и давай целовать-зацеловывать. Прижмет к себе, нечаянно больно сделает: руки-то дубовые! «Ну, папа», — обидятся, укорят. А Олега и теперь часто задирает: «Давай бороться!» — '«Да не хочу,— отнекивается тот солидно. — Что пристаешь как маленький?» Пятнадцать парню, самолюбия хоть отбавляй, не терпит, когда отец поддается, а сладить — жидок еще, что хворостинка ивовая. Ну, сгребутся! Сережка — в ту же кучу. Игра, говорят, не доводит до добра: или нос отцу раскорябают, или вгорячах кому бока намнут — до рева-крика! «Чего ногтями-то?..» — искренне обидится Михаил. «А ты не лезь! Сам лезет, а потом...» — отстаивают сыновья свою правоту, а глазенки виноватые, сочувствующие. С двух сторон обнимут: «Папочка наш миленький!» — «Ах вы подхалимы!» — вскинет-ся притворно, а дети с хохотом на него. А если кто из сыновей слезу пустит, тут уж Михаил зачдается, распустит заискивающую, неловкую улыбку. «Ну, нечаянно же», — оправдывается виноватым голосом. «Ага, а если тебе так?» — по-ли :леньку-потихоньку дойдут до примирения. Чаше, конечно, подобру заканчивается, неизменной «победой» сыновей: «Ты не поддавайся, хитрый!» На- полу распластает отца. То-то радости!

Дела разные тоже вместе соображают: что да как. Дом обшивали дощечками от ящиков из-под шахтной взрывчатки, так два дня обсуждали, каким узором делать: рисовал каждый свой узор,

вроде конкурса, устроили. Валентина и та ввязалась, разглядывала-разглядывала картинки, махнула рукой:

— Делал бы, сам-то. Чего играть!

Посудили-порядили, пришли к согласию: обшивать по Сережиному рисунку. Сложно, правда: в центре каждой стены по солнышку нужно вывести, а от солнышек — лучи, поле в елочку. Две недели, как дятлы, обстукивали стены. И дивно<sup>1</sup> получилось! Солнышки и лучи выкрасили в красный цвет, а поле в синий. С сопки ли глянешь на дом Свешневых, с улицы ли — все синее через сад клоч неба, а на нем незакатное солнце.

Михаил к детям относился, как к равным себе: то сам уподобится их возрасту, то до себя, зрелого, поднять норовит. И получалось у него такое без натуги, просто: как сам жил. Так и воспитывал, будто бы и не занимаясь воспитанием. Дети входили в его душу, как в родной дом, где им все известно и нет никаких загадок: известно, где что лежит необходимое для жизни, что можно трогать, что нельзя, где угол теплей, где холодней, где светлей, где скрытый в/полумгле. Жена ревновала его к детям:

— Для них ты день ясный, а для меня вечно в сумерках: вижу и не вижу тебя.

— Почему не видишь-то? — спрашивал. — Что мне таиться от тебя?

— Наверное, есть причина, — сомневалась она. — Ты у меня чуткий, сердцем больше живешь, чем умом, — продолжала Валентина раздумчиво. — А где сердце, там и боль. Ее, эту боль, высказать надо, а из тебя слово клещами вытянуть не могу. Кому-нибудь высказал бы, остудил сердце... А мне нет.

Подобные разговоры сопровождали жизнь Свешневых регулярно, как времена года. И кто от этого больше мучился, было неизвестно, только Михаил с годами все чаще стал подумывать: «Да что это в самом деле! Бьет и бьет в одну точку. Уж не мучится ли она сама тем, что мне приписывает?..»

Сергей спал сном неглубоким, когда сон уже дал сердцу полный отдых, очистил, обновил кровь и теперь еще держался в организме, путал, размывал тело и мозг негой и ленью. «Нет, парень, подыматься надо. Лишний сон жизнь укорачивает».

Михаил постоял еще немного и отдернул шторму. Солнце хлынуло в окно через обтрепанную, прореженную бурей мокрую листву, где каждый лист, будто зеленое зеркальце, выпускал из себя лучик. Сергей засопел и стал тереть кулаками глаза.

— Вставай, сын, дела ждут. СЛЕЗ теперь натрясло, чтоб все собрал, а то солнце попечет, пропадут.

Сергей легко спрыгнул с кровати в сандал;;; и. сонно щурясь и пошатываясь, за:лед::: б.

двор. Михаил увидел, как острыми плашками двигались его лопатки, позвонки выпирали цепочкой. Можно подумать, что заморили мальчишку голодом и работой, — до того избегался по загородным сопкам, изросся.

На веранде, недовольно сопя, завтракал Олег. Ноги босые, мосластые — не нашел сапоги, сидел босой.

— Куда посылают-то? — переспливая жаркий шум-трескотню, спрашивала из кухни-отгородки Валентина.

— В совхоз, — басил Олег. — На картошку.

— Очумели! — Валентина высунула из кухни раскрасневшееся у печи лицо. — Там теперь в грязище утонешь, после ливня-то. Посылают их! Ни работы, ни учебы...

— А я при чем?

Олег поднял от тарелки лицо. По верхней губе — будто угольной пылью присыпано — усики пробиваются. И голос удивил Михаила. Олег все пищал по-девичьи, а тут прервался, вздохнул басок, совсем хрупкий, неустоявшийся, и Олегу еще нужны усилия, чтоб держать говор на низкой ноте. Ему сейчас во всем нужно тужиться: и чтоб не выдать «петуха», и на бег не сорваться, когда так и подмывает вприпрыжку под горку скатиться в город, и не зачистить словами, не рассмеяться невзначай по-детски. Мужик ведь, как же! Кости выпирают, мышцы всродсь тянутся, тесно им в тонкой до прозрачности коже, и тесно, по сути дела, пацану-мальчонке, который живет в Олге-юноше и будет жить еще долго-долго, может быть, до конца жизни, но именно теперь этому пацану-мальчонке, как никогда, трудно ужиться в Олге-юноше, ибо .• .: ;, ломает, вытраивает его из себя Олег — в спешке, стремясь к заманчивым тайнам взрослой жизни, а он, мальчонка, не отвязывается никак, все поглядывает да послушивает: то в робость згеняет, то в стыдливость; ему еще и пряника сладкого хочется, и маминой ласки... Нет, нет, скорей отбизаться от детства, чтобы воля в плечах и в помыслах, чтобы не тебя за руку вели, а ты сам вел. Так вот зовуща она, взрослая жизнь, когда неведома ее тяжкая сторона ответственности, забот и страданий. Позже, когда увидится закат, тогда зайдется усталое сердце в неизъяснимой грусти о невозвратности утренней зорьки своей.

Все знает Михаил о сыне, да почти ничего не знает сын об отце. Поэтому и любовь их друг к другу разными дорожками шагает, и лишь через много лет, когда покажет жизнь просторы и-красоты до болючего восторга в душе, когда сын своих детей займет да вырастит, — вот тогда-то и сойдутся воедино эти дорожки любви, потому что сердце сына наполнится знанием и мудростью.

— Возьми сапоги в сарае, там же портянки на гвозде.



— Ладно,— кивнул Олег. Еще что-то буркнул невнятное, пригнувшись под притолокой, вышел с веранды и, сутулясь, неуклюже выворачивая пятки, направился в сарай.\*

«За слова вроде деньги платит,— подумал Михаил.— Отлетит угрюмость, подожди, переломись к слову — время и жизнь поставит на место, тебе отведенное: наговоришься и намолчишься в меру, а пока поиграй во взрослого — играть тебе еще положено».

Сам присел у стола и нарочно в окно не глядел, чувствуя всею телом, что там, за окном, в природе что-то произошло обратное тому, что было ночью. А ночь... Михаилу и вспоминать про нее не хотелось. Все было, как в дурном сие: тяжелый разговор с Азоркин, и какая-то внезапная хворь, вдруг навалившаяся мягко, но удушливо, и Загребин со своими разговорами, и начальный разбойничий разгул тайфуна, напавшего на беспомощный в своем глубоком сне город,— все. будто неправдашнее.

— Чего ты поднялся? Спал-то всего ничего.

Валентина показала из кухни в коротком, подевчоночьи плотно приталенном платье без рукавов, с вырезом по спине и груди и потому вся какая-то напоказ, все виделось в ней округло, укрупненно. «Красивая же ты, ведьма!»— подумал Михаил. И странный, до испуга восторг охватил его, но он тут же стал давить в себе это чувство: поумному, таким достоинством жены гордиться не стоило бы — от этого чаще плачут, чем смеются.

Валентина села рядом, обмахивая полотенцем вишнево, зарумянившееся лицо, тронула горячей рукой лоб Михаила, скользнула по щеке, плечу, словно убеждаясь в том, он ли, Михаил, рядом с нею.

— Ну... Как ты? — Глазами озабоченными, тревожными выискивала в его лице то, что может скрыться за словами.

— Да как... Нормально все. Что ты... напуганная какая-то?

— Вот, он же и спрашивает! Пришел еле живой, стонал во сне... Напуганная!

Михаил улыбнулся припухшими со сна глазами, показал большим пальцем через плечо:

— Хорошо. Погода-то, а!

— Погода. В саду погляди: там накорежило. У Колыбаевых шифер с полкрыши снесло. Забор наклонило.

— Хорошо! — плохо слыша жену, опять сказал невпопад.

— Забор сломало, сад искалечило, а ему хорошо. Ты чего это? Яблоню старую, слава богу, разорвало. Теперь-то уж срубишь ее.

— Яблоню?! Разорвало, говоришь? — Михаил стоял посреди веранды с полотенцем в руках. — Ну вот, — сказал тихо, — еще одна смерть...

— Какая смерть? Ты чего, совсем уж?.. — Валентина прЕстазкла к виску палец.

— Давай завтракать.— И пошел на кухню умываться.

— Азоркин прибежал,— ставя на стол, сообщила Валентина. — Рвался будить тебя. Только, говорит, пару слов сказать. Придет, гляди, опять.

— Чего ему? — хмуро спросил Михаил и почувствовал, как родниковая чистота в душе стала примутнаться, вроде хворостинкой поболтал, кто, ил поднял. — Не сказал зачем?

— Не сказал, да... — Валентина потупилась. — Дома, поди, опять не ночевал. Ну, — чтоб ты Райке сказал: в шахте, мол, две смены были,

— Откуда знаешь, если не говорил?

— Так Петя он Петя и есть, — сказала Валентина ласково, смешком напружинив пухлые, брусничного цвета губы, и Михаил понял: говорил.

— Значит, одобряешь?!

Михаилу расхотелось есть, но двигал ложкой механически, жевал, не чувствуя вкуса еды: «Азоркин, конечно, поведал о своей ночке». Представил Азоркина и рядом Валентину вот в этом платье, когда он, Михаил, спал, а она выслушивала скабрзности Азоркина с таким же ласковым смешком, сама одетая так умело, что будто и не прикрывает ее платье, а оголяет. «Петя, Петя», — не сказала, а пропела имя.

— Чего мне одобрять, не одобрять? Дело ихнее...

— Чье дело? Райка подруга тебе, а ты.—

— А я что, Азоркина у ней отбиваю? — Глаза у Валентины сузились и будто зеленым налетом взялись.

—•• Если бы отбивала,— не замечая возмущения жены, спокойно сказал Михаил,— если б отбила какая да удержала возле себя, многие бы грешные души эта женщина успокоила.

— И мою душу тоже? Ну договаривай! — спросила Валентина вызывающе.

— И твою,— будто выковал ответ Михаил.

Валентина вскинула голову, зелеными глазами, впиалась в глаза Михаила, и он уловил, как дрогнуло в них что-то, словно от острой боли, и стала истаивать, исчезать зелень, а мушка-крапинка ушла вглубь. Ослабел ее гневный взгляд, смялся. Валентина отвернулась, гнева своего не выдержала до конца.

— Одевалась бы... хоть немного прикрывала свое добро. У тебя же сын взрослый.

— Да? — снова подняла голос Валентина.— Во всем ты, Миша, святой: учишь, а против тебя ветер не дует.

— Дует. Только каждый свой ветер замечает.

Михаил вдруг понял всю бесполезность разговора и вышел, на крыльцо высокое — в два схода, в сад и к калитке, встал и притих вдруг. Небо так четко и туго натянулось через долину, от сопки до сопки, будто ночной тайфун его надувал, старался прорвать, да не прорвал. Город плавал в испарениях, из белесого туманца зелеными иглами

торчали пирамидальные тополя и прямо на глазах увеличивались, вырастали. И дома тоже и терриконы: так быстро съедало солнце туманец. И тихо—до звона в ушах.. Звон и впрямь слышался — слабый, протяжный и свистящий. Это с аэродрома, что левее деревни Бобровки. И мягко клочкотал большой водой ручей, устремлялся вниз, к городу, где, огибая здание горного техникума, впадал в речушку Упорную. По другую сторону улицы, ниже за ручьем, на искалеченной тайфуном крыше сидел Ефим Колябаев, прибывал шифер. Мягкие клейкие шлепки молотка доносились в момент, когда молоток замирал на долю секунды над плечом Ефима. «Кит-кит-кит»,— казалось, Ефим выдергивал шелчки из-за плеча, из тугого воздуха. Солнце, солнце, сколько же тебя сейчас! Где же ты было, когда ночью так зло и шало ворвался в город тайфун? Ну вот, слава богу, день пришел, и природа, ровно буйный человек, отрезвела, совестясь, притихла, старается показать самую лучшую свою суть.

Вроде не особо круто поднимается улица, но дом Свешневых высоко, 'по-птичьи взлетал над городом, над долиной. Михаила внезапно объяла безотчетная радость: сколько увидеть можно сразу, душой отдохнуть! Как повезло ему со второй родиной, какая она просторная, оглядистая! Все тут перед глазами крупное и спокойное, и потому чувства большие в сердце роятся и зовут к жизни несуетной и крупной. Дед Андрей в двадцать третьем году, когда отпартизанил, мог бы приткнуться в устье распадка, рядом со своим бывшим командиром Яковлевым. Но рвался он вверх через заросли лесные; поперек склона дорогу ладил, земли перевернул сотню кубов, чтобы мило получилось да навсегда. Знал, подберутся с годами застройщики к нему, но никто не мог дом срубить выше: больно крут склон.

Городок вдоль долины пролег с запада на восток километров на десяток. Угольные пласты начинались с поверхности, с южного края долины, и уходили полого вглубь — так и город расположился. До революции тут поселок был, в лесах весь стоял. Капиталист Сацельский копиями владел, уголь ковырял почти с поверхности. Поверхностные воды заливали его шахтенки, размывали породу, и отплавала та порода в стволы. Савельский, видно, с досады и назвал поселок — Плывунный. Теперь-то за углем далеко и глубоко залезли, шахта «Глубокая» уже под самой деревней Бобровкой уголь берет, под прародиной Валентины.

Прадед жены Павел Туров со своим воронежским сельчанином и дружком Василием Караваевым в конце прошлого столетия почти полгода култыхались по жарким морям до Дальнего Востока. Деду Андрею двенадцать лет было в ту пору, а помнил ясно, как отец его заболел тоской по родной степи, как полз он по палубе за

офицером, умолял,- чтобы повернули корабль домой, не повернули, конечно. Начальство не велело селиться в степи, которую сулили, когда подбивали на переселение, указали на долину в пяти верстах от Плывунного, в зарослях диковинного леса, сплошь перевитого, заплетенного, как канатами, лимонником да виноградной лозой.

Рассказывал дед Андрей Михаилу, что отец его-отказался корчевать лес под пашню и занялся охотничьим промыслом. Полюбил или нет новую землю — неизвестно, но воевать за нее пошел в отряд Яковлева в двадцатом году, вместе с сыном Андреем определился. Получил три раны и от них же умер в Бобровке. Три месяца страдал с развороченным осколками боком, простреленной рукой и плечом — и ни слова, ни стопа. И телом неподвижен был, ни разу не вздрогнул, не шевельнулся от боли, только глаза вычистились, высветлились, будто скопив в себе все остатки жизни, что-то выскивали, выскивали на плахах потолка. А когда и они стали гаснуть, тогда и по телу его прошла дрожь, словно стяхнул он с себя бремя бытия, и спаянные жаром губы раскрылись: «Степя, степя... Воля!» — услышал дед Андрей последнее от отца.

Дед Андрей принял завет: коль земля, так чтобы бескрайняя, чтоб не тыкаться носом в коряги, не отковыривать ее у леса по сажени; а к охотничьему промыслу душа не потянулась, двинулся он на шахты Плывунного, где гулял в комсомольских вожаках односум по партизанскому отряду Петр Караваев, бобровский земляк и ровесник деда Андрея. Он, Петр Караваев, собственно, и обещал деду работу крутую, почетную и навсегда, коль уж отбил от земли настоящей.

Навсегда строил дед Андрей дом под самым гребнем сопки, должно быть, степная кровь просила после тесной шахты простора глазам и душе. «Спасибо, дед, тебе»,— думал теперь, стоя на крыльце, Михаил.

От дома и навеса-козырька над крыльцом, что поддерживался двумя точеными стойками, тянулась четкая тень, к тому же ветерок проснулся, потянул то ли из сырого сада, то ли со дна распадка, от шалой воды. Михаил зябко вздрогнул, очнулся от далеких мыслей и пошел за дом, в сад. Солнце ударило в глаза, он прищурился, огляделся и ахнул про себя: сад был избит, вытрепан, землю завалило еще не отжившей листвою, мелкими сухими сучьями, ветви были почти голые, будто кто-то огромной рукой пропускал их меж пальцев, обдирав листву. Сквозная, прозрачная пустота! Сад, казалось, избавился от всего старого, отжившего, и Михаилу подумалось: как вовремя пришло очищение сада, ибо в последние годы как ни подстригал, ни подпирывал, но из-за какого-то внутреннего своего состояния оставлял то, что не нужно бы было оставлять. Он стал замечать за собой, что все больше ему нравилось.

как, перерастая забор, чертоломом перли вверх и вширь кусты смородины, как сад все гуще смыкался кронами, образуя сплошной шатер тишины и задумчивости, и со всем этим душа Михаила жила в покорном, замирающем согласии. А тут, после бури, ударило в глаза синью воздуха через четкую вязь веток, и увиделось сразу, как много еще в саду лишнего, и он удивился сам себе: «Это что же я, елки-палки, задремучился-то? Бури, видно, тоже в пользу — не только пригложшие сады очищают». И гут же внутренне содрогнулся, опал душой, увидев разорванную яблоню. «Я тебя загубил, а не тайфун! Деда Андрея не послушался, глупый, не спилил вовремя пологое отстволье», — жалел дерево, хоть и осознавал, что яблоня свое отжила. В разрыве виделась коричневая трухлявость внутренности основного ствола, а два других отстоля держались на коре да на тонком слое заболони.

Михаил решил гут же спилить яблоню и выкорчевать корни. Ствол в комле был рубчат, железист — это он почувствовал, как ударил топором и яблоня не впустила жало-топора, отбросила топор. Пилить одному было тоже несподручно, и он позвал Сережку, а у того тянуть пилу силенок не было — только направлял ее ход.

— Отойди подальше, — сказал сыну, — зашибет.

Сережка поднял покрасневшее, потное лицо к кроне, пожалел.

— Не с той стороны запилили, поломают вишни.

— Подопрем, не пустим!

Сережка ткнул лицо в изгиб локтя, промокнул пот рукавом, нахмурил бугорки надбровий, озабоченно поглядывал то на вишневые деревца, то на яблоню.

«В деда Егора... Ну, вылитый.. — внезапно открыл для себя Михаил. — Если по крутой посадке головы сравнивать, по монгольскому разрезу глаз с припухлыми подушечками век. Опять же — к на деда Андрея. Повзрослеет когда, нос к-у. у с:::, зашишкатится».

Михаил, задумавшись, стоял с : .. ' • я грках, от корня по стволу медленно псгь:::т г:::, и какая-то тяжесть поджимала грудь. «Ну, вот я кончилось», — думал, а что кончилось, объяснить себе не мог. Жизнь ли дерева кончилась — с :т-теля жизни ушедших на вечный покой, свидетеля и его, Михаила, молодости, а может, в самом что отошло навсегда, оборвалось зовущее, порывистое и гордое, когда душа вдруг будто ни с чего заволнуется, зарвется: я все могу, я взлечу да не сяду! Отлетал. Ноги все плотней к земле притягивает, сердце опросталось от восторгов, не\*пьянит его шалой кровью беспричинно, нежкссть з кем строга да думы заботливые.

Михаилу иной раз чудилось, что он живет две жизни, что родился сразу в двух местах: там, в черноземной степи, где обойди все до окоема, а ка-

мешка, даже с воробьиное яичко, не найдешь, и тут, где взялись сопки из дробленого камня — некуда лопатой^/ткнуть, все звенит... Для него эти две земли, расположенные за шесть тысяч километров одна от другой, будто сдвигались, сливались воедино.

Теща-покойница говорила про погибшую теперь яблоню, что будто бы дед Андрей выбирал саженец особый, трехствольный, чтоб тенистая была; площадку на склоне выровнял для посадки и какой-то травы насеял — сколько ни растет эта трава, а все маленькая, но густая до того, что пальцами до земли не процарапать. Под этой яблоней дед с отцом Валентины спали после ночных смен.

Да, разудивительно! Может быть, в тот же год родной дед Михаила, дед^Егор, на его настоящей родине посадил в дальнем 'углу огорода березу. А уж к памяти "Михаила береза в большой силе была, и под ней тоже спали дед Егор с отцом Михаила. Они ночами пасли скот, а днями копали силосные ямы.

После завтрака мать выносила под березу туп и подушки, и Миша падал на них, кувыркался, с нетерпением ждал медлительных взрослых, а те еще долго сидели на крыльчке, босые, в нательных рубашках, взопревшие от чая, тихие и полусонные, дразнили в себе разламывающую тепло усталость перед сном и разговоры вели словами тяжелыми и вялыми, как сами. Но и спорили в ту пору они часто. Помнится, они dospopились до ругани, дед Егор ушел под березу, пособачьи озираясь, точно боясь нападения сзади.

— Ухи распустили, ку-у-да"те! А я не верю германцу, режь — кровь не потечет, не верю! У него вон ось тройная. Хряснет ей, осью-то, из-за затенья...

Дед опускался на туп сперва на колени, выгнув костлявую спину, упирал в землю тяжелые на обструганные древесные корнтзкнеа-е^-оякп, н, вывернув дощато-желтые от ::л н о г и , стоял несколько минут, уткнув взгляд з ствол березы, будто язычник при молитве. Казалось, он боялся успокоить утомленное ра- : тело — вот ляжет, и что-то случится с ним, не поднимется оно, тело, не подчинится воле разума.

— Храпанем, сынок. — Отец подгробал рукой к себе Мишу. — Солнышко... Вишь, какое оно... Вишь... — И тотчас засыпал. Рука его вздрагивала, слабела, освобождая Мишу, отваливалась безвольно. На шее его начинала толкаться жилка, а бледное лицо наливалось румянцем и мертвенным покоем.

Дед же еще гнезвился, сваливался на спину, выставлял, горюшкой испорченную тяжелой работой уродливо выпуклую' грудь, вытягивал вдоль тела руки и вздыхал с длинным, сладким про- СТОНОК.

Миша прижимался к отцу, воображая себя больше и сильнее отца и деда. Они будут спать, а он — охранять их от «германца», который притаился за плетнем в бурьяне с железной осью в больших волосатых руках. Но отец спал и был бесчувственным к Мишиной заботе души, тогда он приподымался и заглядывал в лицо деда. Дед был неподвижен и тих, но не спал. Его глаза тоже были неподвижными, стоялыми лужицами, в них рябила отраженная листва березы, и Мише отчего-то делалось жутко.

— Дед,— просил он,— закрой глаза.

— Что? — оживал дед лицом.— Ты не заглядывай, кот. Во мне Думы болят, не мешай.

— А ты не думай, спи. Я покараулю. Пойду топор возьму™

Миша порывался пойти за топором, но дед клешнями пальцев ловил его за рубашку.

— Ты что — топор, а? Перышко в руках не держал еще, азбуку не выводил, а туда же!..

— А германец с осью?..— Миша вглядывался в щели плетня.

— Э-э,— догадывался дед. — Нету его тут. Далеко он. Ложись, усни в спокойе — рано', поди, встал. Нас без тебя есть кому караулить...

— Я спать не хочу.

— Ну - не спи,— соглашался дед, пригнетая Мишу к подушке.— Лежи,-да гляди, да слушай— твоё дело такое. По летам и дела-заботы...

Тихо кипела листва, прахово пенились облака, и время уходило. Но Миша тогда не мог думать о времени и что оно чего-то изменяет. Отец с матерью были для него всегда большими и не старыми, и думалось, что такими они будут без конца, так же, как дед был для Мишиной памяти старым, и оставаться- ему таким вечно, как неизменимы дом, огород и вот эта береза. «Я тогда был маленьким», — слышал он от отца или от деда и не мог поверить им, потому что на Мишиной памяти еще никто из маленького не вырос в большого, из большого никто не стай старым. «Вот вырастешь большой...» — часто слышал он и сам о себе так же говорил, но детским воображением ничего не мог изменить в своем будущем. Ему казалось, что он и большой будет маленьким и так же для него будут дед и родители, как и он для них.

А из детства война, как гвоздь из доски, клешнями вырвала, без роста взростеть заставила. Время бурей хватануло, все перекрушило, перекроило на глазах. В сорок третьем, в конце апреля, не дождавшись травы-спасительницы, умер от голода дед Егор. Мать к тридцати пяти годам выстарилась, высушилась, словно молодой злак в знойное суходолье, когда б еще сильной зрелостью красоваться, а у нее толстая каштановая коса в сивый **ОТЦЕПОК** истаяла, засосулилась постно, от ладной фигуры осталась доска плоская на ходулях ног,.. Отец пришел с войны одноногим;

пока был при медалях да' в военном, что-то еще зиднелось в нем, а как надел довоенный ватник, так и выказал себя старичком-калекой. «У меня,— говорил он,— соки из тела вытекли вместе с бедой, остались кость да жила».

Неунывный был. В армию Михаила провожал с твердым наказом: «Раз пошел, то не останавливайся. Иди в- рабочие. И нас оттуда поддержишь».

В повестке был наказ: иметь на три дня сухарей и сменное белье. Мать набила сумочку сушеной картошкой да брюквой пареной; напахнул Михаил отцовский фронтовой еще бушлат на сопревшую рубаху, голые ноги сунул в валенки без голенищ, которые обрезали на подметки,— и готов новобранец. «Не робей! — ободрил отец. — В солдатах в кожу да в сукно обуют-оденут».

В последнюю сентябрьскую ночь Михаил почти до рассвета просидел в огороде под березой. Охватив руками поджатые к подбородку колени, он покачивался и плакал без слез, потому что знал: не на срок службы уходит с этой земли.

Темнели избы, храня в своем тепле утомленных людей, и звезды, облепив, точно репейники, громадное небо, никуда не звалп, и береза с обобранной осенью листвой не удерживала его своим редким шорохом.

Лети на все четыре стороны!

Разве он мог в ту ночь знать, чт: где-то на самом краю Дальнего Востока найдется для него, все: большая работа, дом, клочок земли и даже дерево-яблоня, под которым он будет спать после ночной шахты, и что его будут «охранять» маленькие сыновья, как «охранял» он сам когда-то отца с дедом?..

Дед Андрей на малолюдной сзядьбе Михаила едва удержал заколodeвш . .: стакан с горькой, разрыдался то ли с радостн, то ли с печали, расплескал питье по трещинам морщин и по рубахе. «Вот и все,— сказал каркающим голосом,— теперь и помирать ладно». Из-за стола едва унес он сам себя в свою комнату. С тревогой ждал Михаил беды в первые стачные к:=-: на дед еще год с лишним отгонял от себя костлявую н, молодец, правнука дождался да **еще** ясным возднемаяским днем под яблоней с ним полежал. Со смены Михаил пришел, а Валентина на крыльце сидит, вяжет и глазами в сад показывает: полюбуйся, дескать. На тюфяке **ЕЗ-ПОД** ватного одеяла дедовы валенки торчали, лицо, что серый камень-обдывш осколком, носом вверх уставлено, а рядом с дедом — пакет с Олешкой. Михаил что-то заволновался— да к ним. Встал над ними, а они на копошашуюся лиртву глядят, и у обоих в.глазах младенческая мутноватая водица бессмысленности. И так передало горло от нахлынувшей любви и жалости к ним, -беспомощным, так опалило открывшимся вдруг: «Вот они, конец и начало сущего. Брызни на них дождичком, дунь остудли-

вым ветром, и тогда,.. Не дай бог, коль случится что со мной — тут й конец и начало могут смешаться».

Дед будто услышал его мысли, руку медленно из-под одеяла стал выпрастывать, потянулся ею к Олегу; по атласной обертке рука поползла на пальцах-раскоряках к младенческому личику и замерла над ним в изнеможении. Две плоти почти соприкоснулись: одна нежно-розовая, точно молоденький снежок на заре, другая почти смертельная, с вытянутыми из нее работой и временем соками.

— Деда,— тихо предупредил Михаил, боясь, что дед заденет лицо сына, и тот понял, отвел руку.

— Ниче-ефо,— прошелестел, будто предзимний камыш. — Мы с ним дружные.

— Ха, дружные они!— Михаил искусственно хохотнул, потряс головой, стараясь не пускать слезы. — Коль уж вы у меня такие, так давайте, мужики, шагом марш в хату. Валя! — позвал. — Ты что их уложила? Не июль, поди. -

Валентина, отложив вязанье, поднялась, выгибая спину, потянулась едва пополневшим после родов телом, запрокинув голову и руки так, что ситцевое полотно халата едва не лопнуло на высокой груди, а плоский живот, казалось, слился с позвоночником, и так и пошла с крыльца, высоко оголяя полные ноги распахом халата.. «Ну, ведьма! Это же...» — невольно восхитился Михаил, и она, конечно же, боковым зрением уловила выражение его лица, но подошла, уже нарочито смявшись, прикидываясь этакой пичужкой.

— Чего ты, Миша?

— Чего?! Много ли им надо? Опахнет снизу..

— Так он просился, дедушка-то,— подхватывая на руки Олега, ворковала Валентина. — Нам, говорит, на мир надо... Мне, говорит... — Она запнулась и полупешотом, чтоб не слышал дед, закончила: — Мне, говорит, с миром проститься, а ему,— кивнула на Олега,— встретиться.

— Ладно. Это... иди, а я ему...

Михаил совсем близко склонился к дедову темному с желтизной, трещиноватому от спекшихся морщин лицу, и ему показалось, что дух от деда исходил не живой, но словно от вывернутого по весне комка взопревшей земли.

— Пойдем, деда,— торопливо позвал он, пугаясь, но грудь деда вздымалась высоко, с подрагиванием и с писклявым шипением, точно драные мехи.

Дед открыл и вновь прикрыл неузнаваемо просившиеся, наполненные жизнью глаза.

— Пойдем,— сказал дед вычистившимся голосом.

Михаил осторожно стал поднимать его под мышки, посадил на тюфяк.

— Погоди. — Дед вышумливал из груди тонкий сухой свис!» Он клещисто завел руки за ствол

яблони, пошеборшил ладонями по коре и, подняв лицо, замерев, глядел через распадок на восток, туда, где над срезом сопки вздымались густо налитые дождем тучи. Они отекали сверху чепрачной темнотой, лохмато обвисали тяжелыми палевыми животами. Молния проросла тоненьким блеклым стебельком, подергала корешками и пропала, породив слабосильный гром. Мертвой стылостью грозило оттуда. Тучи, как бы задумавшись, приостановились перед мощью ясного дня, а потом стали медленно скатываться на юго-восток.

— Ишь ты,— проскрипел дед Андрей,— уморился я, а Бобровку никак не увижу.

— Во! — удивился Михаил. — Да ты не там ее смотришь: На север гляди. Во-он, по-над нашей шахтой. Видишь, крыши белеются в садах?

Дед слабо вел головой, клонил ее все ниже и ниже.

— Нет, ни Бобровку, ни шахту не вижу,— сказал провалистым, с детской обидой голосом.— Ну как же?! — И приткнулся в бессилье лицом в корявость ствола, оголив из-под сбившейся шапки тощую шею и сивый, остро выперший затылок.

Михаил стоял над дедом, не торопил его, хоть и знал, что сидеть ему не под силу. «Пусть,— думал,— прощается, сколько ему надо. А как и с чем прощается-то,— спросил себя,— коль глаза как надо свет не ловят?»

Где-то читал, вроде бы и ненужное, но запомнилось навсегда:

Когда в глазах погаснет свет  
И дух покинет плоть,  
Туда, где мрака ночи нет,  
Нас призовет господь.

Как же! Нету там мрака. Не понимали или хитрили люди сами с собой, страх этим отгоняли?

Дед Андрей как-то говорил тоже памятное: «Земля всех кормит и сама же всех поедает». Вот он сам скоро пищей земли станет. Страшно ли ему? А может, не страшно, ибо уморился за жизнь, плоть изнасилась, ослабела, душе для чувств сил не дает — весь приблизился к земляному состоянию покоя.

Поднимал деда Андрея, а он в пологое отстволье руки положил, наказывал:

— Срежь отрост, а то разорвет яблоню. Ей жить... долго. Не срежешь — погибнет...

...Не раз Михаил подступал к яблоне с ножовкой, осматривал отрост, накипевший узловатой каменностью, и отступал": «Зря тревожился дед, — думал. — Пускай живет, какой родилась,— веку ей не будет. Чего живое-то отсекает?»

Вот и не живое — прошел ее век. Михаил ударил топором по противоположной запилу стороне, почувствовал, что все до последней волоконки отсечены, но яблоня еще стояла, лишь едва заметно стала разворачиваться на отпиле, До

конца не оторвавшаяся ветка не дала стволу вернуться, потянула на себя, и яблоня тихо, как старый, немощный человек, стала клониться, словно боясь ушибиться, выставила узловатые ветки-руки, оперлась ими о землю и плавно осела с тяжелым вздохом.

— Во, сад — на дрова!

Петр Азоркин будто из земли вырос. Широкие вислые плечи хромовой курткой облиты, длинный торс к бедрам — почти клином, волосы — каштановой волной с редкими нитями седины.

— Райка не приходила? — Азоркин подмигивал, плутовато озирался, и Михаилу здесь, при кончине яблони, присутствие Азоркина с его заботой, как скрыть свой разврат от жены, показалось таким ненужным, неуместным, что он даже с отвращением отвернулся от него. — Спросит если Райка-то, слышь?.. Ну, мол, две смены... Комбайн завалило — выручали, то да Се. Я с Колыбаевым договорился, с Валькой твоей. Совсем чего-то баба моя... То по три ночи дома не бывал — и ничего, а тут... Ефиму-то я так, для отмазки — ему, быку, Райка не поверит. На тебя вся надежда.

• — ВалеЙтина согласилась?

— Ну, а как же! Она у тебя баба понятливая.

В голову что-то ударило тупо, словно живое там завозилось: надо что-то сделать сейчас, сразу, а не знал, что. Азоркин на траве у мертвой яблони развалился. Поднялся на локоть, надув шею зобом, загорланил утробно, по-бычьему:

— Ефим! Эй, буго-ор! Иди совет держат!

Колыбаев, спускаясь с крыши по лестнице, оглянулся, махнул рукой: мол, сейчас.

Михаил силенка выглядет спокойным, да никак не мог справиться со своим лицом: перетягивало его, лицо, дергало живчиками.

— Я сейчас, Петр.

Взошел на веранду. Валентина метнула на него взгляд — неведом ей муж был таким. Вечно с ватной душой ребенка, даже укоряла: на мужика, мол, непохож. А у него вон сколь суровости мужской таилось до поры. Теперь вот съезжилась вся под его взглядом — незнакомым, тяжелым.

— А что мне было делать?

— Да ничего! Или, коль не станешь азоркиного распутства прикрывать, то и делать будет нечего? Ты же этим нашу семью мараешь!..

— Злой ты. — Валентина оправилась от испуга, щеки опять — хоть прикуривай, а в зрачках дерзость.

— 'То слишком добрый, то — злой... Тебе какого надо?

— И чего ты на челоэека?.. Может, у него любовь! — Лицом Валентина еще выражала покорность, а глаза зеленой закипали.

— Любо-овь?! — перехватывая текущий взгляд жены, возмутился Михаил. — Ты же его лучше меня знаешь, Азоркина-то. Не при тебе ли он тут высказывался: «Хоть горбатая, да -т.-

Он же каждый день на шахте о своих любовях треплется, у всех уши вянут. Не-ет, свою семью я в грязи купать не дам! Мы — почва для детей, бурьяна из них выращивать тебе не позволю!..'

— Буго-ор! — опять заорал Азоркин.

Михаил, подперев голову рукой, прищурившись, глядел на далекую синь северных сопот, долго молчал, а потом заговорил будто сам с собой:

— Нет, идет же вот по земле и не вздрогнет от стыда... Вон,— показал на улицу,— и Раиса. Как ты ей в глаза глядеть-то будешь?..

— Где? — не выдержала, кинулась к окну Валентина.

Раиса на высокое крыльце вроде не взошла, а вознесла себя, омытая светом и легким ветром.

— Привет, парни! — прозвенела голосом, и улыбкой просияла, и скрылась на веранде.

— Огонь! Ох, огонь она у меня! — восхитился Азоркин, рластолюбиво поплямвав губами, и Михаил понял, что Азоркину жена увиделась на время чужой и что он сегодня на ночь пойдет домой. А тот снова к Михаилу: — Как договорились, понял?.. Вон и Ефим со своей Катькой, заразой быкастой,— я же ее не предупредил..

Пили на веранде чай. Катя Колыбаева, вся какая-то подобранная, тихая, с'вечно виноватым лицом, подносила чашку к блеклым губам, отхлебывала, кажется, одну капельку, потом, придохнув, опять по-голубиному касалась краешка чашки, и весь ее вид говорил: «Глядите, как мало мне надо». Михаил видел: Раиса догадывается, что Азоркин обегал всех, предупредил, и знала, кто будет подыгрывать ему, а потому подначивала с веселой издевкой:

— Ефим, а ты чего Катю-то заморил? Сам-то вон, гляди, залоснился...

— Продукты одинаковые едим,— отвечал Колыбаев угрюмо и смаргивал раз-другой.

А Валентину прямо корежило всю, как бересту в огне. Металась бестолково то к печке в отгородку, то к столу: присядет, за чашку возьмет-я и спешно ставит — опять что-то ищет, а глаза i все скользом да скользом мимо лип,

— Валентина, слышишь,— не унималась Раиса, — давай мужьями меняться. Вот он,— хлопала Азоркина по влечу,— улыбнется — солнце гаснет!..

Валентина Еыдазливала из себя смешок-выползыш, поддерживала шутку:

— Придачу дашь?

— Ишь ты! — деланно возмущалась Раиса. — Кто же за такого придачу берет?

Азоркин похохатывал, пытался тыкнуть губами жене в щеку, а та непринужденно уворачивалась от него, поводила узкими плечами, и Михаил ловил по ее лицу, что Раиса не ревнует Азоркина ни к кому, но смеется над ним, а попутно и над другими, может, и над ним, Михаил-

лом, тоже смеется. «Только сама-то кто ты такая, если столько лет его блуд терпишь?» — злорадствовал Михаил.

— А ты, Раиса, отпусти его на волю, — не принимая шутки, серьезно заметила Катя. — Ты у нас вон какая краля-красавица — без обмена любого отхватишь. Разве с таким жизнь?!

Все так и замерли: да Катя ли это! А Катя сжалась испуганно, украдкой обежала. взглядом сидевших и добавила еще более неожиданное:

— То есть... я бы такого наладила куда подальше.

— Чего-о?! — опомнился Азоркин. — Чего в чужую семью нос суешь? — Угрожающе навис над столом в сторону Кати, выкоршунив горбатый нос.

— Сядь, Азоркин. — Раиса легонько толкнула мужа. — Нашел на кого орать!

Азоркин послушно сел, оставил на Раису красноватые от недосыпания глаза.

«Г- Есть, Катенька, человек... — Раиса смежила пушистые ресницы, покачала головой. — Тысячу километров на коленях за ним бы ползла, — говорила так, словно не было рядом ни мужа, никого, кроме подружки Кати.

— Ну и что ж ты?.. — спросила Валентина, едко улыбаясь.

— Женатый он, — просто ответила Раиса. — Детей у него двое, как и у меня. Да и не знает он о моем страдании, — вздохнула с долгим простонам.

Смуглое лицо Азоркина подморозило.

— Пойдем, что ли? Устал ты, я вижу... — поднялась Раиса из-за стола. — Поспишь хоть немного, а то две смены подряд и опять на смену. Спасибо за чай!..

Азоркин оглянулся из дверей, подмигнул оставшимся, дескать, здорово жена разыграла, но неловкая и растерянная у него получилась хмылка.

Валентина собирала со стола посуду. Чашка скользнула из ее рук, брызнула об пол.

— Ты что это? — Катя пытливо приглядывалась к Валентине.

— Что ты сегодня липнешь ко всем? — Валентина, фукнула из угла губ на прядь волос, подхватились с тазиком на кухню.

— А то... Азоркина пожалела, прикрываешь... А Раису тебе не жалко?.. Эх, ты!..

— Думай, что говоришь-то, — укорила Валентина из кухни, не показываясь оттуда: то ли посуду мыла, то ли делала вид, что моет. — Всю жизнь молчала, а тут расфонтилась!..

Кольбаев, казалось, всю веранду занял, такой гусачина, а Катя за ним серой курочкой, у которой если есть какой вид, то не от тела и не от одежды, надетой без заботы о женской внешности, а от силы внутренней. Вот ведь, подумал Михаил,

без натуги по местам расставила и Азоркина, и Валентину, и Раисе подсобила. Сила чести! Вот, точно. Бесчестье всего лишает — руки в свою защиту не поднимешь. А такая с ухватом на наган пойдет!..

Михаил пошел яблоню прибирать. Сучья сшибал, думал: «Мелко живем. Страсти-желания ничтожны, постыдны, жизнь разьедают. А попробуй, отгородись от них!»

Работа успокаивала. Михаил отсекал сучья и тут же, на пеньке, рубил их на дрова и носил в сараюшку. День назрел высокий и светлый не прозрачностью воздуха, а немолодой задумчивой мудростью: не май, слава богу, а сентябрь — пожито, повидано, и вспомнить есть чего, и есть о чем иодумать. «Ровесник», — усмехнулся Михаил, приравнивая день к себе.

Из сада, от кустов смородины и крыжовника, от картофельных и помидорных грядок — отовсюду истекали запахи спелости и к ним примешивались едва уловимые, сладковатые струйки гленья уже всего, что успело отжить.

Убрав сучья, Михаил опустился на траву. Ошаривая взглядом долину, остановился на давно потухших терриконах «Глубокой», мысленно проделал путь до лавы, где теперь Костя Богунков со сменой выкладывает по лаве «костры»: «Косте, бедняге, сейчас жарко! Нам вчера зато прохладно было...»

А, над лесом, с юга, на большой высоте начали вычесываться редкие пряди облаков, веерообразно разворачивая концы фазаньими хвостами. «К полночи опять дунет, к утру водолей грянет», — определил Михаил по давно известной примете. С тяжелой покачкой вошел в дом. «Разбудишь в четьре», — наказал жёне и лег на диван.

Проснулся он сам. Резко сбросил ноги с дивана, сел. «А-а-аф», — тяжело втянул воздух. Во сне под землей, в забое, сам себе привиделся. Казалось, и проснулся со стоном от нехватки кислорода. Но Сережка на подоконнике ножницами бумагу кромсал, ухом не повел. «Слава богу, не наготал. Солнце...» Свет в глаза виделся, как через толстую слюду, сердце грудь трясло. «Живо-е!» — поразовался РтГ-перва вроде на-гора было: небо серое и плоское с высоты стало опускаться, опускаться, лишая мир света. Во мгле, как живые, заматались деревья, выстраиваясь в ряды рудостоек. Взвизгнув, замер конвейер. На комбайне, будто на электровозе, с ветром и хохотом промчались ивтио Кольбаев с Азоркиным: «Прощай, Миш-ка-а-а!» — и исчезли в дальней полоске света. Серая плоскость на одной скорости бесшумно уравнивала деревья до пеньков. Михаил, запрокинувшись, руками и коленями уперся в холлод массы, глотал и глотал воздух, а его все не хватало и не хватало.

— Сережа, во дворе подмел?..

Сын покивал — так занят, не оторваться.

Михаил помял левую сторону груди, успокаиваясь после тяжелого дневного сна, и распахнул створки окна.

День, склоняясь к вечеру, тихо покоился в саду, осыпав все своим светом тонкой желтовато-цыплячьей нежности. В такие часы хорошо работать в огороде или идти по дороге, читать книгу, изредка отрываясь от нее, чтобы прислушаться к жизни и к себе. В предвечерние часы-особо печалится сердце перед спуском в шахту, зная, что ночь для него наступит намного-много раньше, чем для всех живущих на земле. Странно, но по утрам этой печали не бывает. По утрам ствол звенит от голосов, хотя от светлого дня Достается, людям два его коротких обрубка: восход да закат, а зимой и того не достается — в сумерках спустился, в сумерках поднялся. Во вторую же смену в клету тишина затаенная. Редко-редко вполголоса скажет кто слово, и ему так же ответят кто-нибудь, а то и вовсе истают одинокое это слово в шорохе воздушной струи и всхлипах воды, падающей с высоты на крышу клетки.

Да вот же они, те далекие-далекие полдня, когда в погребу перебирал с матерью картошку... «Мам, чего мы в темноте, давай вытащим картошку наверх». — «Оглядимся, сынок. Творило-то открыто».

До обеда терпел, а после завопил, хотя крестьянским детям в его годы капризничать не полагалось. Мать поняла его, под мышки подхватила, вытянула из погреба, омахнула крестом: «Одна управляюсь, там и осталось-то... — говорила виновато и ласково. — Иди, плетенок пока позаплетай. Иди на солнышко».

«Да разве это со мной было? Иди на солнышко...»

Темное раздражение поднималось против самого себя: «Чего теперь-то думать? Ночь не превратишь в день. Сам это хорошо- знаешь. Жил, как хотел...» — «Нет, не как хотел, а как сложилось, — оправдывался в нем совсем дггой Михаил. — Мне сперва нужны были ден.си для родных, а потом я привык». — «Но привычка — это же сам ты. От нее отказаться, как от самого себя». — «Нет. Привычка не я. Ее разрушить можно, сбросить с себя». — «Ну, попробуй, сбрось. Чтo от тебя останется? Не нами сказано: живешь по привычке, а отвыкнешь — умрешь. Привыкать да отвыкать — этим же только скорбь свою увеличивать. Ты же однажды отвыкал от степи...» — напоминал один Михаил. «Чудак! Ты не шахты испугался, а жизни. Это бывает. Пройдет», — успокаивал, разъяснял другой. «А если не пройдет?» — «Тогда что ж...» <

Михаил и сам того не заметил, как вылез через окно в сад, прошел за кусты смородины и упал в листву меж ними и забором.

Думать ни о чем больше не хотел, не мог. В голове что-то погудывало, как далекий подзем-

ный обвал. Вплотную перед глазами дрогнул лист с тугими толстыми прожилками, точно ребра лодки. Меж прожилками — рыхлой трухлявой ржавью — ткань листа: «Издавека-то... — подумал. — А вплотную — грубое» Поглядел на солнце. Оно еще высоко стояло над хребтиной сопки, и на него можно было во все глаза смотреть через белесую мутцу облаков. «Вот же видишь? — Чего тебе? Чего тебе...»

Опустился подбородком в уют рук, глядел, как покачиваются желто-зеленые венцы укропа, слушал сонный шелестящий шумок растительности. Покой безмерный, а в душе непокоя так до конца и не унял.

4

Костя Богунков, звеньевой смены, с Михаилом встретился в бытовом комбинате у ламповой. Тепло Кости было так выморено работой, что казалось выточенным из камня, и даже круглое с мелкими чертами лицо не облекалось, а вроде как с натягом оплеталось мышцами.

— Живая? — спросил Михаил о лаве.

— Стонет, — ответил Костя. — Не дали вчера кострить?

— Не Дали, — вздохнул Михат:т. — Надо было самому Комарову звонить. Я тоже что-то сплеховал.

Помолчали. Костя пытливо-м долго глядел на Михаила.

— Ты вроде как не в себе? — спросил участливо.

— Да нет, как всегда будто — Михаил отвел глаза.

— Как всегда, — раздумчиво г:зторнл Костя. Снял каску, рукавом отмахнул с лица пыль. — Да нет, не как всегда, — возразил, озоботив добрые глаза. — Лицо не такое. — Ты вот что: переходи в наше звено, — выгтг:г: д:гадку. — Таких людей не найдешь на зсей вате. — Костя явно имел в виду Азоркина с Колыбаевым. — Чужие они тебе. Диву даюсь гвсему тергениу.

— Разве они лучше станут, если я уйду? — свел все к шутке Мяхаал. легоаько хлопнул друга по плечу.

— Не нравкшьс? ты мне —

— А я и сам себе не нравлюсь...

Костино участие тепло\* волной окатило сердце, и совсем не к месту и не ко времени (самому пора в клету, а Косте осклизлую от пота и грязи нуду-спецовку д — ш минуты на плечах держать невмочь) потянуло к задумчивости.

— Я. Костя, что-то сдавать стал.

— Чего это?

— А черт его... То ли телом ослабел, то ли еще того хуже... Вчера на смене наплыло. И теперь вот иду, и это... мысли разные.

— Хреновые мысли, если разные, — сказал Косен. А ему шибко-то не перечь. Не гляди, что гла-



за добрые,— характер, когда надо, проявить мо-  
же?, взглядом камень отодвинет.

— Хреновые, значит,— согласился Михаил.— Раньше бывало, но как-то полегче, а тут душу в узел завязывает. У тебя такое было, нет?

Михаилу очень хотелось услышать что-то ободряющее, но тот в пол глядел, ушел весь в себя.

— Товарищ! — неожиданно окликнул Костя мимо идущего рабочего. — Дай нам по одной в зубы, чтоб дьгм пошел! — И к Михаилу: — Ты Ваню Васильева хоронил? Да нет, тебя не было тогда. Ушли все с кладбища, а я остался. Сажу. А закат... Какой был закат!.. Думаю: «Ваня ты, Ваня... Никогда больше закат ты не увидишь!..» Вот тут и садануло под сердце: а при жизни много ли он закатов насмотрелся?..

— Ты к чему это... невеселое вспоминаешь?

— А к тому, может, и ты сейчас, как я тогда, сердцем насадился... Я ведь даже к Комарову с заявлением бегал. Тот — уговаривать, а потом согласился, только квартира, говорит, у тебя шахтовая — верни. Я — тык-мык... Пока мыкался, и все прошло. И у тебя, Миша, пройдет.

— Долго, коротко ли говорил, а конец один... — вздохнул Михаил.

— Какой ни есть... История, Миша, у нас с тобой одна!..

— Да, это верно, — подтвердил Михаил.

— Ну, ушел бы я, уйди ты, и без нас бы шахту закрыли — тогда другое дело, — продолжал Костя поспокойнее. — А она же без нас жить будет! Мы по двадцать пять тонн лопатами наваливали по полкилометра ползком лес таскали... Вон шахту куда вытянули — комбайн уж не техника, комплексы на шахте работают. К будущему лету на нашем участке комплекс начнут монтировать. Уйди — разве не обидно будет? А уйти можно... Сколько их бродит по земле, казенных людей. А ты себя не забудешь, от себя не откажешься. Может, и в самом деле к тебе в смену добавить кого, а Азоркина забрать? — вернулся к своему Костя. — Это же шахта, разве можно в шахте одному с такими?..

— Чего ты все о них, пошли они к бесу! — Михаил тронул Костю за руку, кивком показал высокое, под самым потолком окно, а в нем прямоугольник синего до густоты неба, так внезапно ударившего в глаза из каменного проема;

— Иди-ка давай в баню скорей. Иди. Когда-нибудь договорим. — Михаил протянул Косте руку, их ладони сошлись глухо, стукнулись.

Михаил заспешил в сумрак переходной галереи, которая заменяет шахтерам утро и вечер, — чтобы не портить глаза резкой переменной света.

Четыреста метров вглубь, грохоча на направляющих брусках, клеть падала чуть больше минуты, то отрываясь из-под ног и облекая тело так, что дыхание перехватывало, то притормаживая, и тогда что-то осадисто давило на костяк,

Впрочем, Михаил этого ничего не чувствовал, ибо спускался он пять тысяч шестьсот тридцатый, то ли сороковой раз и столько же раз поднимался на-гора. Его тело заранее чувало перемену скорости клетки и успевало к ней приготовиться. Сознание же было свободным для основной жизни, и оно уносило Михаила то вперед, в еще не прожитое, а потому и не совсем определенное, то в прошлое, такое большое, что о себе только и то не все разом охватишь, не то что о других всех, кого знал и не знал, но жил с ними рядом. Четко же виделось совсем близкое: вчера — прожитый день, и завтра — работа в лаве.

А пока его, тело уносилось в глубь земли, Михаил в воображении видел свой дом, сад, за садом — сопки, успел оглянуть всю даль, где могуче и высоко вознесся лес, где тугой шум в вершинах жил даже\* в тихую погоду. Михаила всего охватило неизъяснимой прозрачной грустью, которая повешает людей чувствительных и счастливых зачастую на исходе дня, когда от невыразимой любви к родной земле и ее людям щемяше и благодарно обмирает душа.

Кто-то легонько подтолкнул Михаила — не слышал, как «села» клеть, как колокольню прозвучал сигнал «стоп» и клацнул замок. Откатчик Федор Лытков что-то говорил, на ходу поглядывая на Михаила.

— Задумался, а? А ты не думай, а то истареешь, не живя века. Вот я: седьмой десяток, а каков! — Федор Лытков обнажил редкие пеньки зубов. — Сурьезно. Не гляди, что зубы съел, я еще звон-колокол. И ты запомни: дважды молоду не бывать...

— Запомню, дядя Федя!..

— Ну, пойдем вместе до рудничного обгона. Мне там вагоны, что на-гора поднимать, счесть надо.

Ветер шумел и нес водяную пыль из ствола. Прорезиненная одежда холодно заблестела на Лыткове. Сколько знал его Михаил, был он все будто "вот таким. «Но ведь был же он когда-то и таким, как я теперь!.. — подумалось согласно настроению. — А он не понимает ничего, не чувствует вроде. «Звон-колокол!..» Выколоколил, отошла твоя пора». И будто наперекор его мыслям Лытков сказал:

— А ты чего это вчерась под стволом киселем расплылся, а? Сказывали — сердце. Какое сердце в такие годы? Ты, Мишка, того, а то ее, болезнь-то, и приручить можно.

— Да нет, это не болезнь... — заверил его Михаил.

Лытков резко повернулся, заступил дорогу:

— А коль не болезнь, так что Ж ты оквелел? Глядеть тошно на вас, с носами вислыми! Живете скучными улитками. Я смеха давно не слышал на шахте. Вспомни-ка, Миша, как мы жили. Караваяев Петр Васильевич, бывало, гаркнет на

общешахтовом наряде — все дыхом замрут, а шутку кинет — смех повальный. Во! Вперед на выполнения-достижения коллективом цементным, ядром пробойным!—Лытков сжал мослы, потряс перед лицом Михаила. — А то думают, думают. — А тогда не кисли, как ши недельные, шибко не думали!—

— Вам, что ли, думать не давали? — урезонил Михаил Лыткова.

— Э-э, дурачок, я же тебя, как сына, люблю. Да кабы от дум твоих легче тебе стало или мне, к примеру. Говорится: долгая дума — лишняя скорбь...

— Что ж в том плохого, коль думает человек, а, дядя Федя? А скорбь, что ж... Время для дум пришло подходящее. Оно' только кажется, что время притихлое, а в самом-то деле шумит! Вон, как в песне: «Не шуми, мати, зеленая дубравушка, не мешай мне, добру молодцу, думу думати...» А? Дядя Федя! Деды наши, отцы, как ты говоришь, ядром пробойным... Ну, так то ж было свое время. В войнах да в трудностях — до дум ли вам было? Теперь мы за себя и за вас подумаем, осознаем себя: кто "мы такие... Стоящие или... сукины дети!..

Лытков часто моргал почти голыми веками.

— Да толку-то... — не сдавался. — Ты новые думы думаешь, а старые улетают из головы, что дым в трубу.—

— Не улетают — след-то остается!

— Как это? — не понял Лытков.

— А так! Я пошел, дядя Федя!—Михаил решительно обошел Лыткова, который еще пытался придержать его, силясь понять что-то, и зашагал, подгоняемый ветром в спину.

— Поглядывай в лаве-то, малахольный! — крикнул вслед Лытков. \*— Поглядывай, а то Яшка те надумает!..

## 5

Солнце замутненным пятном высветило бумаги на столе, и Головкин понял, что дело к вечеру. Теперь, в сентябре, лучи совсем накоротко и косо-глазо заглядывали сюда, в зимние же дни с утра до вечера в узком, длинном помещении раскомандировочной жил полумрак. В прошлые годы Василий Матвеевич не однажды требовал у директора шахты светлой раскомандировочной, но с возрастом перекрутилось какое-то колесико в душе, и он начал ловить себя на мысли, что его стали раздражать ясные, солнечные дни и все больше нравится тихая, пасмурная погода,— нужда в светлом помещении отпала сама по себе.

За долгие часы между нарядами, и особенно когда первая смена уходила домой, а вторая спускалась в шахту, во всем здании, совмещавшем в себе управление И бытовой комбинат, настаива-

валась тишина. Василий Матвеевич по-мышинному шелестел бумагами, монотонно, словно отсчитывая капли, перебрасывал костяшки на счетах. Он знал все до копейки освоенные участком расходы не только за сутки, но и за каждый час, все до сантиметра горные выработки, все новые и перемолотые горным давлением крепежные средства, вентиляционные и оросительные трубы, количество электроэнергии и воздуха, поступающего на участок... И все равно считал и пересчитывал, обмакивая перо в чернильницу-непроливашку, бог знает как сохранившуюся у него, когда весь мир от мала до велика изводил бумагу пастовыми карандашами, и ручками. Находил ли Василий Матвеевич удовольствие в своих блдениях за столом, считалось ли это необходимой работой — понять -было невозможно. В одиннадцать, в двенадцатом часу ночи уходил домой. Перед уходом звонил на свой участок. Приладив трубку к дряблему уху, впитывал через нее приглушенный шум и лязг шахты, где каждый звук был для него наособицу, не смешивался с другими и говорил ему больше о работе участка, чем горный мастер или насыпщик с погрузочного пункта насыпки. Василий Матвеевич мог не слышать шума ветра, воды, леса и прочих шумов природы, вернее, он и слышал и не их, они не нужны были его сознанию и сердцу,— подземные же звуки стали его участью, он улавливал и разделял их по значению.

— У тебя уголь падает в бункер с большой высоты,— бесстрастно говорил Василий Матвеевич насыпщику по телефону. — Уголь разбивается в пыль и портится...

— Да нет вроде,— прикрывая микрофон рукавом затннка, неуверенно оправдывался насыпщик. — Я бункер до последнего не опрастывал. Уголь на уголь мягко ложится. И гуркотит не уголь, а вагонетки...

— Нет, уголь,— говорил Василий Матвеевич таким голосом, словно и не возражал рабочему, а желал ему покойной ночи. — Я слышу, как уголь трещит и колется. А вагонетки я отдельно слышу. Не порть уголь!\_

Поговорив с насыпщиком, соединился по очереди с дежурными слесарями, обслуживающими конвейерные машины забоев, затем со сменным горным мастером. И. таким образом опросив и обслужав, будто врач живой организм, участок, обмакивал перо и записывал что-то в специально заведенную им памятную тетрадь. Из-за стола поднимался, грузно упираясь руками и ощущая дрожь в ногах, словно его три дня морили голодом. /

Домой он когда-то в молодости ходил по освещенной улице почти до центра, сворачивал на свою улицу, тоже освещенную и асфальтированную, прилегающую одной стороной вплотную к огородам и садам частных застроек Богатого поселка, но однажды поленился и решил спрямить

путь; долго плутал меж сараев и садов, натыкался на заборы, куча шлака и штабеля рудстоек, измочаленных до волокнистости в забоях и предназначенных теперь на дрова; откуда-то выкатывались псы, злые и трусливые, лаяли с хрипом, будто харкали, но вплотную не подступали, и в конце концов изогнутыми переулками-коридорами вышел к своему трехэтажному дому, просадив где-то впотьмах проволокой башмак и ранив ногу. И все же с той поры с шахты и на шахту он ходил только этим путем, постепенно совершенствуя его, отыскивая новые переулочки и тропки, пока не изучил весь путь так, что хоть в светлый день, хоть тьмою-тьмушей знал, где какой бугорок и канавка, и никогда не оступался и не запинался. По пути от дома к шахте и наоборот ему — в силу житейских обстоятельств и по инертности души — не о ком и не о чем было думать, и он догадался измерить путь шагами от подъезда дома до въездной арки шахты «Глубокая», что и сделал, и не один раз, и вначале озадачился, потому что количество шагов было разным. Но Василий Матвеевич был инженером, знал теорию вероятностей и поэтому успокоился. Однако с какого-то времени — он и не приметил, с какого именно, — число шагов между домом и шахтой стало увеличиваться и увеличиваться, и тогда он осознал, что здесь уже не теория вероятностей, а все'та же отвратительная для него действительность...

Дома его встречала жена; была она, возможно, даже привлекательной женщиной, и он за всю их совместную жизнь никогда не сказал ей плохого слова, не взглянул на нее раздраженно или с неприязнью, но и доброго слова она не слышала и любящего взгляда на себе не испытала.

Софья безропотно страдала, как ей самой казалось, из-за «возвышенной» души мужа, которая сколько ни витала над огрубленной жизнью земель, но так и не нашла приюта и потому — закрылась, словно сон-трава, ото всех и от нее, Софьи, тоже, и ей, его жене, единственной не получающей за свою преданность и верность ни мужской ласки, ни человеческого участия, выпала судьба оберегать эту душу.

Она молча встречала Василия Матвеевича поздними вечерами в прихожей, ждала, когда он разуется, пропускала впереди себя на кухню, кормила и уходила в спальню. Ложилась и с какой-то потайной тревогой ждала: разоймут тишину сегодня тягучие звуки или нет? Но вот робко зарождались они, эти звуки, приглушенные двумя дверями, и Софья облегченно вздыхала.

А он там, в своей комнате, сняв со стены скрипку, темную, с паутинчато потрескавшимся лаком, долго и напряженно глядел на переплет оконной рамы, и трудно, словно с неохотой, постепенно в звуки его игры вкрадывалась нежность к жизни, на равнодушном лице появлялось некое

подобие одухотворенности и упорства, смычок пальцы держали тверже, звуки извлекали настойчивее. Они начинали расти, оживать, но тут Василий Матвеевич как-то испуганно прекращал игру, вешал скрипку и ложился. С полчаса он еще лежал с открытыми глазами. Эти короткие полчаса между игрой и сном были постоянными у него уже немало лет, будто бы только в эти минуты и жила его заморенная душа. Однако с пробуждением в душе не оставалось ни порыва, ни смятения, ни облегчения. Казалось, заслоны, возведенные для нее им самим, не вызвали протеста, желания их разрушить. Но это было не совсем так: душа протестовала, однако он отчаянно и трусливо защищал ее ото всех, кто мог бы посягнуть на нее извне, и заранее ненавидел их.

Нынешний директор шахты, однокурник Го/ловкина по институту Александр Егорович Комаров, частенько сожалел: «Ты, Василий, однажды уснешь и не проснешься. Был ли ты — не был?.. Ни одной ниткой не связываешь себя с будущим. А толковал про генетику...» Комаров недоговаривал, потому что видел: в Головкине был инженер, да, как говорится, весь вышел, а "сам Комаров не представлял человека вне- профессии, вне времени, вне движения. Комарову нужно было, чтобы шахта железом напряглась, звенела, а не кряхтела деревянной рудстойкой. Василию, же Матвеевичу нужен был только его неменяющийся мир вещей. Он давно заглушил в себе природные свойства радоваться и горевать, любить и бояться смерти. Вернее, может быть, и жизнь он любил, и смерти боялся, но не давал себе воли и, наверно, только инстинкт заставлял его браться по ночам за скрипку, чтобы не дать напрочь угаснуть в себе внутреннему духу жизни. Не знающий счастья обладания желанной женщиной, счастья победы в труде, ибо только в победах зреет сердце мужчины, Василий Матвеевич не раз говорил себе: «Все начну сначала...» Но внутренней уверенности в своих словах в нем не было и не было поддержки. Жена спала рядом так же, как жила постоянно около него, — не волнуя и не беспокоя ни как женщина, ни как человек. «Что свершилось, того не изменить...» — говорил себе, устало засыпая.

От первого мужа в памяти Софьи ничего не осталось, кроме перегара да тяжелых пьяных кулаков. Его почему-то и вводила в свирепость ее д::рота: «Ишь, кошка, знаю я вас, добреньких!» Так пьяный и расплущился вместе с мотоциклом о встречную машину. Зачем и жил человек?

Перебирала в памяти жизнь свою жалкую и никак не могла понять, почему ее доброта не находила ответа. Ну, в конторе уважают и любят подруги по работе, да ведь не с конторой жить. Из конторы-то после работы все расходится в семье, к мужьям, к детям, а она никому-нному не нужна...

Тот, первый-, был зверь, а этот, то есть Василий Матвеевич, теленок. Как узнала о его одинокой, замкнутой жизни, увидела его тихого, отрешенного, в измятой одежде, так и оборвалось сердце, зашлась душа — мой, да и все!

Судьба, говорят, руки вяжет, а Софье с ее переполненным добротой сердцем нужен был плен для своего же спасения. С возрастом, как Известно, всё чувства слабеют, только доброта крепнет и растет, неистраченность которой так же опасна человеку, как муки совести. «Буду ему и женой и матерью», — думала Софья. И только одного она не могла сказать себе: «Буду ему любимой», — хотя тайно и об этом мечтала. Но эгоизм Василия Матвеевича до того задубел, что проломить его не хватило всей, силы Софьиной доброты. Не допустил он ее до своей души. Разве только что служанкой она ему стала. А Софье-то! Василий Матвеевич для нее был всем, последним светом в окошке. Его ленивую бездеятельность и безразличие к жизни она принимала за страдания человека, погубившего свой талант, и страдала за него безутешно и остро.

Они встретились без волнения **И** торжества. Софья сидела у него в комнате. Василий Матвеевич не знал: то ли она вдова, то ли разведена, но знал, что у нее нет детей, а что ей далеко за тридцать, так это ясно: хоть лицо еще сохраняло остатки девичьей прелести, ко шею густо запаутинили морщинки.

«Это моя жена, — обреченно думал Василий Матвеевич, косясь на худенький Софьин подбородок. — Но почему? — спрашивал себя. — Почему мне досталось то, чего я не желал? Где та, о которой мечтал все долгие годы, веря, что придет она вот так же, как пришла сегодня Софья?»

За окном дотлевал остатками\* света хмурый бесснежный ноябрьский день, такой тихий и бесхарактерный, что ему к вечеру и похвалиться будет нечем. Василий Матвеевич, забыв о Софье, глядел перед собой в окно на запотевшую влагой черную вязь веток, и его вдруг ожгло: вот сейчас рванет ветер, закружит снежная лава или, наоборот, ударит предзакатное солнце. «Вот сейчас... — ждал он. — Вот сейчас...» Но небо с землей\*слились в полумрак н, обессилев, замерли, казалось, навеки.

— Поиграйте, Василий Матвеевич...

Он вздрогнул и непонимающе уставился на Софью, с трудом вспоминая, что пришла она под предлогом «послушать скрипку». Софья запрашивалась давно, отчего ему стыдно было заходить в шахтовую бухгалтерию, где она работала расчетчицей. «Когда пригласишь на скрипку?» — всякий раз говорила, краснея. **И** говорить старалась тихо, но с голы — сплошь, и **ее** сотруднны, попырскивая, ниже склонялись к **бумагам**. «На скрипку!.. — Он выскакивал нз бухгалтерии, тоже пылая лицом, — Как на блины...»

• — Чего тебе?

— А хоть чего...

«Не искушай меня без нужды», — начал он печально, до щемления сердца. Софья встала к подоконнику, спиной откинулась к раме, наверное, стремясь получше выказать себя.

Но он, уткнувшись в скрипку, уже не глядел на нее, весь объятый жалостью к себе, извлекал звуки густой грусти, обреченности и смирения. Он знал, что исполняет отходную.

Софья,\* перестав шуршать конфетной оберткой, задумалась, а когда он закончил, тоже вздохнула.

— Господи, неужто была жизнь такая! — Прикрыла глаза, пакачала головой. — А ты, Вася, умеешь душу выворачивать...

Он с благодарностью взглянул на Софью и снова было поднял над струнами смычок, но она торопливо положила ему руку на плечо.

— Хватит пока!.. Собирайся, пойдём...

И он пошел...

Головкин почувствовал, как пригрело спину предзакатное солнце, которое его так необычно беспокоило: «Ольга ведь!..» Он захлопнул сейф и уже готовился подняться из-за стола, да некстати вспомнил, что не написал приказ на Богункова — такая недопустимая забывчивость в работе! «В связи с отказом выполнить наряд и с целью укрепления трудовой дисциплины...» — стал спешно писать, но его прервал звонок.

— Что?! — Головкин непонимающе уставился в разбегающиеся строчки недописанного приказа. Аккуратно положил трубку. «Обвал?! Да по чьей же вине?! Кто виноват?» — зачем-то спрашивал себя, не в силах приподняться со стула,

## 6

Сначала раздался глухой грохот, а потом опухло воздушной волной. Михаил рванул ручку контроллера комбайна на выключение, и тут же по потной спине, точно льдом, полоснул истошный крик Валерки Ковалева:

— Пе-стра-а завалила-а-а!

За густой вылью, взнятой обвалом, одиноко метался тусклый свет Валеркиной лампы. «Ефима — тоже!..» — застудило сердце Михаила. Нырнул под переломанные доскн-верхняки и не услышал, как острым отщепом, со скользом по костям, пропорол спину.

— Колыба-аев! — рявкнул Михаил, выскочил под купол вывала.

— Вот он. Давай... — просипел Колыбаев под ногами Михаила. Он стоял на четвереньках и как-то по-собачьи, руками и ногами, резко откидывал за себя мелкую породу. — Мелочью присыпало. Давай!..

Михаил не видел Азоркина под породой, отчаянно греб наугад и на веру Колыбаеву. Пальцы заскользили по резиновым сапогам Азоркина,

— Ефим, плечи!..

Азоркин лежал вниз лицом без каски, уткнувшись в локтевой изгиб правой руки.

— Что делать? Что делать?.. — полоумно выстанывал Валерка, весь сжавшись, по-заячьи подпрыгивая на четырех.

— Уходи из лавы! Ну!.. — приказал Михаил. — Беги!

Михаил, обдирая кожу с кулаков, прорылся Азоркину под мышки..

— Берем! — крикнул Колыбаеву.

Колыбаев — за ноги выше колен, потянули на взъем, да левая рука — словно привязанная.

— Рука, братцы, — вдруг внятным испуганным голосом произнес Азоркин.

«Ти-ти-ти», — прострочил Из купола капез мелкой породы. Для незнайки это безобидные крошки, но для них, троих асов горного дела, это был сигнал смерти. Вверх Михаил не глядел, что толку туда глядеть, — теперь обвала не миновать. \*

— Что рука? — заорал Колыбзев, выворачивая лицо на купол. — Подышать, что ли, тут!

И все равно уходить из-под обвала нельзя, пока не освобожден Азоркин.

Михаил не помнил, как дорылся до чистой, как стекло, почвы, до монолитного края коржа породы, под которым была рука Азоркина. Успел удивиться, что часы как бы перерезаны краем коржа, пополам, и еще тому, почему они не могли вырвать Петра, когда ладони, по сути, уже не было: корж так плотно пригнулся к почве, что в месте зажима руки конец лопаты не подоткнешь.

— Вагу! — Михаил озирался незрячими от пота глазами, понимая, что в эти секунды они одни под нависшей смертью. Колыбаев, стена и ахая, торопливо затесывал конец лесины.

Подвели вагу, да где муравьям опрокинуть ведро с водой! Корж тонн на пятнадцать! Для него вага с Михаилом и Колыбаевым что соломина с двумя муравьями.

— Угнал Валерку! Втроем бы подняли!.. — завопил Колыбаев и на четвереньках попятился к выходу.

— Встань на ноги! — приказал Михаил. И Азоркину: — Потерпи, Петя, потерпи!..

Ухватив кайло, Михаил осаживал им край глыбы и совсем не слышал, как что-то кричал Колыбаев, взмахами рук отчаянно звал взглянуть вверх. Михаил наконец-то взглянул на купол: центр его надыбился, а по краям, по кругу мелко пузырилась порода, пузырьки лопались, рассеиваясь дождем, как бы в последний раз предупреждали: жить хочешь — уходи!

Все это видел и Азоркин. Откидывая ноги и загребая правой рукой, он рвался, бился сильным телом:

— Ми-и-ша-а-а! Не оставляй!..

От этого крика должна бы была содрогнуться гора. Михаилу заморозило спину.

— Бригадир! Бригадир-ир! — позвал он за чем-то.

Колыбаев что-то кричал уже чуть ли не от комбайна, и крик его был обрывист, — уходил.

Взбрасывая ноги, Азоркин наконец утвердил их на корже, подобрался пружинисто и, рванувшись всем телом, откатился клубком от купола. Михаил поймал его за культу ю, не давая встать на ноги, согнувшись, поволок, будто не матерого человека, а тряпку. «Хрип, храп...» — раздался разбежистый треск над головой.

До выхода из лавы оставалось с десяток метров, когда исходящая струя воздуха повернула вспять, в лаву. Лава, как насос, затягивала в себя воздух с обоих выходов, потому что по всей ее длине и ширине шло медленное сплошное опускание кровли, чтобы, набрав мощи, хлопнуть, мгновенно.

Воздух остановился, потом сзади, из лавы, ударило, точно гигантской подушкой, сбilo Михаила с ног, и он уже не помнил, как его, склублившегося с Азоркиным, лава словно выплнула в штрек.

Лава «села по-черному».

Михаил, должно быть, какие-то секунды был в забытьи, но культы Азоркина не выпустил — так сжал, чтобы сдержать кровь, что пальцы остенели. Азоркин был в сознании, зябко постукивал зубами и слабел. Михаил привалил его спиной к борту выработки и сам опустился рядом.

— Жив-вые, Пе-тя, — с перехватом дыхания прохрипел он. В ушах бухало и звенело, во рту и в горле все было перекалено, а кожу спины будто каленым жгло — так болела рана.

Первым прибежал Колыбаев. Шаркнулся перед ними на колени в толчею штабы.

— Живые!..

Забегал глазами • по густо измазанному в дегтярно-черное — кровь с пылью — Михаилу и Азоркину.

— Банты! Давайте банты!

Штрек наполнялся людьми.

— Где медсестра? Медсестра где-е? — слезно требовал горный мастер Борис Черняев.

— Да вон скребется!..

— Жгут! А обработку — на-гора! — распорядилась медсестра Таня, и приблизила лицо к Михаилу. — Свешнев, опять ты?

— Я, Таня, — виновато улыбнулся глазами. — Везет!

— Ну, отпускаяй. Отпускаяй же!

Михаил хотел отпустить культу, но рука его не слушалась, была бесчувственна и тяжела. Ему стали разжимать пальцы, они вроде бы обламывались по одному."

( — Сила-то нечеловеческая. J

- — Ну\*

— Так не у каждого хватит.\*.

Черняев, согнувшись, сморкался в полу спецовки.

• — Лава — по-черному! Ну и хрен с ней! — Ударил каской оземь. — Не-ет, ты посмотри! — Он нервно смеялся. — Поглядеть, так вроде и пару не хватит спичку потушить. А тут силу нечеловеческую проявил!

Черняев вытянул свою руку, медленно сжимая пальцы в кулак. Носик у Черняева утиный, губы припухлые, лицо маленькое, бритвы толком не знало. И трогателен, и глуповат был он в своей горячности: у него в смене несчастье, комбайн, с конвейером завалило, уж наверняка добра ему ждать нечего, а он, восхищение высказывает...

Азоркина унесла, и Таня принялась за Михаила. Подоспели горноспасатели — свежие мужики с блестящими кислородными баллонами за плечами. Встречные их оповестили, что работы для них нет, но они не вернулись — совестно быть непричастными в таком деле.

— Газа нет? — спросил старший, чтобы не показаться праздным.

— Нету, — сердито ответил Черняев и, хлопнув себя по спецовке, выбил пыль, которая стала медленно смещаться. — Не видишь, через завал протягивает?

Горноспасатели не уходили, шарили глазами, переговаривались полусшепотом:

— Это какой из них?..

— А вон, которому рану на спине обрабатывают.

• — Да это же Свешнев! Я знаю его!

— Геройство проявил, не он бы:..

«Да какое к черту геройство!» — хотел возразить, урезонить их Михаил, думая о себе как о постороннем. А сам чувствовал, вернее, не чувствовал (ибо чувства из него как бы постепенно вытекли), а осознавал себя вовсе не здесь, но где-то там, на-гора, — дома или скорее всего под Елью с Изгибом По-лебяжьи, где, уткнувшись лицом в палую хвою, страдает и празднует свое и чужое спасение совсем другой Михаил, а этот, который был со страхом и болью, вышел из него, отделился. Этот же Михаил жизни не чувствовал: повались сейчас этот штрек, и то не кинулся бы кто-то спасать, и сам не стал бы спасаться...

— Немножко больно будет, потерпи, Миша, — ворковала над ним Таня.

— Да не больно мне...

— Правда, железо... — бормотала Таня, опоясывая тора Михаила бинтами.

— Таня, ты не знаешь... Он в шоке. Мы все в шоке... — тряс головой Черняев, наморщив, будто от боли, лицо. Он пытался помогать Тане, но только повторял руками ее движения. — Гордиться после будешь, внукам рассказывать! — Черняев был в том возрасте, когда эмоции довлеют над рассудком, — в возрасте, когда чаще, чем з других

возрастах, человеку открываются истины и дела\*ются им заблуждения. — Михаил Семенович! — Черняев обеими руками ухватился за Михаила. — Дядя Миша... — голос его дрогнул и осекся. — Давайте оденемся, дядя Миша...

Черняев сбросил с себя куртку, оставшись сам в затерханном свитере, опухнул Михаила, пытаясь, как малому дитю, засовывать руки в рукава, но тот молча отстранил его, оделся сам и застегнулся на все пуговицы.

Таня поднялась, поправила под каской волосы, склонилась к Михаилу.

— Как чувствуешь себя, Михаил Семенович?

— Ничего, спасибо.

— «Скорая» будет ждать, без прозожатых его не отпускайте, — наказала Черняеву.

Еще издали неуместно запахло одеколоном и той свежестью необношенной спецовки, по которой заранее можно угадать шахтовое начальство.

Обычно в таких случаях начинается спешное «замазывание грехов». Пока начальство пройдет до забоя каких-нибудь сотню метров, шахтеры успевают «залезать» все нарушения по технике безопасности: и недостающую рудостойку подбить, и резиновые перчатки для комбайнера вырыть откуда-то из штабы, и крепежный материал с пути-дорожки прибрать (не дай бог, запнется кто), и таз метан замерить, и в куртку поодеться, на все пуговицы застегнуться — голыми работать не положено...

Так было всегда, а сегодня ждали спокойно и отупело, с тем безразличием, когда, что ни делай, все зряшно: ни себя не утешить, ни других. Электрические кабели, видно, сдернуло обвалом с подо:---:---, сбросило на почву, а это грубое нарушение, если кабели не подвешены. Но ни Черняев, ни Кслыбаев и пальцем не пои"вельнули. Колыбаев не то что куртку, далее майку не надел. Сидел, будто неощуренная чурка: грязь засохла на нем, в серую кору превратилась.

Намного опередив директорскую свиту, прибежал инженер по технике безопасности Комарец Максим Макарович с длинным прозвищем Свою-Вину-Знаешь. Комарца шахтеры не то чтобы побаивались, просто встречаться с ним в забое никто не"желал — не было случая, чтобы тот побывал в забое и\*«по карману не стукнул» кого-нибудь. Ходил Комарец сутулясь, но голову держал прямо, отчего шея у него была вроде надломлена. Глаза черные, приученные к строгости и вечному недовольству. Весь его вид выражал, что в своей жизни он не допустил ни одной оплошности, а все кругом только и делают, что нарушают технику безопасности с одной целью — навредить ему лично.

Когда Комарец вступал в разговор, то первыми его словами были: «Свою вину знаешь?» По-

том тщательно разъяснял, в чем вина, и тут же делал вывод о наказании. Рассказывали, что Комарца не однажды разбирали на партийных собраниях за дурной подход к делу. Правда и то, что почти все его наказания пересматривал директор шахты Комаров, отчего имел неприятности от горной инспекции, и все хотел заменить Комарца, но на этот пост никто не желал заступать.

На этот раз Комарец тоже не изменил себе: провихлял на кривых ногах так стремительно, будто собирался проникнуть через завал в лаву. У завала как-то дернулся, отпрыгнул назад.

— Ага!—сказал, будто решил что-то очень важное. — Значит, так... — Потоптался бойцовским петухом, озирая понуро сидящих, остановил взгляд на Михаиле, спросил:—Свою вину знаешь, Свешнев? Михаил молчал.

— Хо-рошо,— протянул Комарец,— скажи, Свешнев, зачем ты вчерашней ночью задержался в шахте на два часа?

Михаил не мог и не хотел слушать Комарца, весь был в себе, страшно хотелось пить, но спецовки с флягами остались в завале, и он ни у кого не попросил, а теперь и просить было не у кого — не у Комарца же. Михаил видел новенькую, без вмятинки, белую флягу в наружном его кармане, она выдупилась на треть, запотев прозрачными капельками.

— Я вас спрашиваю, Свешнев!

Спине делалось все горячей и горячей, но отчего-то клонило в сон, как вчера после смены. «Как же теперь у Азоркина рука?» — и почему-то думал не о культе Азоркина, а о кисти руки, оставшейся в завале под коржом. И вдруг увидел явственно: Черняев встряхивает Комарца за грудки. Затем голова Комарца как-то пружинисто стала отскакивать — и раз, и другой, и третий.

— А вот тебе и ответ!.. Вот! — приговаривал Черняев.

— Да разними ты их, Ефим!— очнулся Михаил.

Колыбаев словно и ждал этого: как сидел, подпрыгнул, рванул Черняева сзади за свитер. Тот, потеряв равновесие, грохнулся на почву. «Что они делают?» — возмутился в душе Улелп.т. :оессиливая вконец и сожалея о тем зл: е; сцену видит Валерка Ковалев.

— Ты что, дядя Ефим? — Валерка стелет; сначала к Черняеву, затем к Колыбаеву. — За что вы его?

— А он за что? — вытаращился Бл.лЛлт

Черняев отирал рукавом струйку креси. что зычернилась из уголка рта, и тут подесдел директор с помощниками, начальство, челсвек десять.

— Вот. — Комарец, как бы приглашая пришедших в свидетели, обеими руками показал на Михаила, потом обратился к Черняеву:—А 'этот — защитник! — еще и набросился при исполнении служебных».

— Обратитесь к медэксперту,— прервал его директор Комаров и понизил голос: — Право ^не до вас сейчас!..

Комиссия столпилась у завала, как будто действительно здесь было на что смотреть, но виднелась лишь крохотная часть завала, ошестинившаяся обломками крепи. Само «место» было метрах в сорока в глубине завала, и, по сути, комиссии делать было нечего. Головкин.бочком от начальства подобрался к Михаилу, скорбно прошептал:

— Как же так, Свешнев?

— Вы лучше меня знаете... — Михаил отвернулся. • \*

Василий Матвеевич отстранился, настороженно косясь на Комарова, и низко склонил голову, выказав рыхлую желтоватую шею. «Жалкий какой...» — подумал Михаил.

— Да вы не горюйте,— проговорил слабо. — Может, еще и обойдется для вас как-то...

А к ним уже подступал Комаров. Михаил видел белесые брови директора, сухое, со впальми щеками лицо и строгие, цвета капусты-ранницы, глаза.

— Воды... дайте, а? Воды.

Черняевская спецовка, не шибко ношенная, скрывала забинтованное тело, а душевное потрясение он старался согнать с лица вовнутрь себя, потому его не поняли сразу.

— Воды,— снова попросил Михаил. — Пить.

— Прости, Михаил Семенович. — Комаров хлопал себя по карманам, крикнул, багровея: — Есть-нет у кого фляга в конце концов?

К нему готовно потянулись руки с фляжками. Михаил взял одну в ладони — овальную, холодной тяжести. «Чего тут пить?..» — подумалось. Чувствовал, что все смотрят на него, а потому не стал показывать своей жадности, выпил всего полфляги. Вода, казалось, до желудка не дошла, высохла где-то в груди, но он отнял горлышко от рта, закрыл аккуратно флягу, протянул хозяину. — Можно я потом что надо скажу, Александр Егорыч?..

— Конечно! Как только почувствуешь себя хорошо, и поговорим. — Комаров окликнул Черняев; распорядился: — Организуй сопровождение Ми...у Семеновичу!—И, сам помогая подняться, наказывал: — Как только будешь чувствовать себя хорошо...

А Михаил почувствовал,— может, потому что утолил жажду,— как стала оживать его душа. Как-то волнами она оживала, охватывая вначале небольшой и близкий круг жизни: вот он дышит, видит, слышит голоса, а потом вознесет его клеть под небо... А там — семья, дом, Ель с Изгибом По-лебяжьи и дальше — весь мир... С живыми и ушедшими... В памяти мертвые наравне с живыми живут. Память жива — и мир жив. Значит, под завалом еще бы раз умерли с ним вместе все догрозие, ушедшие до него. Запоздалый страх души

гнал ознобистую дрожь на тело, но радость перебарывала, и он улыбался так, что по лицу не понять было: то ли он сейчас заплачет, то ли засмеется...

— Ну, теперь жить будешь сто лет, да еще и больше. Смерть, может, метила в тебя, да не попала — в другой раз не захочет с тобой связываться... — басила банщица Дарья Веткина. — Под воду-то не лезь, а то грязь в рану натечет. Сама обмою, не ерепенясь, не стыдись старуху.

Терла ему голову, шершавыми пальцами шмыгала по коже, больно тянула за волосы, рану, оклеенную липучими лентами, обходила мочалкой, тряскала по ребрам козанками:

— Господи, и что за тело: камень камнем, все пальцы побила.

Лицо у Дарьи озабоченно и строго, по-мужичьи большой нос землистый, в каплях пота.

— Азоркина Петра в больницу увезли, — рассказывала.

— Как он? Ты видела?

• — Да как! Боль, знать, страшная.

• — Да... Хоть и живой, а калека теперь...

Дарья перестала двигать руками, затихла, притаив дыхание и вслушиваясь в себя.

— В груди что-то сбилось. — Помолчав, выдохнула: — Счас наладится.

— Да брось ты! — стал уворачиваться от ее рук Михаил. — Сам не помоюсь, что ли? Иди на воздух, в раздевалку.

— Сиди! — Она легонько ткнула его в шею так же, как давно-давно тыкала мать, когда приходил в испластанной одежде со старой, заброшенной скотной базы, где разорял воробьиные гнезда, или вытаскивала из илистых зарослей возле речки Тихонькой, мокрого и озябшего, как лягушонка, по самую макушку заляпанного глиной.

Какой острой обидой отзывался в детской душе тот материнский тычок в шею! Умереть хотелось, да так, чтобы живым остаться, чтобы видеть через полуприкрытые веки, как плачут мать с отцом, как ругает их дед: вот, мол, обижали и дообижались, а как оживет, так чтоб прощения просили. А Миша, весь жалостью пронятый, уже и сам горькими слезами заливался. В воображении с ревом кидался к ним на руки. Вот уж радость-то и взаимное сладкое признание вины и раскаяния! Лазай по деревьям и плетням, хлюпайся в иле, виновато и радостно разрешают родители, а он ни за что не соглашается: и плетня будет сторониться, и на крышу базы не полезет, где в обрешетине крыши сучки как гвозди — так и норвят распороть штаны, и к речке ни ногой, где в ее заводи столько хрупких ракушек можно навываивать в застойной тухлости, или где каждая ивовая ветка плюется белой пенистой слюной, а из-под коряг выглядывают пучеглазые лягушки, которых Миша запрягал в сани из веточек...

4b

Представив себе такое и пережив, Миша через короткое время шел к матери, млея сердцем от любви к ней: «Мамка моя расхорошая, я больше не буду-у». Ручонками обвивал ноги, мешал ей ступать по избе. «Вот и' ладно, ласка моя, каре-глазка. — В то же место, куда подзатыльник пришелся, и нацелует. — Иди играй — некогда мне».

Он выйдет во двор с тихой благостью на душе, с лицом не по-детски серьезным, в сторону речки посмотрит, на скотную базу, нестерпимо зовущую к себе, и потихоньку-помаленьку, оглядываясь — не заметила ли мать, — шмыгнет куда-нибудь, про все забыв. Ищи-свищи его!..

И теперь вот от Дарьиного легкого толчка в шею всколыхнулось все в душе, комком подступило к горлу: нет, не изживается, не вытравляется из нас суровостью жизни, возрастом нужда в трудный час в материнском слове, в прикосновении ее рук к (редкой бедовой голове, только мы нужду эту прячем в себе, храним втуне так, что и забываем, что она есть.

И мать, и банщица Дарья, и покойная теща — как похожи они, ибо у них одна судьба — военная. Они просты и открыты и видом своим совсем не похожи на тех жен и матерей, которые в горе стыдятся заголосить при людях. Эти же матери и поголосили по погибшим, и сухими глаза их помнятся, да и не потому, что сдерживались, — просто выплакали все слезы. Они жили и живут терпением и добротой и тем только счастливы, сами беспомощные в мире, что кто-то принимает от них доброту.

— Все бы вы сами, такие настырные, — экономия силы для работы, приглушенно выговаривала Михаилу Дарья. — Вася мой тоже на себя все брал... Я вот живу, а его косточки истлели.

Хоть и мыла Дарья, но Михаил почувствовал: на старый шрам, что шнуром пророс от плеча по допатке, слезы закапали — ке вода. Не стал утешать словами, знал, что ни к чему сейчас слова.

— АзоркнЕ, бес **Ееггугезкй**, молится пусть теперь на тебя! — заключила.

— Что я — нкоаа? — Ты больше так не говори. — **И чтобы** сбить Дарью с ненужного для него ра; зговора. стгросжл: — Погода как?

— Ч -: д: :г.:э тайфун. Дождь полон, а теперь ветер только. Я тебе плащ дам.

— У ме=я есть.

— ~ \* . . . есть. В больницу повезут?

— Вес, **явкеа**. Не с чем тут в больницу.

! хнн, — напутствовала Дарья. — Такое мело одолел, можно сказать, саму смерть. Для этого силы, может, всю жизнь надо было ко-

Михаил покашлял, не находя, что сказать.

— Ты, тетя Даша, это... картошку одна не копай. Я помогу... — Плечи его ощутили костлявые рута, такие, как родные руки матери, — самые до- :.де **ДЛЯ** него на земле руки.



Года три назад, погожим сентябрем, что-то не захотелось Михаилу после смены мыться — так уж надоело .столько-то лет каждый день кипятком шпариться. Сыновья смеялись: солнышко на ма-, кушке появилось!.. Будет солнышко: поросенка раз кипятком окатят и щетину дергают, а тут каким волосам надо быть, чтобы удержаться!

Сидел в одних трусах, будто боксер после бой, навалившись на спинку лавки, вытянув босые ноги, лениво шелушивал с себя присохший с потом, словно толченное стекло, уголь.

— Чего развалился? Дома нет делов — сидишь! — Банщица Дарья поливала из шланга пол, а он ей мешал.

'Дарья была всегда замкнута в себе,...неразговорчива и только изредка басом ругалась на шахтеров.

— Давай курнем, что ли? — Дарья выключила воду, полой халата вытерла черные с желтым отливом руки и мужское, в трещинах морщин лицо, присела рядом с Михаилом.

— Что-то я не замечал, что куришь. — Михаил встряхнул из пачки две папиросы.

— Не замечал и не надо, — строго сказала Дарья. Сходила, зашелкнула дверь. — Все уже помылись теперь. Ты один остался. — Курю — не курю, это как наплывет. Сегодня вот... — Она покачала головой. По хрящеватому носу потекли слезинки. — Так бы и взялась, улетела куда... А чего? Ничего меня не держит — \*могилка одна во всем свете.-

Михаил не помнил, сколько лет была на глазах Дарья. Провожает и встречает из шахты. Привыкли к ней, как привыкли к вешалкам, к толстым деревянным лавкам, что стоят в три ряда, к сыроватому банному запаху. Что там ни делайся, ни случайся, а все это было и будет, как незначительное, но необходимое. И не думалось никогда про Дарьину жизнь, про ее какой-то дом, семью, заботы...

Дарья склонилась, прижала к лину полот сорого халата, и он увидел ее затылок с жиденькими волосишками, тонкую жилистую шею с ложбинкой. Столько беспомощного было в зтыке, в тшедушной шее, в просвечивающей редкие волосы синеватой коже затылка, что Михаила пронзила всего неожиданная болючая жалость,

— Ну ладно, тетя Даша... — неумело утешал ее он. — Чего ты?

— А ничего, Мишенька. — Дарья подняла лицо. Глаза у нее ^ыли сухие и тяжелые от не известной Михаилу тоски-горя. — День у меня сегодня поминальный. Васю моего в этот день убила Совсем убило. И давно уж.

Она в упор поглядела на него, и ему стало совсем не по себе: из запавших глазниц темнели две лужицы, и в них уже не тоска была, а откуда-то

из самой глубины возникала, шевелилась жуками-плавунцами улыбка. -

— Василий Веткин. Неужто не слышал? У-у, имя его славным было не только на «Глубокой». Кто на войне героем сделался, а Вася мой — тут!

Дарья жесткими, как сухие хворостинки, пальцами пробежалась по шраму, пролегшему тугим жгутом через лопатку Михаила, посочувствовала:

— Обижает вас Яшка-то, миленьких.

— Бывает изредка. — И спохватился. — А ты-то откуда про Яшку?..

— Знаю, Миша, все знаю. Я ведь в забое работала...

Сам крепкий телом смолоду, Михаил знал, что такое тонна — а в забоях другого веса нет. Лопату угля зачерпнул, кинул десять — двенадцать килограммов, а за смену-то не одну тысячу лопат, бывало, перекинешь, да лесу переворочаешь, да железа. Поту выльешь из себя ведро и столько же воды выпьешь. Не будешь пить — сгоришь. Теперь комбайны, и то, бывает, усадишь себя за смену — кость гудит. А тогда, помнилось Михаилу, до постели кое-как добирался и опал, почти от смены до смены. Кто й не выдерживал: гори она, дескать, огнем, шахта, — дело темное, без окон и дверей удушистая потогоина' и драчунья, чуть что — по горбу бьет да по наске. Такое бывало в Михайлове' раннее время, а в войну, как слышал от Деда Андрея, зачастую уголь с кровью брали и доту побольше лили, потому что воздух нечем было подать, остудить тело изнутри и снаружи, и лопатами почаше шуровали, и желудок был пустой... Это как же в забое бабе-то? Михаил даже представить себе не мог бабу-забойщицу, чтоб она почти Пудовой кувалдой подбивала рудстойки, бурила двухпудовым электросверлом шпурь, таскала бревна, от которых у мужики-то втри погибели гнутсы. Да еще с длинными волосами? И не раздется ей\_по пояс наголо. Это же черт знает!..

й— Как же ты в забое-то?

— Э-э, Мишенька, еще как п работала! — Дарья отбросила окуроч. — Призыв был в войну в газетах пропечатан, дескать, девушки — в забой. Я тогда в шахте под насыпкой вагоны катала. Это теперь мужик-насыпщик в двух ватниках мерзнет — все механизмы делают, а тогда-то плечом тт. — : г- глазах муть, а вагон ни с места. Вася :: а: та т; :- а забой. Говорит, и заработок побольше, и паек, и я, мол, тебя жалеть буду. Ну, и нагз-гатеемая з забое-то: молодые, а веришь — нет, по месяцу друг друга по ночам не знали.- Сам он мне и косу обрезал. Коса-то была золотистая, толще руки. Ничего, говорит, Дашенька, восстановится после войны. На стенку повесил, гладит, а у самого глаза на мокром месте.-

Дарья лицо опять в полу халата уронила. И снова перед глазами Михаила был ее затылок с ошипком волос. «А ведь молодая была и, может быть, красивая», — думал Михаил и попытался в

воображении представить Дарью молодой и красивой, но не мог: казалось, что она всю жизнь была такой же, как теперь.

— Что ж, тетя Даша, — дрогнувшим голосом сказал Михаил. — Теперь о детях да внуках думать надо...

— Надо бы, — согласилась она, — да где их взять? Вы у меня и дети, и все тут. Дава^ка еще по одной. Обнаглела я сегодня совсем: смолу чужое да тебя держу. Тебе и домой, поди, охота, и под солнышко. Вон как оно играет под вечер-то, — показала на окно, где рябило через крону акации солнце. — А для шахтера солнышко-то — милое дело!

Михаилу и вправду уже было пора. Пока помоешься, туда-сюда — и темень, а утром под землю. Так вот и бывает иной раз: то пасмурно, то еще что, за неделю раза два увидишь солнце на коротке — здравствуй да прощай. Теперь уж дома быть бы, пообедать да сидеть в саду под кустом крыжовника, обирать ягоды — милое дело. Валентина рядом, сыновья...

Он задумался, а Дарья тоже думала о своем, кивала головой.

— Так, значит, нету детей-то? Это плохо, — сказал Михаил осуждающе, но почти не задумываясь о сказанном,

Дарья дернулась, но позы не изменила, так же твердо глядела перед\* собой. И тут только дошло до Михаила, что он сморозил.

— Прости, тетя Даша, дурака. Ну... это... ляпнул я...

— Погиб Вася, цветок мой, в день нынешний, — вроде не слыша его, забасила Дарья. — А дети... Какие дети? Надорвалась я вся... Не успелось, не довелось, Мишенька, не ругай меня! А Вася жалел, всю тяжесть основную на себя клал, за комель лесину брать не велел, а куда денешься, коль взялся за гуж? А угля сколь ни дай, все мало — война сжирала!.. — Дарья говорила торопливо, вроде оправдываясь перед Михаилом и боясь, что не захочет ее дослушать. — Ты, говорит, идц, глинки на пыжи принеси, пока я^забурю. Пошла, а в сердце как ударит!-Бегу с глиной, а штрек тесный, душный, то плечом зацеплюсь, то головой...» Прибегаю, а он уж. Васенька мой, и готов. И глыбка небольпв- вывалилась, да, видно, устал шибко, не успел увернуться. Торопились все, не успевали закрепить забой хорошо. Да и чем было крепить, лесу не хватало

Она плотно сжала куцые реснички, и на них повисли слезинки, подрожали искринками, отразив в себе закатное солнце, узким лучиком пробившееся в предбанник, и сорвались.

— Разнюнилась-то, господи. — Дарья часто моргала, сгоняя слезы с покрасневшихся^глаз, и слезы не стекали с лица, терялись в м: г. морщинах, как в трухлявом куске дерева. — Чес: бы уж теперь — все в даль укатилось как:-:

привыкнуть бы надо... Памятник погибшим на войне шахта выставила в сквере. Отчего же, Миша, в шахте polegшим рядом бы не поставить? — вопросила осторожно.

— Так чего равнять? Здесь дома хоронили, с почестями, а от тех, может, **Одна** неизвестность осталась. Моей жены отец где-то на Дунае погиб. И не схоронен, поди. Теща живая **была**, все ехать, порывалась. А зачем ехать? На **берегу** Дуная постоять?

— Верно, ведно, Миша, — согласилась Дарья. — Тут прийти, вспомануть есть куда. Верно говоришь...

Помолчали. Тихо было, будто и не на шахте, а где-нибудь в лесной сторожке. Только в душевой вроде кто тайком всхлипывал.

Михаил представил себя на месте Дарьи: сидеть здесь одному с такими думами — **это же** невыносимо! Вот он — сколько **ни сиди**, а все равно уйдет, а она останется, и ничего не изменится.

— Памятник-то весь сгнил, ржа съела. Око-мелочек остался, — говорила вроде **сама** с собой Дарья. — Говорю, тридцать лет **уж..**, Памятник хоть из железа шахта ставила, а ржой побило.

— Обновить надо. Теперь это не сложно: в мехцехе сварят.

— Надо бы, — как-то безразлично согласилась Дарья. — А седой ты, Миша, прямо белый весь. Думаешь, что ли, много?

— Кто его знает. Вроде бы и не с чего сесть...

— Кто жив остался из тыловиков, всех карточки в.\* клубе вывесили, — снова повернула Дарья на свое. — Дескать, победу ковали. Да мало, их осталось, кто ковал-то, — выложились до срока, а остались, так еле. огузки тянут. Загребин Ванька там висит, тоже ковал. Пошто так-то, Миша?

— Наверно, и такие нужны.

— Да ты^почему говоришь-то так? — взняла голос Дарья. — Сам **не веришь в это**, а говоришь... Зачем он нужен, Загребин-то? Моя бы воля, так бы и спросила: зачем на земле живешь, **как** хлеб ешь и **не давишься им?..** Он, **этот** шахтер, тяжелее куска **хлеба** не подымал!..

— Не **надо**, тетя Даша, про Загребина. Ну его к лешему! Ты лучше скажи, где твой Василий схоронен? На старом или новом кладбище?

— На старом, Миша, на старом. И местечко хорошее: над оврагом. Липки кругом, елки. Покойное местечко.

Дарья только что была собранная какая-то, вся воинственная, а тут сразу обмякла, вроде даже обвисла, обветшала.

— Это хорошо — на старом, близко. Сделаю я памятник/В отпуск скоро пойду и сделаю. Из старого рештака сварю.

— Ну, спасибо. А то я было загоревала...

С шахты он тогда шел домой, а **уж на востоке было** пасмурно, но с полнеба к западу **Густо синело**. Синева переходила в зеленоватую белесость и

окуналась в жар зари. Пирамидальные тополя раз-  
линовали зарю — прямо тигр на детской картинке,  
а не заря. •

...Памятник Василию Веткину Михаил сделал  
через месяц, в октябре. Устанавливать позвал  
Дарью.

Старый памятник был, видно, наспех клепан и  
с экономией кровельной жести — должно, не до  
памятников в войну было и теперь походил на ис-  
точенный капустный лист: весь в дырках да в про-  
режинах, считай, на одной краске держался. Ми-  
хаил руками его смял, как картон, хотел в овраг  
выбросить, но не решился — кошунственным пока-  
залось забрасывать старый памятник, как старое  
ведро.

— Я его под новый зарю,— сказал. — Новому  
будет тверже стоять.

— Делай как знаешь,— согласилась Дарья.

Пока он работал, она все стояла, сложив руки  
под грудь, смотрела на разворошенный холмик  
таким нездешним глубоким взглядом, словно че-  
рез землю видела своего Василия.

— Ну, вот и все,— сказал он, закончив рабо-  
ту.— А теперь давай помянем. Садись, тетя  
Даша.

Михаил вынул из сумки бутылку вина, яблок  
и налил ей в кружку.

— А себе?

— Я из горлышка. Всю жизнь из фляжки пью.  
Даже вкусней вода кажется — из горлышка. Ну,  
светлая память и во веки веков!

Он сделал большой глоток, Дарья тоже отпи-  
ла, а остальное вылила на могилу.

— Вот,— сказал, опускаясь на место,— память  
о Василии Корнеиче Веткине еще увеличилась:  
теперь я буду знать о нем. \*

Они сидели, осененные текучей черемуховой  
кроной, и долго молчали. И предвечерний теплый  
солнечный октябрь молчал — такой октябрь, ка-  
кого не бывает ни в одном краю России. Клены —  
от темно-свекольного цвета до карминных: аз-  
чайшей, от темно-бордового до амагантового дао-ка-  
ра, и чистой промытой желтизны березы и едины,  
и темные ели, таящие в себе синеватый : ". :  
а по всему этому сумасшествию красок — багря-  
ные чепраки виноградника и лимонника. И тигдя-  
на такая, какая только в этом краю може: быт, з  
октябре, когда нет никакого течения воздуха день  
; два, неделю, а только солнце, солнце, солнце

А со впаянной в памятник фотографин безмя-  
тежно глядел молодой волноволосый па-. —  
Василий Веткин, такой молодой, что п сам Ми-  
хаил был в сравнении с ним стариком, а уж  
Дарья...

Михаил искоса поглядел на Дарью и вдруг по-  
разился: не может быть, чтоб этот парень был му-  
жем ей, этой ведьмастого, размушпчего вида ста-  
рухе! «Васенька мой, цветочек...» И знал, что не  
сын он ей, а муж, но сердцем не мог признать та-

кой нелепости. Понимал, что жизнь увела Дарью  
от молодого Василия в старость, и, может быть,  
оттого она так выстарела в свои не так уж и боль-  
шие годы, что не вела ее жизнь, а волоком тянула  
от той черты, за которой остался^ее муж, ее сча-  
стье.

«Вот поставил памятник, а что в нем толку?» —  
повлекло Михайловы мысли в сторону.

Дарья наломала разноцветных веток и сидела,  
раскинув худые ноги, плела венок. Лицо ее было  
печальным и просветленным. «Зачем она? — Ми-  
хаил представил венок дня через три в виде голого  
хвороста и грустно усмехнулся. — Разошелся, ел-  
ки-палки, в думах-то. Вечность мне подавай!  
А Дарья думает ли о вечности? ..Новый отливаю-  
щий небесной краской памятник, венок-однодНе-  
вок — вот и умиротворилось ее сердце, полно го-  
рестной благодати».

Солнце зависло над западной клешней залива,  
осветив и без того озаренную неземными октябрь-  
скими красками землю. Тени вытемнились, и  
Дарьяна склоненная над могилой фигура, подспе-  
ченная с невидимой Михаилу стороны, была кон-  
турна и темна. Кладбище опускалось окатистьш  
полукружьем вниз, и потому казалось, будто<sup>4</sup>,,  
Дарья осеняет своим наклоном весь покойный го-  
родок. «При чем тут эти сварные железяки? —  
подумал Михаил. — Вот она жива, и память жива.  
Это мы, мудрецы, додумались помнить кого надо...  
А мать-природа всех помнит: и великих, и ма-  
лых...»

Уже слабая заря таяла, когда Михаил позвал  
Дарью домой. Она все обихаживала холмик, а по-  
том выпрямилась на фоне зари, черная и боль-  
шая — в полнеба.

...По весне Михаил с Олегом домишко Дарьи  
перетрясли: поменяли гнилые венцы, крохотные  
оконца расширили, с крыши черной рубероид сод-  
рали, шифер настелили. Завеселел домишко! То  
под темным охлупнем мокрой курицей сидел, а тут  
таким жшым соколом на некрутом склоне сопки  
выставился! И считай, со Свешкевыми рядом:  
всего и отделяла сопочная хребтина, поднимешь-  
ся на нее---и вот тебе Дарьин дом.

Дарья не знала, чем угостить работников. Кру-  
чинилась: чем расчет держать, денег не нарабо-  
тала.

— Как проживешь сто годов да еще десять,  
тогда н начнем взыскивать,— шутил Михаил. —  
дала—г ста. десяти не живи,— предупреждал,—  
Обдерем как липку!

Все думал о случайности: не задержись он тог-  
да з раздевалке, не подойди к нему Дарья — так  
бы остались разделенные не только хребтиной соп-  
ки. Чувствовал, что с заботами о Дарье жизнь его  
вроде бы вздоржала. Да и Дарья, видел, отмяк-  
ла, ожила — материнское-то, должно, никаким  
пеклом одиночества не засушить, никакому време-  
ни не выветрить,

Василий Головкин втайне мечтал о славе композитора. Но отец властной рукой указал дорогу в горный институт: иди и не оглядывайся! Решение отца, управляющего трестом шахт «Горскуголь», было не только властным, но и неожиданным, и этим Василий, человек по натуре слабый, не в мать и не в отца, был как бы лишен самого себя. Мать, преподавательница музыкальной школы, долго не могла смириться с «банальностью» ожидавшей сына жизни и трагическим голосом выговаривала мужу, но тот только раз выразительно посмотрел на нее: «Чушь все это!»

Родители не открывали детям свою прошлую жизнь, но всякая тайна все равно когда-нибудь становится явью. Бывало, в своей комнате схватятся в ссоре, а маленький Вася под дверью Обмирает от любопытства и страха. «Трактирный лакей!» кричала мать. «О-о-о, госпожа горничная», — язвил отец.

Мало-помалу он узнал, что отец был сыном приказчика, но умудрился закончить рабфаки горный институт, а мать прежде «служила в лучших домах», а теперь, как она любила говорить, «стоит у отца в услужении».

В горном институте Василий выглядел степенней своих ровесников: одевался по сезону, тогда как другие и одного-то доброго костюма не имели, все больше в гимнастерках отцовских или своих, на войне нажитых; в студенческих компаниях не участвовал, тяготясь панибратством и втайне гордясь своим превосходством: знания у него в самом деле были шире и основательнее, чем у многих других. Да и сокурсники его сторонились: вроде бы ясен парень, но чем-то и загадочен, не такой, как все, — личность. И лишь Александр Комаров этой личности не почитал. Сам длинный, худой, кость да жилы, в ватнике, в одних несменных штанах, в шапочке из кошки, на ногах кирзачи, он поначалу Головкина вроде бы не замечал.

К Комарову раза два за зиму приезжал с какого-то разъезда отец, маленький и быстрый человек, с остроносым лицом, заросшим светлой щетиной до самых глаз, которые посверкивали весело и остро. Он привозил в мешке круг-два мороженого молока, сухой и свежей картошки, а бывало, и туесок капусты. Садился на полу поближе к дверям, ловко скручивал черными, плохо гнущимися пальцами сигарку. Намороженный его полшубок оттаивал в тепле, наполняя студенческую комнату запахом керосина и навоза.

— Ешь, Александр, наводи тело, — обласкивал гордым взглядом сына. — Таку науку одолеть! Ой-е-ей! Это тебе не кнутом коров охлестывать... Мы ведь, Комаровы, — обращался он к Василию Головкину, — сколь помним себя, все скотники. А тут вот, — он протягивал в сторону сына скрюченную ладонь, похожую на дубовый ковш, — бог

создал головешку золоту на всю родову. Он, бог-то, не Тимоха, знает, кому плохо!

А «головешка золотая», чему-то радуясь, менял истлевшие портянки на новые из какой-то серой, гремучей, как жезл, ткани, привезенной отцом.

— Добро онучки-то, — удовлетворенно говорил отец. — Нога в тепле, и телу баско! А молочко снятое, сынок. Не забидься. Маслица все с матерью колобобим на продажу. Огольцов-то одевать-обувать надо. Мда... И дай-ка я тебе сапоги почию.

Доставал из мешка дратву, шило, свиную щетину, лоскутки кожи от старой обуви и латал сапоги сына в каждый приезд все пять лет.

Головкину было жалко Комаровых в их бедности, жалкими они казались ему и в своей радости — от новых портянок или ситцевой рубашки, которую потом носил Александр, не меняя, пока не сползала с плеча от долгих стирок и износа, и в своей гордости: столько поколений скотников одного в горный институт выдвинуло! Удивляло и то, что Комаров не стеснялся бедности, более того, не замечал ее, вроде бы даже нарочно, как в укор всем, показывал себя, и тогда мимолетная жалость к нему сменялась неприязнью.

— Комаров, — сказал как-то, — ты необдуманно землю бросил.. Но уж коль так случилось, то нужно было идти на шахту рабочим, и только детям твоим — дорога в горный институт! Понимаешь? Нужна переходная социальная база.

Комаров долго и пронзительно глядел в глаза Головкину.

— Это для моего отца ты сокол, а для меня — сова. Отец по жилетке да по холеной роже привык людей ценить, а я-то уже не-ет!.. Не признаю неравенства по штанам. — И подергал Василия за пблу. — Хотя, что скрывать, вот такой костюмчик поносить не отказался бы!..

— Да я же тебе добра желаю, — сникал отчего-то Головкин.

— Ты — добра?! Не-ет. Ты стыдишься и, по моему, боишься меня. Ты думаешь, мы в деревне из-за лени ремни потуже затягиваем... Не понимаешь? Или не хочешь понять? Ты в туфлях-габардинах, а я — вот... — потрянул перед Василием своей одежкой. — Но ты не за меня — за себя стыдись, Василий, если совесть есть. А бояться можешь, это я тебе разрешаю!-

Почти ничего не понял Головкин: почему он должен за себя стыдиться? Но после того разговора стал как-то больше задумываться и о себе, и о Комарове, о многом.

«Ведь, кроме моей жизни, есть еще какая-то другая, не понятная мне, из которой пришли Комаров и другие, похожие на Комарова. Там же, в народе, песенные истоки, а я композитор в конце концов».

Решение поехать в деревню после весенней сессии принял тайно от всех. В душе он был горд за себя, потому что из-за этого надо было идти на

кое-какие жертвы. О господи, да разве не таков был-путь великих музыкантов!.. Написал родителям, что задержится на недельку-другую, а пока чтобы Кузьма, личный шофер отца, отремонтировал мотоцикл и наладил удочки. На карте выбрал наугад станцию с длинным названием: «До нее доеду, а потом — до ближайшей деревни». Но «в народ» Головкин попал сразу на вокзале, намяв бока и взмокнув, удостоверился, что купейных мест нет и не предвидится.

В духоте и грязи общего вагона ехал день да еще ночь, ему почему-то обязательно нужно было проехать до намеченной станции. Всю ночь до восхода простоял в тамбуре, так как вагон был плотно забит табачным дымом, сдобренным запахом пота от разомлевших тел и портяночной тухлости.

На восходе Василий в станционном буфете выпил чаю и по пыльной улочке районного села вышел на дорогу, ощущая давящую тошноту и угарный шум в голове. Миновав кладбище, по-степному голое и неогороженное, сошел на обочину и присел, еще бодрясь и в душе гордясь собой, однако уже догадываясь о всей нелепости своего положения: «Зачем это я? Какой народ? Какие песни? Выспаться бы...»

Он и вправду стал клевать носом, а когда вскинул голову, увидел стоявшего рядом парня, босого, с мешочком в руке, скуластого, с заметно удлиненными глазами, похожего на монгола.

— А я гляжу: не захворал ли человек...

Голос у парня был глухой, мягкий, толстоватые губы расплзались в той улыбке, в которой и простота и смущение, но Василий увидел в ней глупость: «Вот он в чистом виде, Иванушка-дурачок...»

• — До деревни далеко?

— А вам куда? До Чумаковки или Чистоозерной?

\* — Куда ближе, — ответил, поднимаясь.

— А-а, тогда к нам. — Парень поглядывал на Головкина искоса, с интересом. — Случаем не по налогам?

— Нет, не по налогам, я... — Василий чуть поднажал, выдохнул: — Я композитор.

Парень весь как-то вскинулся, *t*

— Да ну-у!

«Понимает!..» — поразился Головкин, и тут же душа его погрузилась во что-то стыдливое и сладостное: самому себе еще так открыто не признавался, а тут вот испробовал ее, будущую свою славу, хоть и в глухомани степной и на каком-то оборвыше, а все равно...

— Мелодии народные у вас буду s:::;:x:::.. песни... Как у вас, поют?

— Пою-ют — ответил парень неопределенно — Говорят, за песнями-то в Москву ездят?

— Бывает и наоборот, — ответил Головкин без вызова и ловко переменял разговор: — В район зачем ходил?

— На комиссию. Осенью в армию берут.

Головкину захотелось узнать имя парнишки — узнать и запомнить, как некий рубеж в своей жизни.

— Я-то? Свешнев. Мишка я. А вас как? Нам радио провести сулили. А то это:, слушать будем, а кого?.. — сбирчиво говорил Михаил.

— Василием Матвеевичем меня зовут. — Фамилию не назвал, будто не понял вопроса.

Они прошли небольшой, знобящий утренней свежестью лесок, и сразу открылась глазам увалистая даль с островками березняков, и все поля, поля да степи. Дорога перепоясывала увалы, скрывалась в лощинах и темной волосинкой вилась у слияния неба с землей.

— Вон и наш транспорт, — показал Михаил: там, впереди, мухой ползла подвода. — Поднажать надо! — И пошел отмерять емким шагом, а Василий глядел на его шишкастые шиколотки, задубелые пятки и снова ругнул себя: «Какого черта!»

Через полчаса они настигли большой фургон, который тянула пара мосластых быков. На передке виделась спина возницы, обтянутая гимнастеркой, до того пропитанной потом и грязью, что она лоснилась и казалась мокрой; на голове у возницы то ли шапка, то ли кусок рукава от ватника — что-то плоское и изодранное.

— Здравствуй, дядя Трофим, — поздоровался Михаил. — Я так и думал, что ты.

— Я-я... — протянул тот и кивнул на ящик-кузов: дескать, садитесь и отвернулся.

Они влезли, Головкин не знал, как сесть, чтобы не зазеленить костюм о жмых, но Михаил подстелил ему свою телогрейку.

— **Композитор**, дядя Троша. Композитор к нам... Вот! А ты его везешь! — Михаил как бы приглашал Трофима разделить с ним удивление.

Мужик вяловато обернулся, показал заросшее черной щетиной лицо, водянистыми глазами изпод опухших век поглядел на Головкина, перестал обсасывать обмылок подсолнечного жмыха.

— Этот, — наконец сказал Трофим, ткнув в сторону Головкина кнутовищем. — На войне видал. Такой же вылупасный на железной дудке дудел... — И отвернулся.

Скрипел фургон, быки шагали так, что колеса поворачивались, наверное, медленнее, чем секундная стрелка, Головкин глядел вдаль, и ему казалось, что и жизнь и время остановились.

— Ешьте **жмых**, — наконец сказал Трофим.

Но Михаил уже давно точил **крепкими широкими зубами** кусок жмыха.

— Два ордена Славы, — пережевывая, кивал Михаил на Трофима, — медалей штук пять... Здорово парень воевал!..

— Какой же он парень? — машинально возразил Головкин.

— Хо! Да ему сорока нету!.. Это зарос да оголодал,

Ручей в лошине блеснул, к дороге выбежал, и возница остановил быков, припал к ручью и пил, пил жадно и долго.

— От жмыха,— пояснил Михаил. — Сухой жмых-жажду дает.

Монотонно скрипел фургон, глухо стучали ступицы, и Головкин задремал.

В деревню въехали далеко за полдень. Солнце уже скосилось, отчего небольшие бревенчатые дома с запада зарозовели, а гусиная трава, которой густо поросла улица, была зеленой до темноты. И пусто было в деревне: ни людей, ни кур, никакой живности, даже ребятешек не было видно.

— Правление там,— спрыгнув с фургона, махнул рукой Михаил.

— Нет, нет, ты уж меня не бросай!.. — Головкин заспешил, перевалился через край с телеги.

Михаил завел Головкина в ограду, пустую и чистую, только в дальнем углу, у плетня, была поленица дров, на кольях висели четыре щербатые кринки да чуть правее — веревка с петлей и трава, перетоптанная с навозом,— место привязи коровы. Дверь в сенцы была закрыта на щеколду, а вместо замка — хворостинка.

— Трудятся,— улыбнулся Михаил и крикнул через плетень в огород: — Петька! Нюрка!

И только тут Головкин увидел две белые макушки, уткнувшиеся в грядки. Ребятишки выпрямились, из-под ладоней поглядели на пришедших, а потом друг за другом двинулись к дому. Подошли босые, с оттопыренными на больших животах рубашонками, опасливо покосились на Головкина.

— Не бойтесь,— ободрил их Михаил. — Полюди?

Дети дружно кивнули и уставились на руки брата, которые развязывали мешок. Михаил, засунув руку в мешок, отломил корку хлеба, подал старшей девочке.

— На двоих.

Головкин наблюдал за детьми, но как-то не заметил, когда они разделили и съели хлеб и опять уставились на мешок.

— Хватит,— строго сказал Михаил и стал оглядываться. — Где все?

— Тятя с Гришкой и Ванькой на силосной яме, а мама на дойке.

Михаил провел Головкина в дом. Большая русская печь зевасто открыла на него черный рот. От печи под потолком — полати, рядом две длинные лавки, стол из толстых, выструганных до белизны досок с ножками-крестовинами да шкаф с тремя полками, на которых лежали вперемежку глиняные и оловянные миски, ложки деревянные, пара стаканов и еще какая-то немудреная утварь. Михаил провел гостя за дощатую перегородку в горницу:

— Вот тут побудьте. А я сейчас.

Горница и вовсе была пуста. Окна без занавесок, в углу рыжеватый в полоску сундук, голый стол, две табуретки, лавка вдоль стены и полка-угольник, на которой лежали стопки истрепанных учебников, самодельные тетради и, что поразило Головкина, «Хаджи-Мурат» Толстого. Василий взял книгу, не раскрывая, держал ее, чувствуя с чьей какое-то родство, и, глядя в окно на закатное солнце, в который раз подумал: «Зачем я здесь?» За огородом начиналось поле, то ли пшеничное, то ли ржаное. Василий не только издали, но и вплотную не узнал бы, что там росло, одно знал — хлеб. Он с щемящей тоской подумал о том, что уже сегодня был бы в Горске, в уютном доме, в своей комнате, где широкий диван, ковер над ним, кресло, библиотека, настольная лампа... Представлял приход матери с работы и то, как она, напоцеловав его, первым делом стала бы совать ему в руки скрипку с неизменными словами: «На-ка, нужен постоянный тренаж! Иначе все на ветер! Все в прах!» Затем перешли бы в гостиную, и «сестра Таня села бы за пианино, а позже приехал бы с работы отец и за ужином стал бы спрашивать его о делах. Почти всегда было так в приезды домой.

«Ду-урак!»—уже рассердился на себя Головкин, он почувствовал, что проголодался.

А в передней комнате тем временем накапливались приглушенные голоса.

— Что же ты, Миша, а?.. — спрашивал мужской голос.

— А я что? Сам он...

— Гм... Мать, ты к Чурсиным сходи: может, ведро картошки дадут под новину.

— Уже ходила. — И долгий вздох.

— Вот незадача! Не супом же из ботвы кормить такого... Чтоб на не-ельку-две попозже: и картошка и брюква бы подоспели, а теперь... Может, подкопать картошкн-то?..

— Пробовала, мельче б-сосз...

Руки Василия забегали по карманам, в левом нагрудном он нашупал деньги. «Что же делать? Ну, залетел!»

А солнце между тем сплющилось, горящая кровинка-капля растеклась на далеком краю поля и стала быстро впиваться землей, оставшаяся горбушка задержалась было на мгновение, но тут же провалилась: срез по комнате расплылись легкие сумерки.

— Пойдемте ужинать,— позвал Михаил, и Головкин вздрогнул от неожиданности. — Пока светло...

В передней комнате ударило в нос крепким и неприятным запахом, варева, и Головкин едва сдержался, чтобы не потянуться ладонью ко рту.

— Ну, здравствуйте вам!— Хозяин, Семен Егорович, рыц, черный, со всклокоченными волосами, показывал ковшом рук на лавку. — Пожалуйста к столу. Чем бог послал,...

Но Головкин мялся, звал глазами Михаила.  
— Миша, выйдем...

Остро выгнув спину, подхватив тряпкой огромный чугунок, мать Михаила несла его длинными руками к столу, и пар окутывал ее склоненную над чугуном голову. Поставила чугунок, обернулась к Головкину, а глаза такие большие, ласковые, и лицо все — в каждой морщинке доброта и нежность.

— Здравствуйте,— сказал Василий и покосился на чугунок.

— Ну, чего же вы? Садитесь,— проворно обмела тряпкой край скамьи и Место для гостя. — Отец, не топчись ты, садись уж!

— Миша,— позвал опять Головкин.

Михаил вылез из-за стола, пошел во двор, следом гость..

— Магазин у вас есть?.. — спросил Головкин.

• — Сеяно-то? А как же! Есть.

— Сходить бы надо. Гостинцев ребятишкам. Неудобно так-то. Из головы выскочило...

— А-а,— протянул Михаил,— чего их баловать. И сельпо закрыто. Продавщица не откроет.

— Попросим,— настаивал Василий.

• — Не надо. Если чего, завтра ходите. Пойдемте в дом.

Над столом висела лампа, узкая часть у стекла-пузыря была отколота, а вместо нее — почерневшая от жара бумажная трубка.

Семья усаживалась за стол. Перед каждым исходила паром миска, хлеба лежало на один добрый откус, и Василий догадался, что этот хлеб привезен Михаилом.

Семья как-то враз, дружно взялась за ложки, словно кто подал команду, дети шумно дули в ложки, шмыгали носами, а Василий сидел столбом, не зная, что делать.

— Хлебайте, Василий Матвеевич,— подсказал Семен Егорыч. — Шти постные да из травки свежей, пользительные. Тут и щавель, и крапнЕа, и листки-обломышки от капусты... Июнь не апрель — хошь чем барабан набить можно. — Семен Егорыч подмигнул Головкину, сводя все к щ :::

— Будет буровить-то! — в сердцах прервала его хозяйка. — Язык — чисто помело, истинный бог!

— Вот те! Гостя ведь потчую...

Василий сунул ложку в рот, ощутил пресноту, но странно: запаха он уже не чувствовал. Тут, мигнув, погасла лампа, и, как ни слаб был свет, тьма после него наступила полная.

— Ну вот, кончилось электричество. Теперь целуй кто кого не любит, — не унимался, балагурил Семен Егорыч. — Лучину нешто запал;::;?..

— Не надо, что вы! Спасибо,— спешно благодарил Головкин, поднимаясь из-за стола.

Михаил провел его в горницу, где от поздней зари еще не было так темно, как в передней, потом принес подушку и лоскутное одеяло, бросил

на койку, раскинул на полу полушубок, лег сам.

— Ложитесь,— сказал, торчащему у окна Головкину,— отсыпайтесь, а завтра за песни приметесь. У нас тут две сестры, вдовы, песен всяких до полна знают. Правда, слезливые песни-то...

Михаил повозился на шубе, притих и засопел, видно, засыпая.

«Хлебайте шти...» Ну вот и хлебнул... Вот, вот же он, этот другой мир, на который ему так упорно указывал Комаров своим видом. Но действительность превзошла, пожалуй, все ожидания

Из передней доносился храп Семена Егорыча где-то, словно плача, тонко взлаивала собака а потом издали стал нарастать рокот трактора затем пошел на спад до шороха и исчез в полях «Как же они тут могут?»

Одна картина сменялась другою, и одни были неясные, серые, как эта сумеречный горница, / где, • разметав руки, 'спал Михаил, так напоминающий чем-то Александра Комарова, а другие — четкие, как та вот звезда, что воткнулась кончиком лучей в -стекло и теперь висела, подрагивая, и тонко звеня. Головкин возился на жесткой постели. В передней храп Семена Егорыча перехлестывала заливистая фистула, он ненадолго затихал, чтобы набрать силу, и в этих паузах протяжно вздыхала мать Михаила.

Как-то в пригородном совхозе садили картошку. Ребята понабралось с избытком, и добровольцы вызвались чистить навоз на скотной базе. Василий Головкин будто сейчас видит, как Комаров, жалея сапоги и одежду, голый по пояс, в завернутых выше колен штанах, с кряхтеньем отрывает навоз вилами, взбуряя мышцы на руках и спине, делает взмах — и пласт навоза летит метров за пять. Залаянные босые ноги с крепкими икрами чавкают в зеленой жиже... Вот он оборачивается и хохочет, и подрагивает его тощий живот.

Конечно, приезд отца Комарова да и сам Комаров что-то такое и раньше подсказывали Головкину, чего он не принимал в расчет. А сейчас, отсюда, Комаров виделся Василию совсем другим. Мне Хотелось видеть Комарова примитивным — я его таким и видел, но тут что-то не так». И тогда не придавал значения, когда заговорили о курсовом проекте Комарова — о методах вскрытия угольного поля. «Вася,— сказала тогда Ксения,— а Комаров-то наш!.. Мы копируем старое, а он... Свежий какой-то, светлый весь».

«Подожди!., Что же это?» — Головкин даже приподнялся на локте, пытаясь разглядеть тьму. Тогда мимо ушей' пропустил слова Ксении, а теперь ударили они его больно под сердце. И это говорила Ксения, единственный человек на свете, ради которого он готов был на все.

Откуда же эта свежесть, светлота? Жизнь груба и тяжела в своих истоках. Комаров вышел из тех истоков, до устья ему еще далеко, но уже теперь половодье набирает мощь. Откуда, откуда у

него столько сил? «Но ведь в конце концов они к нам идут, а не мы к ним. К кому к нам?» — спотыкался в мыслях Головкин.

Задыхаясь, Головкин уткнулся в подушку. «Ксению знать не хочу! И вообще всех!.. Душу на замок, сам себе судья и бог!»

Он уснул, когда заря стала набирать новую силу. Спал он крепко, но недолго: солнце еще розовости не потеряло, когда он вскинулся. Михаила уже не было. Головкин выглянул в переднюю комнату. Справа от двери на деревянной распорке висел умывальный чугун, а на гвозде — чистое льняное полотенце. Сполоснулся над лоханью, отер лицо залежавшимся в сундуке полотном, совсем не думая о том, что самое лучшее в этой бедности полотенце, вытканное цветами и петухами, может быть, десятилетие хранилось, а теперь вывешено для него, незваного гостя. Надевая пиджак, он вспомнил слова Михаила: «Отсыпайтесь, а завтра за песни приметесь, — и подобие улыбки скривило его припухлые губы. — Песни... Петухи и те' не поют...»

На столе стояла кружка молока, а рядом — кусочек хлеба. Хлеб он не тронул, но молока отпил полкружки, с трудом сдерживаясь, чтоб не проглотить все.

Вышел во двор, а солнце, такое радостное, брызнуло в лицо! В огороде так тучна и темно-зелена была растительность, что казалось, ветхие плетни расперло, выгнуло наружу. В этой зелени, как и вчера, белели две головенки — дети трудились. И ни души вокруг: «Вот и хорошо, без разговоров уйду».

Он вышел из деревни на длинную и пустынную дорогу, чувствуя острый стыд за себя: «Дурак, дурак, на всю жизнь дурак! Посмотрел, изучил понял... Хорошо, что о таком позоре никто никогда не узнает — ни Ксения, ни кто другой, а здешние — так их не было для меня и не будет!..» Нет, не прикоснется он больше к чужой жизни, не заглянет в чужую душу и в свою заглянуть не позволит. Комаров с его жизнью теперь был ему безразличен, как была безразлична только что оставленная им деревня.

Ноги в тесных туфлях горели, пальцы занемели. Головкин разулся, попробовал идти босым, но заковылял, заприседал от каждой крупинки земли и опять обулся.

Он не знал босоты. Кажется, и по полу босыми ногами не ступал, не то что по земле. Мать воспитала с младенчества ко всякой пылинке отвращение. «Грязь убивает нас, — говорила. — Да, да! Именно грязь! — и ничто иное...» — И ее лицо брезгливо морщилось.

Мать всегда была какой-то сахарно-белой, с руками бледно-розоватыми и нежными, словно вылепленными из мякоти недозрелого арбуза. Носила она большей частью темный строгий костюм с белой блузкой. Ее лаковые туфли и **пелгов** &e

ки были постоянно чисты, словно ходила она по асфальту большого города, а не по улицам черного от копоти терриконов Горска, где в сушь меж досок тротуара при каждом шаге выпархивала пыль, а в непогоду вязким тестом выползала грязь.

Василий остановился у хлебного поля, тяжелого от густой зелени, оглянулся. «Где дома?» Деревня словно утонула, едва разглядел коньки крыш и трубы, — скрыло ее хлебами и травами. Куда ни глянь — тишь и безлюдье. Он даже физически, до зябкой дрожи ощутил одиночество и с суеверным страхом подумал: «Где же станция, найду ли я ее?» И тут же успокоился: вот же она, дорога, шагай, и она выведет в твою привычную жизнь.

## S

Третью неделю Михаил не спускался в шахту. Рана уже не мешала, только зудила, но врач Насонов на работу не выписывал. Помнет, подавит шрам, а потом что-то быстро и много пишет. Насонов одних лет с Михаилом, виски, тоже седые, выпушились из-под белого колпака, но лицо свежее, руки ловкие и быстрые.

— Через три дня ко мне, — сказал.

— А может, не приходится уже... — словно бы попросил Михаил. — Чего болтаться-то здоровому?

— Хм... — Насонов поглядел на Михаила так, что тому сделалось неловко. — Вы, Свешнев, мужественный человек, но, извините, невежественный...

— Да спина не болит, вот и...

— Не болит? — Насонов навалился на стол, руки протянул по столу, точно показывая их Михаилу, и тот увидел вблизи прозрачные розовые ногти, припухлые суставы пальцев с пушком и невольно сложил в комок на коленях свои коричневые ружьишко-оковалки. — Не болит, — повторил Насонов. — Пот, грязь, баня — и обеспечен свиш! И все начнется сначала... — Вышел из-за стола, сел напротив, уставился вплотную. — Не сердитесь, — предупредил. — Я врач... Не из-за праздного любопытства... Азоркин почти не потерял крови. Как вам удалось?

— Да вот так. — Михаил свел пальцы, не дожидая их в кулан. — У меня по-другому времени не было.

— Да, да. — Насонов поглядел на его руку. — Обычная рука. Вовсе обычная. Чаще бывают крупнее... А знаешь, ты его два-ажды спас!

— Хватит с меня и одного раза, — помрачнел Михаил. — Вот так хватит, — провел ребром ладони по горлу. , I

— Погоди, — отмахнулся Насонов, не вникая в смысл сказанных, Михаилом слов. — Ты думаешь, Азоркин жив бы остался, если бы ты просто вынес его из-под завала?..



— Кто его знает, я об этом не думал,  
• — Нет, Михаил Семенович, ты думал. Ты об этом всю жизнь думал. Так ведь не бывает: раз — и подвиг. Для этого редко какое сердце созревает.

— Да что теперь об этом...

— Что?.. На таких, как ты, совесть держится. Я хирург, и со стажем. Порезал на своем веку, покромсал, но к страданиям других не привык. И не дай бог, если привыкну, хотя эмоции и в моей профессии, как и в твоей, далеко не на пользу, и все равно — не дай бог!..

Насонов поднялся, прошелся до двери и обратно.

— Я, может, больше себя спасал, чем Азоркина. Откуда кто знает? — раздумчиво проговорил Михаил.

Насонов скривил губы в улыбке.

— • Сильные всегда великодушные... — сказал Насонов. И добавил печально: — Вечер, а домой идти не хочется...

Насонов стянул с головы колпак, провел рукой по белесым, словно льняным, волосам и оттого сразу изменился так, что Михаила поразило изменение не только внешней, но и внутренней сути человека, словно тот Насонов, настойчивый и деловой, исчез, а вместо него вдруг оказался мягкий, мечтательный и печальный. С таким хорошо на речке у костра сидеть...

— Да, не хочется, — вздохнул Насонов. — Понимаешь?.. — Он загнулся, пристально и просяще поглядел на Михаила. — Жена моя ушла к другому, — пожаловался неожиданно. — Ушла, думается, по зову плоти.

Михаил смутился от столь голой откровенности врача перед ним, чужим для него человеком. «Не могут люди молчать от боли», — подумал сочувственно.

— Может, полюбила? — сказал, вспоминая разговор с Валентиной об Азоркине.

— Кого полюбила?! — нервно рассмеялся Насонов. — Ханыгу? Пьяницу, который жил на содеожаниц у уборщицы? А может, и полюбила. Иначе как же можно? — метался он от вопроса к зопсо-су. — Нет, честное слово, Михаил Сеченозч. я ее нового мужа не оговариваю из-за осады: такой она и есть. Любовь! — вскинул Насонов газдзоезнь;"; подбородок, и столько в его лице было мальчишеского, жалкого. — Во загадка, а?!

«Загадка», — молча согласился Михаил, думая о своем.

— Хоть возьми твоего Азоркина. — Насонов будто услышал мысли Михаила. — Ну, видно же — мешок пустяков! И что ты думаешь? К нему в больницу каждый день новые женщины приходят. А у самого — жена красавица! И умна, я тебе скажу, — беседовал с ней. У нас с ней в чем-то судьбы схожи.

— Ты любовь-то с развратом не путан. У Азоркина,,,

— При чем тут разврат! — замахал руками Насонов. — Оставим его... Я столько передумал... Ну, хоть бы вот такой ответ, — показал кончик мизинца, — на эту тайну. Нет ответа!

— Что ж... — пожал Михаил плечами. — Нет ответа, утешься вопросом. В ясности-то и жизнь бы кончилась.

Насонов вроде впал в забытие. Оба молчали, тяжело придавленные невысказанностью. Михаил глядел в окно на южную сторону неба, где бледно-розовые облака прямо на глазах истлевали в темный пепел, и удивлялся краем сознания такому скорому изменению красок в природе и еще тому, что Насонов, этот совсем не из его жизни человек, показался ему таким душевно близким, точно сумрак вечера растворил их, слил в единую душу.

— Ты книги читаешь? — испортил хорошее молчание Насонов.

— Люблю —

— У меня библиотека есть. Приходи, если что, надо. Я над старой аптекой, в сорок первой живу.

— Спасибо, может, приду.

— Да не «может». Ты приходи. Я над книгами трясусь, как над самым дорогим в жизни. А тебе полбиблиотеки, если примешь, подарю. Для тебя не пожалею. Что сейчас читаешь?

— «Клима Самгина» перечитываю.

— У-у, это мудрейшая книга! В ней, кроме больших революционеров, здорово показаны еще две категории людей: это те, которых развращает их внешняя жизнь, и пустые созерцатели. Я же чувствую, как отвратительны тебе те и другие, а особенно первые, которые так жадно тянутся к венку жизни, чтобы примерить его к своей хитрой гоове. Ой, сколько их, занятых не самой жизнью, а ее фермой! Топчется этакий петушина в человеческом образе и кудахчет на всю округу, дескать, тсе зерно нашел. А на деле оказывается — не золотое, а шелуху от зерна. Вместо того чтобы о тся, он кудахчет — герой, как же! У вас на те есть такие петухи?

— Имеются, — согласился Михаил.

— Вот видишь. — Насонов посмеялся почему-то, поднимаясь. — Замучил я тебя, Михаил Семенович, своими разговорами.

Они вышли из больницы, когда темная сторона зосточного неба была издырявлена, как решето звездами, а запад глухой остудистой зеленью напоминал, что еще один день ушел навсегда.

Напротив больницы светились окна городской библиотеки, в одном из которых четко виделась склоненная над столом темная голова женщины.

— Сколько умного в жизни, — показал Насонов на библиотеку. — И в это окно на нее сколько уже гляжу... А-а-а! — отчего-то заволновался он, — гляди теперь, гляди...

— Ну чего ж. — Михаил услышал боль в голове Насонова. — Не одна-то во поле дороженька,

говорится в песне. Ты теперь одинок — ищи свое счастье.

— Нет, хорошо, брат? Хорошо! — Насонов потискал плечи Михаила. — Стоим вот, дышим,, Чего еще надо, а?!—Дернул Михаила за руку и пошел, да обернулся: — Дом-То мой не минуй, Миша! Кого ж мне еще ждать?

«Чего же нам еще ждать? Чего ж еще надо? — почти слово в слово повторял Михаил насоновское, вышагивая домой. — В счастье забываем про то, что счастливые. В ясный день, бывает, солнца не видим. Какой широкий мужик этот Насонов!»

В распадке свет из окон уютно покоился во мгле садов; черноту неба прожег каленый сегмент месяца, и Михаилу почудилось, что он сам — яркая искринка, пролетающая через мир. Он долго глядел на звезды, в темный, даже умом безнадёжно-непроглядный космос. Михаил поспешно вошел в дом, чтобы не глядеть больше на ночное небо, которое заставляет его мучиться думами о своей ничтожной жизни на земле.

## - 9

Во всякой гордости, говорят, чёрту много радости. Выходит, гордость сама по себе никому в жизни не помогла. Если же гордость делами не укрепляется, то оказывается вовсе не гордостью, а спесью. Спесь, уж точно, умной не бывает. Они, спесивые-то, как ни пытаются взлететь высоко, да все низко садятся.

Далеким душным августовским днем по распределению из института приехали в городок Многоудобный Василий Головкин, Ксения Князева и Александр Комаров.

Ксения после дорожных дней как-то изменилась, повзрослела, с лица сошло беззаботное выражение, сменилось ожиданием, тревогой.

Комаров видел эту стесненность ее души и сам присмирел: свое сердце поджимало от наступающей решительной минуты.

«Ты завоюй меня, покори!» — говорила Ксения прошлой студенческой зимой то ли серьезно, то ли в шутку. И он думал о том, что время его еще не наступило, что оно придет, его время. Но вскоре понял, что любящее сердце и в малом разглядит большое, для нелюбящего и большое — поршинка. Не утешало Комарова, что Головкин для Ксении такой же нуль, как и он сам. И вот позади студенчество, впереди далекий край, работа.

Ксения работала на шахте «Восточная» в плановом отделе и жила километрах в трех от центра, где на шахте «Глубокая» Комаров с Головкиным приняли по участку. На прощание она пожала Комарову руку и с видимым безразличием сказала: — Заскучаешь — приезжай:..

И пошла с чемоданом и узлом в руках, напрягаясь в тонкой поясице и оттого заметнее двигая

бедрами. И Головкин поначалу обрадовался: теперь кончится неизвестность. «Никуда не денется, прибежит...»

. Головкин с Комаровым жили в одном общежитии: белокаменном, давней постройки, плотно окруженном застаревшими тополями и ясениями, отчего даже, в солнечные дни в комнатах покоился полумрак.

— Что за жилье, — возмущался Комаров. — Спилить к черту эти дубы!

— Ну, конечно, во дворце рожденному... — уколел его Головкин.

Приморское лето банной сыростью пропаривало землю и воздух. Их, коренных сибиряков, удивлял яркий рост деревьев и трав, которые прямо на глазах тучнели, пухли. Все было мокро и горячо, и кажется — само солнце было мокрые, потому что муссон по семь раз на день выплескивал воду из тихого, подернутого тучами неба.

Сумерки, по-южному короткие, словно отсекали дни, лишая время плавности, и Головкин почти физически ощущал его скачкообразные переходы. Руководить участком для него оказалось делом несложным. Уголь отбивали буровзрывным способом, а наваливали лопатой, как сто лет назад. Участок был оснащен тремя-четырьмя десятками простеньких ленточных и скребковых конвейеров, пятью-шестью вентиляторами, лебедками, немудреной электрической схемой. Головкину, горному инженеру во втором поколении, такая техника даже в диковинку показалась — ожидал другого. Забояродввгалнсь, по его понятию, улиточно-медленно, но это не вызвало у него протеста, желания круто все изменить. Василий Матвеевич лениво спускался в шахту, осматривал участок, прикидывал в уме, какие нужно провести горные работы в недалекой перспективе. Отдав наряд второй смене, он уходил из шахты, сохранив в душе и теле неистраченные силы. И тогда в липкую духоту ночей из окна его комнаты выплывали гнетущие, как приморские туманы, звуки скрипки.

\* Комаров в общежитие приходил поздно и, падая устало на кровать, сначала с удовольствием слушал игру Головкина, но вскоре эта музыка начинала заражать его своей тоской, он злился и закрывал голову подушкой. Бывало, он заходил к Головкину поделить:?, с ним своими радостями.

— Во! — шумел, распахивая дверь. — Первый комбайн на «Глубокой» себе выбил! Один на всю шахту — и у меня на участке. Я Караваева за горло: отдай, Петр Васильевич, а то я в ствол прыгну!

— Поздравляю. — Головкин укладывал скрипку в футляр, ложился на кровать, руки за голову. — С великой радостью!..

— Неужели тебя, горного инженера, это не волнует?.. — вскипал Комаров.

— Комбайн один, а участков девять... Зачем же мне у ближнего радость отнимать?..

И прикрывал глаза, не скрывая своего раздражения. Комаров, видел это, но не унимался.

— Ты чего замуравился в четырех стенах? Сгниешь ведь так.

— А там что? — Головкин кивал на окно, за которым виднелись копры шахты. — Мой участок работает, как часы. Зачем же мне там торчать? То, что тебе дается через силу, я делаю легко. Генетика!..

Через два года Головкина назначили главным инженером «Глубокой», словно нарочно выставили повыше — на большом свету разглядеть. И уже месяца через два директор «Глубокой» Петр Васильевич Караваев — человек, которого ничем, кажется, в жизни удивить было невозможно, удивился, глядя на него:

— Да ты, никак, к нашему делу вкуса не имеешь!..

— Почему? Имею, — растерялся Головкин и даже покраснел из-за неискренности своего ответа.

— Ну, ну... — Караваев пригнул к столу сивую голову, и разговор окончился.

Вскоре Головкина вернули к должности начальника участка: «легко» работать главным инженером не получилось. И он отыскал для себя утешение. «Дурость в Се это у них, а не жлзнь.. Свобода во власти — не свобода». И зажил в тихом своем утешении, словно вернулся в родной дом после долгого отсутствия.

Встреча на шахте со Свешневым поначалу не только удивила Головкина, но еще и растревожила. Земля, у которой, казалось, нет ни конца ни края, сузилась до переходной галереи шахты «Глубокая». Ждал: вот-вот поползет по шахте слух, как, представившись композитором, студент горного Института Головкин ездил в деревню за песнями. Порывался поговорить со Свешневым, упросить его молчать, да побрезговал. А время шло, и слухов не появлялось. И позже, когда уже десятилетия минули, Свешнев никогда даже ни полсловом не напомнил Головкину о той далекой встрече в деревне.

Старой, заброшенной дорогой, по которой в давние времена ездил из города к морю, уходил Василий Матвеевич Головкин километров за пять.

На лбинах сопки дорога ржавела промытой дресвой и камнями, была заросшая с боков невиданной высоты — рукой не достать — жирной травой и ветвистым древовидным бурьяном; синели непомерной величины ирисы; на толстых, как хворост, стеблях покачивались раструбами вниз оранжево-ржавые колокола дикого перца, яйцеобразные цветы крохоблестки, словно действительно налитые старой порченой крозью, темнели сочной бордовостью. Все перло, росло мощно, ярко, кичливо. Но странно: все без запаха, и цветы и трава, — один дурманящий запах прошлогод-

ней прелости. Василий Матвеевич собирал букет, окунал в его прохладу лицо и отбрасывал в раздражении: «Декорация, а це природа!»

Спускался по дороге меж сопки в распадки, тесные и темные, как туннели. Деревья плотно смыкались кронами над дорогой, сизый сумрак испарений стоял неподвижно меж стволами, чугунно-черными от сырости, ярко желтели грибы, похожие на свиные уши, а у подножия деревьев ярились — кажется, заметно глазу, — распухали перистый хвощ, узорчатый папоротник, лопушистый курслеп, ядовито-зеленый бересклет.

Василий Матвеевич садился на камень-голыш, оглядывал сразу сузившийся и без того тесный простор и проваливался, как во что-то мягкое, в сладкую тоску. Он любил ее, эту свою тоску, и в ней — себя, потому что она отделяла его от сего мира своей возвышенностью, мечтательной неясностью.

Ксения говорила: «Ты, кроме самого себя, никого не полюбишь. Никогда: Ты жалеешь свою душу...» Ну и пусть! Пусть она его не любит, пусть выходит замуж за кого ей вздумается, пусть... Что ему этот городок, который, может, тем и будет известен, что жил в нем он, Василий Матвеевич Головкин? Что шахты? Что дела эти муравьиные? Годы пройдут и унесут в небитие и Ксению, и Комарова, и других. Но что оставят все они после себя и что оставит он, Головкин? Дела их улетят из труб кочегарок задолго до того, когда их самих не станет на земле. Его же дело...

На «своем деле» мысль его спотыкалась, потому что представить себе его предметно не могло: оно виделось почему-то бесконечно большим, заснеженным простором, то тихим сияющим июльским небом — наверное, потому, что образы эти вечны.

Тогда, зносясь в мечтах, Василий Матвеевич в отзвучности опускался все ниже и ниже. Постепенно он перестал ходить в лес, в выходные дни не выглядывал из комнаты, много спал, ел, походя, часто открывая продуктовый шкаф — там хранился запас копченостей и хлеба, и играл на скрипке, притом все чаще без удовольствия.

— Эй, перестань там ныть! — стучали с обеих стерев соседи, парни уже иного поколения.

«Чего они? — Василий Матвеевич встрепенулся, дезся к своему сердцу, которое, словно пошевелилось в груди, — уе-деке, упруго завозилось в грудной клетке — Пускай завтра же приходит Софья, — решил он вдруг. — Пускай!..»

С годами Василий Матвеевич Головкин стал сильнее ощущать непривычное мирское беспокойство. Вскидывался по ночам, с тайным стыдом ловил себя на том, что «все похотливее смотрит на женщин, тихо ненавидя их за недоступность, — всплеск запоздалой страсти возбуждал в нем стеснительность.

Будто между прочим Головкин, начал задевать Азоркина шутками, стараясь нарочито показать безразличие к его любовным делам- и все больше приучая того к постоянной с ним откровенности.

— Ну как, не побили тебя еще любовницы?

— А-а, — взмахивал рукой Азоркин.

• — Как же ты с ними... справляешься? Хе-хе-хе...

• — Да так вот и мучаемся! — ложно скромничал Азоркин, догадываясь, что разговоры заводит Василий Матвеевич не бескорыстно. — Слышь, баба есть, во! — Азоркин очертил в воздухе форму гитары. Двадцать четыре года. Да ты ее знаешь.

— Да? — притворно зевнул - Василий Матвеевич. — Кто же?

— Ольга-киоскерша.

— О, да. Это товар, — поддержал развязный тон Азоркина, и его лицо, и шея бруснично потемнели: впервые в жизни Головкин так цинично говорил о женщине.

— Ну, так, чего теряешься? — отводя глаза, наступал Азоркин. — Действуй!., — и решил про себя: «Действуй... Она тебе, хряку жирному, карманы вычистит!»

«Впешь, сволочь, — думал в ответ Головкин. — Все ты врешь, развратный тип. «Действуй!» Сам ведь знает, что я без его помощи никуда...»

Вскоре на северной окраине города, в домишке, заросшем одичавшим садом, какими-то кустарниками и бурьяном, была устроена вечеринка. Дом осел на один угол, отчего окошки его перекошились, крыша прогнулась, зияя темными дырами, крыльцо рассыпалось, вместо него лежали два ящика из-под водки. Из зарослей и от дома несло сырой прелостью и грибной плесенью.

— Мое наследство от тетушки, — сказала Ольга, продавщица из газетного киоска, и повела оголенной рукой так плавно, точно не было в ней ни одной косточки; она медленно развернулась профилем к Василию Матвеевичу, и он подумал, что Ольга, похоже, не наследство показывает, а себя. Василия Матвеевича охватило знобящим восторгом: «Бог ты мой, да разве в этом жилище тебе жить!»

Азоркин пришел с женщиной лет тридцати. Были она в бордовом платье, суховата, с лицом смуглым и серьезным. Она в упор осмотрела Василия Матвеевича. «И ты, старый, туда же...» — прочел он ее мысли. И еще понял, что она ищет свою судьбу. Тут же осудил: «Что ж ты ищешь ее среди азоркиных и прочих, которые толпятся в примагазинных скверах...»

Василий Матвеевич выпил со всеми коньяка, должно, впервые после студенческих лет, и сразу его вскинуло в какую-то восхитительную восторженную высоту. Хотелось говорить, смеяться, чтобы всем было радостно.

— Что с вами, Василий Матвеевич? — Ольга у него спрашивала, лицо близко, нежности неземной, глаза серые, в пушистых ресницах, зовущие.

— А нет, ничего... — И слезы навернулись так не к месту. — Скрипки вот нету... — произнес как-то виновато и беспомощно.

— Ого! Да это мы мигом! — подскочил Азоркин; — Сейчас к тебе смотаюсь.

— Петя, Петя! — понеслось ему вдогонку, — Азоркин словно не через весь город «йотался», а взял скрипку за дверями.

— Вот, — подал галантно. — Только сначала выпьем! Сейчас даст, вот увидите, — сглотнув коньяк, сказал он так, словно этим «даст» все будут обязаны не Василию Матвеевичу, а ему.

И Василий Матвеевич «дал».

Он сам не удивился своей игре — столь высок был полет его души. Все сожаления, вся внезапная радость, вея тревога за то, что сказочное может мелькнуть этим вечером и никогда не повториться, — все, что не выразить в слове, хлынуло вдруг музыкой.

Комнатка сразу показалась невозможно тесной. Наташа, подружка Азоркина, стала расталкивать створки окон, а Азоркин тем временем прошелся рукой по бедру Ольги, та прыснула, хлопнув его по руке, но ни Василий Матвеевич, ни Наташа этого не заметили. Наташа села, опершись на руку, глядела уныло на Василия Матвеевича. А у того и голос откуда-то появился — приятный глухой баритон, про который он сам давно забыл

Как после вековой разлуки,  
Гляжу на вас как бы во сне.  
И вот слышнее стали звуки.  
Не умолкавшие во мне.

Затем, опустив скрипку, глядел перед собой далеким взглядом, и улыбка едва заметными сползла: — издергивала его лицо.

— Почему на сцене я вас ни разу не слышала? — строго спросила Наташа.

— А я не выступаю...

— Он! Поиграйте еще, — захлопала в ладоши Ольга. — Еще!

— Не нужно больше, Василий Матвеевич, — перебила Ольгу Наташа и выразительно оглядела ее и Азоркина. — Не для кого тут...

— Как "это? Мы не люди, что ль? — набылчился Азоркин.

— Молчи. — отмахнулась от него Наташа, не глядя. — Вы талант, Василий Матвеевич. Спасибо вам. И... будьте счастливы!..

Она пошла к дверям. Азоркин кинулся вслед. Засуетился и Василий Матвеевич, поднялся, уронив стул.

— Не, не, не, — метнулся Азоркин назад, усадил, его. — Ты — тут... Ольга! — крикнул, убегая. — Гляди, чтоб... Ну!

Они остались одни, и тишина, будто самый высокий скрипичный звук, запела в ушах Василия Матвеевича. Он глядел в стол, и казалось, вырви ему язык — слова не скажет. Сердце коло-

тилось под горлом. «Если же теперь, то — никогда!»

— Вот так и живем. — Ольга теперь уже показывала на внутренние стены дома.

— Да, да, — подхватил он. — Я и говорю: все это не для вас...

— А квартиру дадут лет через пять — такая очередь...

Ольга, как и Азоркин, за дело круто бралась.

— Да зачем же ждать очереди?! — искренне удивился Василий Матвеевич, понимая, как до грубости просто все получается и оттого еще больше радуясь. — Такие пустяки — квартира!

Для Василия Матвеевича сейчас весь мир был пустяком, кроме Ольги.

Но Ольга опытней его оказалась: налила ему коньяка в стакан, себе плеснула в рюмку, по-кошачьи щури пушистые глаза, сказала:

— Правда, Вася, все мелочь. Выпьем давай!

Василия Матвеевича в душевной тьме то возносило куда-то, то роняло в бездонье. Уткнув лицо в жаркие Ольгины колени, он плакал взхлеб, и смеялся, и говорил такие слова, которых никогда не знал.

## Ю

Разбор несчастного случая длился два дня. Вел его начальник областного управления Государственного горнотехнического надзора Горохов.

Все, кто был прямо или косвенно причастен к происшествию, сидели в приемной тихо и напряженно, как перед судом. И стороны были явно обозначены: Колыбаев, Голозкин, Валера Ковалев — рядышком у одной стены, а Михаил, Черняев и Костя Богунков — у другой. В кабинет приглашали по одному. На сколько кто себя чувствовал причастным, на столько и отличалось их внутреннее состояние. Колыбаев сидел негибамой глыбой в центре своей троицы. Кулаки в колени, глаза прямо перед собой уст — лень; — ударь молния, не моргнут. Валерка — стеза от Колыбаева, и видно было, как ему хотелось пересесть подалее от Колыбаева и как он боялся от него оторваться. Лицо его то подергивало улыбкой, то сжимало, словно от боли, а глаза пугливо бетз.тд, ни на чем не, останавливаясь. Василий же Матвеевич Головкин был явно смят горем. Утром, вроде случайно, он встретил Михаила в прихожей бытового комбината.

— На пару слов, Михаил Семенович... Я хотел бы... — мял Головкин слова. — Была ли хоть какая возможность поднять корж вагой?

— Там же пятнадцать тонн с гарантией!

— А может, показалось в суматохе?... — искал Головкин спасения. — Колыбаев с Ковалевым говорят — можно было...

— Что это они! — возмутился Михаил. — Мы с Колыбаевым пытались. А К<sup>о</sup>ва<sup>л</sup>ев<sup>з</sup> — Что он мог

видеть? Его же в лаве не было. Да и что теперь говорить: можно, не можно?

— Тогда и объясните одинаково все втроем комиссии, — просил Головкин почти умоляюще.

Михаилу бы обидеться, взорваться, а его будто веревками всего повязало жалостью.

— Все, как было, так и скажу, — пообещал твердо. — Чего же нам петлять, Василий Матвеевич? — сказал, вроде не возражая, а увещевая своего начальника.

А тут звеньевой Костя Богунков — весь едучая кислота.

— Что жалеешь? — набросился на Михаила. — Они бы тебя пожалели? Как же!

— Помолчи, — сдавленным голосом выговорил Михаил.

Костя вскинул на Михаила свое круглое, в желваках мускулов лицо и отвернулся, больше не проронив ни слова.

В кабинет приглашали по одному, но обратно не выпускали. Михаила вызвали последним, уже в самом конце дня. Он устал ждать, в кабинет вошел весь какой-то одеревенелый, ко всему безразличный, ровно он отработал сутки в шахте. Говор в кабинете смолк, и все лица враз повернулись и уставились в Михаила, а он, не дожидаясь, сел на крайний стул, у дверей, не заметив, что оказался впритирку с Колыбаевым.

— Расскажите комиссии все, и как можно подробней, — утомленно произнес Горохов.

Михаилу на все подробности хватило минуты две.

— Расска-жи-те комиссии... — вразяжку, по слогам повторил вопрос Горохов.

Михаил догадался, что Горохов его не расслышал, — пересказал громче и четче.

— Так, — заключил Горохов. — Каков был вес монолита породы, которым зажало руку пострадавшему?

— Тонн на пятнадцать.

— А точнее?

— Точней не знаю. Не взвешивал,

— Вы, Свешнев, кричали: «Вагу, вагу!» Вы, что же, хотели этой вагой вдвоем пятнадцать тонн поднять?

«Вон он к чему клонит...»

— Надо было и вагой испробовать, — ответил хайл убежденно. Обернулся к Колыбаеву Валеркой: — А они, что же, сказали, можно было поднять? Пускай при мне скажут...

— Подтвердите, товарищи. — Горохов кинул карандаш на стол.

— А чего подтверждать? — забасил Колыбаев над ухом Михаила. — Чего подтверждать? Всего и было-то от силы полтонны. Если бы Свешнев не угнал Ковалева, там и подымать было бы нечего™.

А Валерку ложь корежила: в глаза не смотрел, лицо отвернул в сторону.

• — Корж небольшой был. Вот такой, — показал рукой над: — полом. — Килограммов на... это... — **И**, уловив, как прынул рядом и кашлянул Колыбаев, поправился: — Нет, это... на четыреста этих... килограммов.

— Ну так что это получается, товарищи? — Горохов покачал головой. — Разница в весе существенная.

— Дался вам этот корж! — возразил Михаил. — Уводите от главного.

Горохов поморщился. «Он • знал, что председатель шахткома приготовил автобус, на котором повезут комиссию в зону отдыха шахтеров в бухту Уютную. Прохлада открытой веранды, шорох волн, уха... Горохов даже глаза прикрыл голыми, без ресниц веками, представив близкую благодать и оттого и вовсе изнывая от уже выясненного, как, ему казалось, дела.

— Комиссия в течение двух дней тщательно расследовала причины, приведшие к несчастному случаю с тяжелыми последствиями. Исследовался и сам факт несчастного случая. Выводы комиссии будут представлены после предварительного совещания. А пока я имею сообщить, что выемка угля в очистном забое лавы номер пять велась морально устаревшими техническими средствами при отсталой технологии ведения горных работ. Паспорт крепления лавы был составлен без учета изменения горно-геологических условий в худшую сторону, в нужное время не пересматривался, в результате чего произошло естественное обрушение кровли по всей площади лавы...

Лица всех присутствующих, как подсолнухи к солнцу, обратились к Горохову. Но все были так измотаны, что почти его не слышали.

— ...Комиссия установила полную профессиональную неспособность руководства участка, слабый контроль над участком дирекции шахты... Словом, руководству объединения «Дальуголь» будут предложены меры наказания всех косвенно виновных в происшедшем. Комиссия установила, что машинист горных комбайнов Свешкев Михаил Семенович самовольно вмешался в руководство звеном при наличии бригадира, уделив из лавы в самый ответственный момент Ковалева, в результате чего не представлялось возможным поднять монолит породы посредством заги... Позже, товарищи, позже акт будет оформлен надлежащим образом, — зачастил Горохов, почуввав оживление, — а пока извините меня за нечеткость формулировок.

Костя Богунков не выдержал:

— Что тут, дураки, что ли, все сидят. — в глаза людям смеяться? Да, если бы в корже четыреста килограмм, то его бы любой шахтер бревном подважил!

— Фамилия ваша? — со значением переспросил Горохов.

— Богунков, Запишите!

Комаров слова до этого не проронил, сидел, задвинувшись между сейфом и телевизором, ничем не мешал Горохову и что-то изредка записывал в книжку. А сейчас он глядел на Горохова с неудовольствием. Поднялся, чуть склонившись в сторону Горохова.

— Простите, Алексей Александрович... Богунков! — возвысил голос. — Веди себя прилично или выйди... — Костя вроде одна худоба, а прошел к двери • — и паркет под его ногами потрескивал, как молодой лед. Комаров подождал, когда за ним закроется дверь. — С выводами комиссии мы еще разберемся. И горб для наказания хоть и неприятно, но придется подставлять. К несчастному случаю мы пришли сами естественным образом. И если бы мы правильно и своевременно отреагировали на поступающие сигналы, ничего подобного не было бы. Кстати, что же вы, Колыбаев, грубо так просчитались? Опытный горняк, а забыли, что два человека вагой вагонетку с углем на рельсы ставят. А в вагонетке больше двух тонн!..

Колыбаев ни позы не изменил, ни рукой не пошевелил. А Головкин рядом с Колыбаевым — вода-кисель. Обычно смугло-румяное его лицо за эти дни одрябло, как брюква на солнце, в глазах крик: «Пощадите — пропаду!» А зсего четыре дня назад настаивал словами: «Смелость, риск, находчивость!»

«Неужели обязательно нужно людям через беды, через катастрофы проверять цену словам?» — лезло в голову Михаил.

На шахтовом дворе он встретился с Дарьей Веткиной. Жарища — дыхнуть нечем, а она в толстой самовязанной кофте, в гиерстяном платке да еще куртка капроновая из кирзовой сумки торчит,

— На работу?

— Куда же еще! — Старуха стянула с головы платок, отерла испарину с лица. — Что порешила то комиссия?

— Порешила... — вяло ответил Михаил. — Все порешила.

— Ты чего язык-то жуешь? Мне Головкин встретился. Лица на чьяве: — а нету.

— Ему, тетя Даша, труднее всех. Ему теперь не выкарабкаться.

— Судить будут?

— Вряд ли. Там виноватых хватает. Завтра приду картошку копать. Спина уж стянулась — можно.

— Да чего там! Одна справлюсь. — А у самой взгляд просящий.

— Иди, в раздевалке сейчас прохладней. Испарилась вся.

Михаил проводил взглядом Дарью, увидел, как привлекает она стоптанные полуботинки худыми, жилистыми ногами; еще увидел, как цепочкой входило в автобус начальство. «Хорошо под воду-то сейчас». Прошел МАЗ, ревя так, будто его вот-вот должно разорвать на осколки. Каза-

лось, он оставил после себя невидимый коридор, заполненный удушливым синим газом.

Лето шло в последнюю, отчаянную контрастку на осень уже не от силы, а от дури, осень спокойно и снисходительно глядела на эту дурь каждой задубевшей от старости бурьяниной, каждым тускло-зеленым листом дерева, еще сохранившим эту зелень больше для формы, чем для жизни, — глядела проплешинами убранных огородов, отдающими запахом выморенной земли, поблекшим склоном неба... «Вовремя, тетенька, надо жить», — думал Михаил о лете. А на ум почему-то пришел Головкин. «Как он теперь? Чужой ведь, раечужой он людям! Да и ему, похоже, никого не надо...»

Семья была в сборе. Олег с Сережкой, голые по пояс, босые, в закатанных до колен брюках, выкорчевывали пень спиленной яблони, Валентина в дальнем углу сада подбирала с земли сливы.

— Мама, — завидев отца, позвал Сережка.

Михаил опустился на ступеньку крыльца, в густую тень от сирени, спешно разулся и стянул с себя промокшую от пота рубашку; выдохнул облегченно.

Город томился в предвечернем дрожком зное, в синеватом безветрии сожженного бензина: а здесь, вверху, из леса и сада приятно потягивало блаженной студеностью, обласкивало тело будто бы родниковой струей.

Сыновья и жена зето :: т-и ним з молчаливом ожидании. Михаил глядел на них так, будто не он, а они ему должны сказать что-то долгожданное. Некстати залюбовался Олеговым мощно оформляющимся телом — грудь ст поджарого живота круто пошла вод:::; — г; д мал: «Могуч же ты будешь, парень».

— Ну, чего вы как перед генерал:':? — улыбнулся наконец, притянул Сережку к себе, притиснул, ощущая под руками его хрупкие ребрышки. — Ох, какой ты у нас кормленный. Все бока салом заплыли. — Тыкался лицом в выгоревшие волосенки сына...

— Да говори же ты! Целый день додем! — взмолилась Валентина,

— Все нормально. Не переживайте. Глажка, ТЫ брось этот пень, лучше забор подраны • то еще раз дунет...

Вошел в дом, бросил на прохладны:': д- мв-трас, подушку и повалился. Подумал: «Головкин... Валерку бы ремнем высечь...»

Он не проснулся на вечерней заре. 7::: взошла лунная, ясная. Дети уже спали, а Валентина гвее не ложилась. Склонялась над освещенным луной Михаилом, будила мысленно, сдерживая биение сердца.

Выходила на крыльцо, садилась на еще не остывшие доски, плотно сжав руками колени,

вглядываясь за калитку в часть видимой улицы, испятнанную тенями. «Спит и спит», — укоряла Михаила. Прошла за облупленную сторону дома, где у фундамента стояла большая чугунная ванна с **ВОДОЙ**; разделась и опустилась в благодатную прохладу. Глядя на слабые звезды, слушала свистящее, с захлебом пение сверчков и вспомнила, как один раз целовалась на веранде с Азоркиным. «Ох, девка, так ты и воду вскипятишь, — улыбнулась звездам. — А Райка-то шутка шуткой, а зарится на моего, — ворохнулось ревнивое. — Это Михаил, туха-простуха, не" видит. — Представила Раису и, как ни старалась найти в ней изъяны, не находила. — Красивая, зараза такая. А Петьку, видно, не любит. Он гуляет, а ей хоть бы что». Вообразила, как Раиса встречает Михаила ночью после второй смены, и враз ей теплая вода показалась ледяной.

Спешно вылезла из ванны, на веранде долго растиралась полотенцем, поцокивая зубами от остуды, которая вроде не от воды была, а от сердца.

Помогла сонному Михаилу перебраться на кровать. И все глядела, глядела на него, спящего, изредка тихо целуя, пока свет зари не победил лунную желтизну.

## 11

Они сидели в больничном глухо заросшем сквере, и солнце грело, и кузнечики стрекотали, как в поле. Азоркин был в стоптанных тапках на босу ногу, в байковой пижаме внакидку, держал культу на перевязи у черной волосатой груди.

— Что, болит? — кивнул Михаил на культу.

— Уже почти не слышу. Заживет, как на собаке: Они тут умеют лечить... — и оскалил белые крепкие зубы то ли в улыбке, то ли в досаде.

— Ты чего? Обидели, что ли? — пытался заглянуть Азоркину в лицо Михаил, а тот, задирая голову, отворачивался, вскидывая подбородок.

— Райка-то моя уезжать собралась, — сказал он как бы между прочим.

— В отпуск? — спросил без особого интереса Михаил.

— «В отпуск!»! Говорю, совсем уезжает...

— Чего плетешь! — Михаил, отстранясь, глядел на Азоркина. — Не болтай лишнего! В таком положении, — показал глазами на культу, — человека не бросают.

— Ты знаешь; **СКОЛЬКО** она у меня была в больнице за три недели? Два раза: один раз у врача, другой раз у меня. Позавчера. Позавчера и объявила.. Придавила по-черному, хуже, чем в лаве...

Т .

Азоркин глядел на Михаила, и тот уловил в нем тоску большую, человеческую, и потому незнакомыми показались ему^ его глаза. Того при-

вчного Азоркина, не знающего ни добра, ни зла, перед Михаилом не было.

— Может, она за прошлое попугать решила.— предположил Михаил, веря в свое предположение. — Что я, Райку не знаю?

— Миша, зайди к ней, а! — о привился вдруг Азоркин, должно, быть, заражаясь уверенностью Михаила. — Только тебя и больше никого она не будет слушать. Уважает она тебя, белобрысого. А за что тебя уважать, угрюмого такого? — Игриво толкнул плечом. — Вот подожди, еще подерусь с тобой. Мне теперь драться удобней — пальцы не вывихну...

— Ефим приходил?

— Ты чего?! — неподдельно удивился Азоркин. — Прийти — надо рубль потратить. Да и на кой ляд он мне сдался. Тут врач есть. Насонов его фамилия, врач, видно, хороший и человек как человек, да что-то невзлюбил я его... Глядит на меня, как будто насквозь видит...

— Ну и ладно, пусть, смотрит. Тебе что?

• — Да он мне ничего, — передернул плечами. — Раньше бы пускай глядел. А теперь... Вроде бы ложился спать, все было, как было, а проснулся — и все не так...

— Петро, ты запомнил тот корж, ну вес его хоть приблизительно? — переключил его Михаил на другое.

• — А что? — забеспокоился Азоркин.

! — Да ничего, так, для собственного интереса спрашиваю...

— Нет, Миша, не запомнил. А чего я запомнить мог? Ты же сам знаешь. — Азоркин глядел виновато. — Сам-то ты видел, какой он?

• — Да тонн на десять — пятнадцать...

<sup>1</sup> — Ага, вот оно как... — задвигал по скулам желваками. — Колыбаев — какая гадина! — сказал сквозь зубы. — Я ведь плохо что помню, а то, что на тебя все взвалил, а сам свою шкуру спасал, — это запомнилось. Во, душонка... Я, подожди, вот выйду отсюда! — Азоркин стукнул кулаком по скамейке, да, видно, не рассчитал, больно ушиб и помотал пальцами.

— Не вздумай на себя лишнего брать. А то всякое бывает... Колыбаеву все равно никто не поверит. Он перегнул: сказал, что полтонны,<sup>5</sup> а полтонны и один вагой подымет. Я к тому<sup>5\*</sup> — может, Валерка считает, что тот правду говорит.

Азоркин искоса поглядел на Михаила. Видно, все-таки сомневался, за кем правда: за ним, Михаилом, или за Колыбаевым.

— Вообще-то ты зря Ковалева из лавы выгнал, — заговорил он сноза, мрачней. — Чего было гнать? Втроем, может, и подняли бы. Не гнал бы, так...

— Он же мальчишка! А обернись все по-другому?.. Да и что после драки кулаками-то...

~ К Райке зайдешь, нет?

• — Зайду. Поправляйся тут\

Пошел, загребая подошвами палый лист, и сердце, полегчавшее в начале разговора, огруженело, словно тело всем весом навалилось, сжало его как в ту тайфунную ночь в шахте, '

Метрах в ста от шахты по пути к дому Свешневых был когда-то. небольшой низинный пустырь, от пустыря, начиналось картофельное поле. Оно по пологому склону подходило к задней барачной улице города. На месте нынешней заасфальтированной насыпи был проложен деревянный тротуар, который шахтеры по подземной привычке называли «сбойкой». Ещё до войны слева от тротуара, в низинке, стала опускаться почва, потому что под ней, в глубине, были выбраны несколько пластов угля. Получилось искусственное озерко с грязно-серой врдой глубиной метра в два. Озерко называли Мочалом. В нем с весны бултыхались ребятишки и ловили неизвестно как заведшихся маленьких бычков-ротанов, окрещенных за черные спинки «шахтерами».

После войны 'картофельное поле начали застраивать частники, в основном народ рабочий с «Глубокой», которому до тошноты надоело барачное жильё. Денег, ясное дело, для построек добрых домов не было, а потому домишки лепили на скорую руку «из подручных материалов», благо, что рядом шахтозип лесной склад и сама шахта, из утробы которой выдавали, кроме угля; всякий древесный лом. Шахтовое начальство словно нарочно не строго охраняло лесной склад, только не будь наглым, знай меру: на балки да нижний венец возьми длинномера, и будет, а стены из чурок «в заброску» соображай. Улицы тоже: один — давай так, другой этак. Архитектора в городе то ли не было, то ли был, да не следил, а пока хватились — уже готово дело! Не будешь же разваливать дома из-за новой планировки. Недаром Василий Матвеевич Головкин не без труда проторил свою дорожку от шахты до дома сквозь россыпь домишек и кружевную канитель забороз.

Поселок прозвали Богатым в пику соседнему, каменные и деревянные особняки которого в садах, рядом с городским парком. Жил в этом поселке народ цепкий в нашей жизни, и по адресу поселок значился Парковым, но весь город его звал Бедняцким.

Со временем иронический смысл прозвища этого поселка — Богатый — утратился. Тут и там старые домишки пораскатали, на их месте новые поотгрохали, с гаражами, с летними флигелями, с беседками в садах. И только на бережке Мочалы остался неизменным дом Петра Азоркина, построенный его покойным отцом. Азоркин-старший не в пример другим расстарался: домишко построил не из шахтовых сломанных, рудостоек, а



из старых просмоленных шпал, обшил тесом и верандочку прилепил: садом обсадил, мосток над Мочалом навесил с перильцами — хоть стирай, хоть воду для поливки бери. Зато наследник его ни к чему больше рук не приложил. Среди высоких белых шиферных крыш дом Азоркина жил будто древний старичок под темной, такой нелепой для города деревянной крышей. Темная же, некрашенная верандочка, норовила отвалиться от стены, и Азоркин, видно, мимоходом подпер ее углам двумя неошкуренными рудстойками.

Михаил застал Раису в последние минуты сборова. Сел у голого, пустого стола, сказал первое, что в голову взбрело:

• — Не жалко уезжать? —

— Жалко? — переспросила она. — А чего жалеть? Вот эту халабуду... — Поглядела долго и печально, добавила со вздохом: — А может, и жалко, да кому об этом скажешь.

Она проворно уложила в шкаф одежду мужа, которая кучей валялась на полу, уперла тонкие, округлые руки в бедра, туго обтянутые юбкой, выказав такую тонкую талию, что Михаилу подумалось: нагнись Раиса — и переломится в пояснице. «Чего ему еще надо было?» — ругнул Азоркина.

Раиса, прикусив губу и склонив голову, что-то соображала.

— Ну, кажется, все, — присела за стол напротив Михаила. — Эх, Мишка, Мишка, не все, ох не все умеют ценить... — проговорила с каким-то отчаянием...

— Все так: имеем — не бережем, потеряем — плачем, — утешал Михаил неумело.

— Тебя бы я не потеряла...

• — Что тебе до меня? — Он недовольно дернул головой. — А когда был парнем, ты бы ведь за меня не пошла?

— Не пошла бы, — согласилась Раиса. — Ну что в тебе было такого? Парень как парень, я же помню тебя! А нам, девкам, петухов надо! Голландских! Чтобы перья яркие, хвост — во! Как у Азоркина... А твоя Валентина, ты прости, Миша, тоже на Азоркина зарилась, думаешь, я тогда у вас зазря выпалила? — Михаил резко взглянул на Раису, и красивое ее лицо стало ему непонятным. — Ну прости, если не так... Я Валентину знаю... Она бы не позволила, да глаза-то у *met* горели... Горели! — продолжила упрямо.

— Злости в тебе, Раиса, накопилось мне: — сказал Михаил кротко. — Тебя и осуждать за это грех, да все же не надо бы эту злость копить... Стыдиться потом сама себя будеед.

— Хорошо тебе, Миша. Тебе за свою жизнь стыдиться нечего. Ты вон за кого на смерть шел, — весь город об этом говорит, — за пет:::: этого. А из-за таких, как Азоркин, и другие, может, себе жизнь калечат. Злости, говоришь, накопила много. Да на него у меня злости, на зсю жизнь мне отпущенной, не хватит. А ты говоришь — лиш-

него накопила!.. — Раиса вздохнула, подошла к окну, что-то поглядела. — Послала девчонок за шнуром в магазин, да вот не дождусь! Наверное, за мороженым стоят, лизуньи.

— Помочь? Может, чего надо?..

— Не надо, Миша, мы налегке. К матери, в Свердловск. Зашел . вот — спасибо большое, все же полегче мне после будет. Вспоминать стану... что и такие есть, да не мне достались...

— Что ж ты все обо мне да обо мне, — обрвал Михаил, но так и застыл, увидев > как с ресниц Раисы часто-часто каплют слезы. Посмотрел туда-сюда, будто призывая кого на помощь. Или опасаясь, чтобы не увидел кто. — Рая, не надо! Тяжело тебе, я понимаю... Плохо... —

— Ой, как плохо-о, Миша! Пло-рх-о! — Раиса уронила голову на руки, широко рассыпая светлые волосы.

Михаил потянулся рукой к ее голове, но воровато приостановился и рассердился на себя. Ощутил ладонью пух волос и головку, такую по-детски маленькую.

— Не реви, перестань, — уговаривал неловко. — Нашла о ком плакать!

Раиса ухватила его руку, улыбнулась с усилием сквозь зареванные глаза, а он не смел отнять руку, как у ребенка не смеют отнять игрушку: отними — и опять рев.

— У тебя и рука добрая, не только сердце.

— Не пойму я вас, женщин: когда надо было бросить, жила с ним, когда не надо — бросаешь. Здоровый да постылый нужен был, а теперь побоку... Неладно что-то...

Раиса пошла к дивану, стена над которым пу-сто белела прямоугольником от снятого ковра, склонившись, что-то поискала в сумочке, а юбка, и без того короткая, высоко открыла ладные полные ноги, широкие подколенья с ямками, и Михаил отвернулся, подавляя в себе горячую волну. «Умеют они выставляться...» — подумал неприязненно. Она взяла из сумочки платок и расческу, стала приводить себя в порядок, сразу превратившись з глазах Михаила из беспомощного ребенка в уверенную женщину.

— Ты за него не переживай, — заговорила, аюкаиваясь. — Я его не одного оставляю. Сколь-::: у него их, ласковых?. Вот и пускай хватают, кто успеет... - .!

— Мстишь, значит?

— Ну и мшу! — Раиса смотрела вызывающе. — Я что, не имею права на мечь? Я, помню, в род-:::е лежу, а у него тут новая хозяйка. Нет уж: был здоровый — для цсех, а теперь — мне одной?.. Так несправедливо!

«Да уж точно, несправедливо, — мысленно согласился Михаил. — Но и казнить вот такого теперь тоже справедливого мало».

— Он же отец твоих детей. Об этом ты подумала? Будут потом жестокими.



— Ага.

— Волк он, Азоркин твой, как есть — хищник, Семью моего Степана разрушил. Внуки теперь без отца... Я Азоркину тогда говорил: погоди, поплачешь. Сбылись мои слова... Он и мне. Жизнь годов на пять поубавил.

— Нехорошо так, дядя Федя. Старый человек, а такое говоришь...

— Нехорошо, нехорошо! — Дед недовольно покачал головой. — Больно ты добренький, а я не такой...

— Ладно, дядя Федя, дай нам с Петром поговорить. — Михаил увидел идущего к ним Азоркина.

— Говорите, что ж... — Лытков поднялся. — Только гляди, Мишка, на кого слова тратишь. Себя пожалей, совет мой!

— Говорил с Райкой? — Азоркин сел, прижал к груди забинтованную культю, как ребёнка. — Я тебе наказ давал...

— Говорил... — От его ли резкого тона, от слов Лыткова Михаил стал закипать раздражением. — Уехала она вчера!

— Так-так!.. Уехала...

Азоркин долго глядел перед собой, затем переломился, точно от удара под грудь, обхватил голову здоровой рукой, плечи мелко вздрагивали, и Михаил понял, что тот плачет, но вместо жалости почувствовал в себе внезапное озлобление.

— Перестань нюнить! Скулил бы при тех, кто не знает! Тьфу!

— Плюешься? — выпрямился Азоркин. — А вот это ты видел? — потряс культю: ' серед лицом Михаила. — Угнал Валерку, а втроем бы подняли. Корж-то пустяковый был... Выходит, виноват! Ты... И рука целая была бы! Целая! — Опять сунул культей Михаилу под ЕСС. — А теперь зачем мне жить? Если родная жена от меня отказалась?

— Заткнись! Много ты понял. Ты про детей ни разу не вспомнил. Замолчи, а то не погляжу, что калека... Тебе и вправду жить не за

Михаил зло бросал слова и был страшным; Азоркин, испуганный, отпрянул на :-:: :-змейки.

— Ты чего... грозишься? Сам знаешь мое состояние... — сказал, будто извинения ллт::нл.

— Привык к семи нянькам! А теперь ни одной не будет! — не унимался Михаил. — Поживешь один, небось думать станешь.

— Поживем — увидим, — взбодрил себя Азоркин, а у самого глаза растерянно метались. — Еще сойдутся наши пути-дорожки!..

• — Да нет уж! У каждого своя. И мне по твоей не ходить.

— Не тебе судить, праведник! Такси гтеядник, что тошно с тобой. Вон у Вальки своей, хочешь, спроси!..

Колыбаев чего угодно ожидал от комиссии, но только не того, что так секанут под корень дорожного его начальника. Пока в те заполосные минуты, он, Колыбаев (понял сразу, что Свешнев будет бить корж, кайлом до тех пор, пока либо спасет Азоркина, либо сам вместе с ним останется в завале), не возжелал оставаться в этой «братской могиле». После ему захотелось еще и чистым остаться со всех сторон. А из кого перья полетят — ему было все равно. Да опять же вовремя сообразил: нет, не все равно. Иметь благодарного начальника — это почти то же, что еще одну сберкнижку... Вспомнил, как заорал Свешневу, зачем Ковалева угнал — втроем бы корж подняли, понял, что правильно сделал: на этот крючок можно рыбку поймать, отманить ею опасность от Головкина. В сумраке за копром и без того перепуганному Валерке Ковалеву в два счета доказал виновность Свешнева; Валерке-то доказал, но дышло не туда вывернулось: Головкин сам рядовой. Из бросовой кости навару не накипятить.

Но и своего Колыбаев упускать не собирался. Головы не терял, а «шариками» в ней крутил почище, чем та машина, которая в бухгалтерии числит ему получку.

И снова выследил Валерку, будто воробья, / ускользающего от кошки.

— Ты почему тогда из лавы удрал, гаденыш?

— Так дядя Миша приказал... — заскулил Валерка.

— «Дядя Миша», — прошипел Колыбаев. — А у тебя свой котелок не варит? Да я тебя сам к прокурору уволоку! Ты знаешь, что все из-за тебя? Корж-то видал?

— Плохо видал. Глыба..

• — «Глыба», — опять передразнил Колыбаев. — Не удрал бы, ковырнули вагой — и целая рука. Сам удрал и валишь на дядю Мишу... Что же, потвоему, тебя, дурака, я теперь выручать за так должен?..

Комиссия не успела уехать, а Колыбаев уис> прикинул: свое брать надо. Подкараулил Головкина на его тропке в закоулках поселка, пожаловался:

— Сомнения меня одблели, Василий Матвеевич. Да и совесть...

• — В чем же дело, Ефим Петрович? — усомнился и Головкин настороженно, а внутри все — так и оборвалось: «Беда одна не ходит...» И вид у него был такой, что Колыбаев на миг пожалел его. «Не трогать тебя, что ли?» Но тут же ругнул себя, что жалость в душу допустил.

— Насчет Ковалева я сомневаюсь. Зря мы с тобой его того... по черной дорожке направили... Жалко парня — молодой совсем...

«Никого тебе, Колыбаев, не жалко,— понимал Василий Матвеевич. — Ты новую пакость задумал... Да только вот какую?..» Вслух же сказал:

— Что же ты предлагаешь, Ефим Петрович? Сам знаешь, что нам теперь изменить ничего невозможно. Да и пользы не будет возвращаться к этому...

— А чего мне предлагать? Пойду да и признаюсь Комарову. Все расскажу, как мы с тобой... Чего терять? — дуrolомом попер Колыбаев. — А ты еще ИТР. Тебе еще под шкуру добавят сала. То бы туда-сюда да опять в дамки, а тут уж!..

— Чего же ты хочешь? — спросил. Василий Матвеевич, хотя уже догадался, к чему клонит Колыбаев.

— Чего?! Даром, говорят, и чирей не садится. Тыщу' дашь — и разойдемся!

— А говорил, Ковалева жалко... — Василий Матвеевич зачем-то еще пытался ловить Колыбаева на лицемерии. — Что же ты так...

— Всех жалко! Тебя тоже жалко... — вздохнул Колыбаев.

Вздохнул, а в лице ничего не изменилось. И. Василий Матвеевич в который раз подивился на этого человека. Не помнил, чтобы лицо Колыбаева когда-либо теплилось хоть каким подобием человеческих чувств — деревянная маска.

— Цена, думаешь, высокая? — Колыбаев по своему расценил молчание Головкина. И пояснил: — Нужда цены не спрашивает.

Василий Матвеевич повел взглядом: кругом ясная благодать осеннего дня, в садах и о: копошатся люди, прибирают урожай на зиму, а он не может позвать их на помощь, не смеет крикнуть: «Помогите! Грабят!» Подумал: «Почему, почему я не могу этого сделать? Когда у меня не только отнимают деньги, но и унижают душу? Разве я не имею права на помощь?»

— Деньги принесешь завтра, в это же время, — строго сказал Колыбаев. — Вот сюда, — ткнул кулаком в землю.

— Расписку дашь?

— Хм... — Колыбаев поворочал глазами. — Кто же в таком, деле расписывается?

— А где гарантия, что я принесу деньги, а ты потом еще не потребуешь?

Василий Матвеевич Головкин, пережив только что чувство унижения, гадливости и страха одиночества, беспомощности, страдая душой и телом от непривычного для него рабочего дня, сам не заметил, как доплелся до Ольгиной калитки. Долго прилаживал воротца на место, будто затем только и пришел, чтоб возиться с этим гнильем. Что-то смутное удерживало его у калитки, и он в своем горе не мог и не хотел сразу осознать, что все, чего от него Ольге нужно было, — все

уветрилось враз: и положение и деньги. Он ничего ей не принес, кроме своей боли.

Василий Матвеевич не видел, как из глубины сада вышла Ольга с охапкой осенних цветов.

— Смотрю, смотрю и не узнаю, что за дедушка калитку мне чинит...

Василий Матвеевич вздрогнул, повернулся и как-то рывками; точно ему в подбородок кто ткнул кулаком, стал выпрямлять выгорбтившуюся спину. Ольга похохатывала, то окуная лицо в цветы, то вскидывая голову. А георгины и гладиолусы под стать Ольге — тугие, свежие, будто накрахмаленные, были прижаты к ее груди.

Он уже понял, что смешон ей, но ничего, не мог с собой поделывать — ни подняться на порог, ни повернуться и уйти.

— Ну, ладно, зайди, а то свалишься тут, потом «скорую» вызывать, — сказала, построжав лицом, и пошла в дом, покачивая бедрами под тонким платьем в синий цветочек.

Он покорно и бездумно пошел за ней, понимая, что порог переступать ему нельзя, а пошел.

Ольга, свалила цветы на стол и пригласила Василия Матвеевича сесть, он, садясь, испустил протяжный вздох со стоном, и Ольга опять хотнула.

— Пропал я, Ольга... Погиб! — не сдержал боли Василий Матвеевич. Он часто и обиженно моргал. — А ты... Чего тебе смешно, когда... — укорил. — Разве можно радоваться, когда у другого беда?

— С чего ты взял — радуюсь? — фыркнула Ольга, зазорачивая цветы в целлофан. — Какая уж тут радость...

Села на кушетку — вся молодость и здоровье, и Василий Матвеевич с тоской позавидовал себе недавно: как легко он перебросил мостик через пропасть, разделяющую его с Ольгой. Счастье покупное, да оаазе думал тогда о том, когда, как догорающее полено, вспыхнул последним пламенем, — разве думал тогда о средствах, была цель: хоть час — да мой!.. «Если на этом все кончится, и то ладно», — думал, готовый ко всему. Пусть недолгим, но охапнстым глотком хватанул напоследок счастья, всем горлом, до тугого забоя души. Так думал Василий Матвеевич, а оказалось, что счастьем, как хлебом, впрок не наешься — его нужно иметь постоянно.

— Оля, не бросай меня. Люблю я тебя больше жизни! Не бросай — пропаду!.. И без того пропадаю... — просил он тихо, умоляюще.

— Ну что ты, Василий Матвеевич... Что было, то было — и хватит. У тебя жена. Чего мучиться-то! — Ольга изо всей силы старалась быть душевной, но она опаздывала к подружке на день рождения и потому досадовала. — Иди домой. Жена ждет, а он тут... — сказала уже недобрым голосом,

— Я разведусь с ней. На тебе женюсь...

— Обрадовал! — Ольга покрутила у виска пальцем. — Посмотри на себя и на меня, разве мы па-  
\*ра? Сиделкой при тебе быть?

Под сердцем у Василия Матвеевича что-то лопнуло, полоснуло жгучей болью, и он, хрипя, стал валиться на сторону. Ольга метнулась во двор, забыв, что вода в кухне. Вернулась да кастрюлю, почти ведерную, опрокинула ему на голову.

; Он застонал, заклинившееся дыхание стало выравниваться.

— Ага! Будешь мне тут!.. — Ольга, больно прихвывая волосы, терла ему голову полотенцем. — Поднимайся. Ну! Поднимайся живо!..

Тянула за плечи, а он уже пришел в себя, но от стола не отрывался, стонал, стараясь разжалобить Ольгу, этим еще больше озлобляя ее. И она догадалась, что поможет не таска, а ласка.

— Пойдем, Вася, Пойдем, — заворковала она. — Я тебя провожу. Какой ты... Пойдем!-

Он понял ее немудреную хитрость, с трудом поднялся. Вышли на мгlistую безлюдную улицу, в конце которой, там, куда ему нужно было идти, из темных округлых деревьев поднималась вишневоликая луна.

— Мне не к кому идти, Оля, — потянул он ее неподатливую руку, чтобы поцеловать.

— Как — не к кому? Жена дома, — отняла руку. — Иди потихоньку.

— Ишь ты-ы!.. — зашипел по-гусиному. — Деньги брала, так про жену не вспоминала! А? Зачем было все? Зачем мучить человека? Или я не человек?

Ольга легко развернула Василия Матвеевича, сильно толкнула под лопатки, и он едва не свалился, сделал вихлястую пробежку.

Он брел прямо на луну и ненавидел все: и свое прошлое, и будущее, и Ольгу, и Софью, и всех людей, которых знал и не знал, и эту луну. О, если бы сейчас полыхнуло все от края до края огнем небесным, то с какой радостью плясал бы Василий Матвеевич среди гибнущего мира, погибая сам!..

— А-а, будь все проклято! Будь!.. — плевался сухим ртом и почти бежал, не чувствуя вечно тяжелого своего тела.

Так и домой ввалился: лицо серое, с глазами сумасшедшего. Софью перепугал. Сунулась за ним в его комнату, натолкнулась в распах дверей на глаза его страшные, отпрянула, как от пощечины.

Сидела на кухне, пораженная этой грозой с ясного неба, испуганно слушала, как скрипка визжала, вопила, гудела угрожающе. «Да что ж это!» — не выдержала и настороженно заглянула к мужу.

— Вася, — позвала робко.

— Что? — остановил смычок.

— Вася...

— СГИИ-инь! — затряс он щеками и стал хлестать скрипкой о край стола. «Крах, крах, крах!» — доносилось до убегающей Софьи.

13

Ни тепла, ни холода. Январь доживал последние дни, а далекий север так толком и не дотянулся холодными руками до этого края, чтобы навести свой порядок. Всю зиму дуют промозглые ветры, несут песок с пылью; снег выпадет раз другой и исчезнет бесследно: не то истает, не то вымерзнет-выветрится. И всю зиму, будто ржавой жестью, гремят неопавшей листвой дубняки по сопкам, своя с ума зайцев-русаков, завезенных сюда из заснеженной России.

В такую пору город Многоудобный совсем не оправдывает своего имени. Северный ветер, разбежавшись через широкую долину, легко раздувает дымящиеся отвалы породы, наполняя воздух жирной копотью; ему в помощь дружно чадят многочисленные кочегарки, жадно сжирают льготный уголь печи домов частного сектора. Сладковатый, едкий дым, желтая пыль нависают над городом, как тяжелое сырое одеяло.

В ветреные, неуютные сумерки Михаил Свешнев вышел из учебного комбината шахты, где учился теперь после смены. Перед глазами еще виделось гидравлическая схема механизированного комплекса, цилиндры, штоки, перекрытия... Еще торчало в ушах «изречение» преподавателя, с которым он суется к месту и не к месту: «Техника в руках дикаря — кусок железа». «Изречение» всем надоело да и вроде оскорбляло, и тогда Костя Богунков на эту «мудрость» придумал вопрос:

— А кто изобрел гвоздь?

...даватель не знал, но Костин подвох понял, посмеялся над собой, но свою словесную жвачку так и не выплюнул.

анка в руках дикаря... — привязалось и к -у. — Вот ты зараза!» Он постоял в слабом трни сквера, словно вспоминая такое важное, что и шагать нельзя, но в голову лезла какая-то мед. <sup>Т</sup>Знина: «Ну вот, скоро отнянчишь бревна — • : гс ювой будет щит. Машинист передвижной крепи, машинист передвижного конвейера... Легче работа, счастливой жизнь... Техника в руках... Тьфу!»

Пирамидальные тополя, словно сжавшись в свечки от холода, текляво уходили в темно-серую высь, свистяще гудели там острыми вершинами.

Ветер, подталкивая в спину, вывел Михаила на гать. Напротив азоркинского дома он приостановился: зайти, не зайти?

Азоркина не видел с больничной встречи и видеть не шибко-то хотелось: ведь не друг и даже

не товарищ. «А все-таки и он человек. Да и связала нас судьба. А чем связала? — раздраженно спросил себя. — Рука у него не болит, сыт вроде, да и женщины не забывают...»

В горячке до какой только чепухи не додумаешься! От обиды, может, он так на Азоркина? От обиды и неуверенности, что вина перед Азоркиным хоть и вскользь, а на него пришлась.

Веранда скрипела и вроде качалась, как подвесная люлька, от шагов ли Михаила или от ветра. Михаил шарил по двери, искал скобу, и ему казалось, что на веранде еще ветренней, чем во дворе.

— Зинка, ты? — раздался хриловатый голос.

Дверь распахнулась, и в лицо Михаилу ударило ярким светом и теплом. Азоркин стоял на пороге в майке поверх брюк, с венником в руке, раст'еря яный и удивленный.

Михаил приметил, как тот еле сдерживал радостную улыбку, и сам улыбнулся, заглядывая маленькую кухню-прихожую с раскаленной докрасна плитой.

—, Июль тут у- тебя. Ну, здорово!..

Азоркин все еще стоял столбом, и внезапно радость на его лице сменилась выражением упрека.

— Как же ты надумал? — сказал, бросив венник в кучу шлака у топки. — Замерз, поди. Раздавайся давай, — засуетился он, усаживая Михаила к кухонному столу. — А я слышу — шебаршит кто-то. На тебя и не подумал.

— Да Вот с работы...

— Смена-то когда прошла... А-а, курсы проходишь! — кивнул Азоркин на торчавшую из кармана пальто Михаила сплюснутую вдвое тетрадь::;

Михаил покосился на культу, которую Азоркин выложил на стол. «Нарочно, что ли?..» И Азоркин, видно, поняв смущение Михаила, надел рубаху, спрятал обрубок в длинном рукаве.

— Прохожу, — сказал Михаил. — Теперь вся смена переучивается...

— Ну, вот и-ты сподобился! Твое теперь дело — кнопки нажимать, а уголь сам из забоя будет вываливаться... — Михаил не отозвался на слова Азоркина, сказанные с оттенком иронии, а тот одной рукой ловко накидывал совком уголь в пылающую печь, ворчал: — Пока кочегаришь — тепло, перестал топить — ветер все за полчаса выдует. Три кола забито, бороной накрыто — и весь дом. Уйду в общежитие, а то этим хламом привалит похлестче, чем в забое.

«Гу-гу-ух», — гоготал ветер, тряс дом так, что лампочка над столом покачивалась. «Ди-динь, ди-динь, ди-динь», — отзванивало стекло в черной, облупившейся от краски раме.

Сидели друг против друга, навалившись локтями на стол, а в черноте окна, словно на улице, за стеной, повторялся тот же стол, и они за столом, и там, во мраке, глядели один на другого

два хмурых человека — Азоркин и Михаил Свешнев.

— Как там новый начальник? — нарушил молчание Азоркин.

— Черняев? А ничего пока...

— А Головкин как?

— Плохи дела у мужика...

— И черт с ним! Я их не жалею!.. — покрутил Азоркин головой.

— Кого — их?

•— Ну... вообще.

— Правильно делаешь, Петя, — не сдержался Михаил. — Столько доброго ты людям сделал, что на все право заслужил: и жалеть и не жалеть!

— Ох, и змей же ты, Мишка! Так и норовишь в завал загнать. Что мне над Головкиным плакать — своего вот так, — провел рукой у горла, заворочав кровенистыми белками глаз. Висморкался неопрятно, рукавом повозил под носом. Куда и щегольство делось?

«Пьет, наверно, дубина. «Что плакать». А сам только и ждет, чтоб пожалел кто», — думал Михаил, ловя себя на том, что надеялся увидеть Азоркина не прежним. Смерти в глаза поглядел, семья рассыпалась — все бы должно перетряхнуться в человеке, а тут только и изменения, что шея заотекла складками, лицо сыростью подпитало изнутри — ранняя старость принялась выправлять, казалось, вечно не стареющие его черты.

— На работу тебе надо, — сказал Михаил.

— Чего? А-а, — оскалил Азоркин зубы. — Я же все равно свой заработок получаю, покалечился-то не по своей вине. Я свое отработал!.. — И, не глядя на Михаила, застылся на словах: — Тогда... не рассказал... что Райка-то?.. Что говорила тебе?

— Уеду, говорила, надоело, и все.

Михаил лопаткой ногтя щелкнул валившийся на стеле окурок, тот пулькой влетел в проем двери. Тогда, в сентябре, ушел из этого дома с толку сбитый. Из всех чувств было ясно одно: жалко Раису. И сейчас она нет-нет да и предстанет в памяти. Ни времени, ни места не выбирает, всплывет, стоит перед глазами, в лаве ли во время работы или в раскомандировочной на наряде, когда он, Михаил, ни ском ни духом о ней — голова совсем другим занята, — а она: вот тебе я! С ресниц слезы катятся, голову к его груди прижимает, сердце слушает: «Вот, стучит... Теперь знаю, как оно стучит, и всегда буду слышать». «Что-то не совсем то на уме было, — тревожился Михаил в такие минуты, докапывался. — И хорошо, что уехала. Мало ли что могло разыграться». И все равно, вернись сейчас молодость, выбрал бы Валентину, не Раису, — тут уж сомнений нет и объяснений тому не было тоже.

Дней двадцать назад его встретила на пришахтовом дворе незнакомая женщина: «Вы Мн-

хайл Свешнев?» — «Я». — «Получите на почте письмо в отделе «До востребования», С неделю не ходил. «Пускай назад пересылают, а то будешь сердце надрывать». Но на почту все же пошел, не выдержал, да и не хотелось обижать Раису, унижать ее.

Недаром говорится — без стыда лица не износишь. У этого проклятого окошка «До востребования» запарился. Казалось, все знают, зачем пришел. Молоденькая девчушка подала письмо, улыбнувшись ободряюще: ничего, дескать, бывает. Прихватив в киоске что-то надо для ответного письма, ушел за город, в лес.

Под крутым берегом речки Упорной он разжег костер и, сидя на толстой и гладкой, как кость, валежине, читал письмо и писал ответ.

Письмо Раисы было простое, сдержанное. Сообщала о своей жизни в Свердловске, что живет у родителей, работает. Только жаловалась, что он, Михаил, ей не снится: «Ложусь спать и говорю тебе: приснись, жалко, что ли? Но не снишься, хоть убей. Только Азоркин снится, а ты нет. Днем о тебе думаю, а ночью сплю зря. Помнишь, вашу бригаду фотографировали? Так я тебя вырезала, увеличила — портрет почти получился. Ты в каске, в спецовке, шуришь свои узкие глаза от солнца. Ты сейчас читаешь, а я за плечом стою...»

Михаил невольно оглянулся. Серое разнолесье, густые голые заросли подлеска... Справа сопки, слева сопки, и тоже в серой шубе леса, глухое, угрюмое гудение которого густо стекало в узкую долину... «Да что же это я? Что же это? — спрашивал себя и глядел на лнсток бумаги. — Человек страдает, а я виноват. Passe я сделал что-то такое, из-за чего должен страдать другой человек?»

«Одно сердце, говорят, страдает, а другое не знает — это лучше, чем знает, да не может ничем помочь,— писал Михаил в ответ. — Я раньше не знал о твоих переживаниях, было легче, а теперь знаю, но ничего от этого ни в твоей, ни в моей жизни измениться не может. Ты не виновата, что твое сердце не выдержало, созналось, а с тоже не виноват перед тобой ни в чем, но все равно виноват, потому что твое сердце бо.: - :-а кого-то, а из-за меня. Я тебя не ругаю, ты не обижайся, но если твое сердце болит из-за меня, то и мое от этого не на месте и тоже болеть должно. Пожалуйста, думай обо мне поменьше, а то я, наверное, слышу твои думы и сам думаю о тебе. Письмо твое хотел сжечь, да не посмел. Посылаю его вместе с моим—пускай у тебя лежат. А мне больше не пиши, я все равно на почту не пойду».

— ...Говорила же она что-то про меня? Не может ведь так?.. — потребовал Азоркин, огрызая Михаила от его мыслей.

— А у тебя ее адрес есть? — спросил он.

— А как же? Деньги-то контора га ребят вычитывает,

— Вот и напиши ей, узнай...

Азоркин не обиделся на Михаила из-за его резкого тона, но запечалился, голову повесил.

— Подкосила меня Райка, под самый корень подкосила. Э-эх! — простонал Азоркин, запустив руку в кудлатые волосы, словно собираясь рвануть из них клоч.

— Да уж верно. На руках ты ее носил. Чего только бабе надо было? Жили душа в душу... Неблагодарная. — Михаил поднялся.

— Мишка, подожди. Подожди, Мишка, — стал уговаривать Азоркин, весь сразу пообмякнув, как лопух на жару. — Я ждал тебя. Посиди еще малость. Есть, поди, хочешь. Сейчас Зинка придет, сготовит. Посиди!..

Азоркин хватал за рукав Михаила, заискивая улыбаясь, заглядывал в лицо.

• — Ладно, посижу. — Стараясь не глядеть на жалкое лицо Азоркина, Михаил опять сел. В душе поднималось такое гадливое чувство, будто он побил слабого, беззащитного человека. — С тобой ведь хоть сто лет сиди, а чего высидишь? — сказал таким тоном, в котором было и извинение за горячку, и жалость к Азоркину, и просьба задуматься, поглядеть на себя и понять, кто ты есть такой.

— Ну вот и ладно! — Азоркин метнулся к печке, звякнул ложкой по пустой кастрюле. — Вот же! И покормить тебя нечем.

— Я в буфете ел. Не переживай. Кого все ждешь-то?

— Ходит тут одна... — Азоркин зло бросил ложку в пустую кастрюлю. — Рассчитаю к черту! «Рассчитаю!» Ишь ты! Михаил был в каком-то странном бессилии перед Азоркиным, точно так, как однажды по дурости надумал купаться в шторм. Носило его прибойной волной туда-сюда, катало по песку, никак не выхлестывая на берег. Но тогда он сумел все же вкогтиться в плотную мокреть песка, не дал волне утянуть за собой. «А что, если теперь вцепиться в Азоркина, рвануть: выдержит, так выдержит, а нет, так...»

— Ладно, Петр, посадил, так и сам садись. Придет твоя ненаглядная, не волнуясь, а не придет — рассчитаешь, другую примешь. Садись.

Азоркин с готовностью сел, вытряхнул из пачки по сигарете Михаилу и себе, потряс спичечным коробком и ловко вычеркнул огонь.

— Видал? — похвастал он.

— Вот и шел бы на работу. Деньги деньгами, а без работы... кровь-то шибанет в голову!

— Я подумую. Начальник быткомбината-уже звал.

— Ты не думай, — настаивал Михаил. — А завтра прямо иди. Чего тут думать? И при деле, и при людях... Я <sup>33</sup> этим и зашел к тебе, поговорить. Безделье-то, знаешь, до добра не доводит. Ну, а раз так, то и отлично!..

— Ладно, эта потом,— перебил Азоркин. — Ты все же расскажи: что Райка-то?

1 — Толкни дверь,— попросил Михаил. — Накалил, дышать нечем.

Азоркин шагнул к двери, распахнул, и сразу ударил ветер через весь дверной оклад, словно его и не задерживала, веранда. Ледянистая масса воздуха так туго набилась в домишко, что казалось, его вот-вот разорвет, развалит изнутри.

— Ты бы хоть взял да соврал мне, что ли? — Михаил говорил тихо, прислушиваясь к завыванию ветра. — Эх, мол, подлец я, подлец: как же я жену свою потерял и не заметил? Как же, сказал бы, я жил, что дети ко мне в больницу не пришли прощаться? Ну, соври, а? Что тебе стоит?

— Судишь? Судье-то всегда легче, чем подсудимому,— процедил сквозь зубы Азоркин.

— Не сужу я, Петро. Но и сопли тебе утирать не буду...

— Да уж ты вытрешь... Вместе с носом оторвешь. Ты такой!.. Везет мне на друзей,— добавил он с усмешкой.

— Это когда лее я тебе другом стал? — удивился Михаил. — А-а, черт с тобой, друг, недруг... На работу только завтра выходи!.. Азоркин ты Азоркин, сколько сердечных людей' вокруг тебя, а ты ни единой души не увидел. И ведь заранее знал, что придут они к тебе, добрые, утешать, помогать, а ты натешись в их благодати. Придут,— протянул голос.— А ты — нет! Прошу, не поддавайся им...

Азоркин набычился. Свесившаяся сивая прядка волос мелко-мелко дрожала. Он вдруг замотал головой, закачался, как от зубной боли.

— Миша!..— сорвался с места, обхватил Михаила сзади за плечи, сжал их до хруста.

— Петя, прости меня, дурака. Прости!.. — выдохнул Михаил. — Ну! Брат ты мой?! Жить будем, Петя. Что нас своротит?! Смерти кукиш в зубы сунули. А! Жить будем! Ложись спать, а завтра день придет. Наш день. Э-эх!

— Иди. Поздно, Иди,— всхлипывал Азоркин.

## 14

После той ночи, когда Василий Матвеевич Голловкин вернулся от Ольги и разбил скрипку, он стал жить так же, как жил все годы, только с маленьким, никому не заметным, кроме жены Софьи, изменением: у него не стало того заветного полночного часа, когда он брал инструмент в руки и оживлял свой хилый, едва теплящийся, дух.

От разбитой скрипки 'Софья собрала все до последней щепочки, и уже месяца через два она, склеенная каким-то местным мастером, висела на прежнем месте.

Водворив скрипку на место, Софья все вечера до глубокой ночи не ложилась спать, она сидела

на кухне, поставив ноги на поперечину табуретки, ждала. Несколько раз она заполошно вскидывалась, приняв за знакомые звуки скрипки визг тормозов автомашины; и опять замирала по-птичь, обратившись вся в слух. Потом она ложилась в постель, но не могла уснуть. И тихо плакала или, не сдержав боли в сердце, срывалась на придуренные рыдания: «Господи! За какую вину мне жизнь такая!..»

Так прошел январь. А в феврале потеплело, солнце согрело подоконник. Василий Матвеевич, отлежав бока, приподнимался с дивана; сначала сидел, ждал, когда отроются, откружатся в глазах оранжевые мухи, а потом, словно пробуя прочность пола, делал ногой первый шаг, второй, так, коротко переступая, шел, как босой по острым камням, добирался до окна и опускался расплывисто на стул.

Нет, это только казалось, что Василий Матвеевич не жил все свои годы, а существовал. Жил, только у него была своя, отдельная от других жизнь, выстроенная им' самим, трогать которую, изменять в ней что-либо было бы так же губительно, как, например, выкапывать и выправлять на свой лад корни дерева.

Василий Матвеевич пытался удержаться без движения на самой быстрине. Да куда там! Чем дольше он держался, тем резче, как ему казалось, срывало его с места, кувырало, било о камни — спасения нет.

Уже несколько дней он не ходил на работу. Его напарник, пенсионер Коротеев, целый месяц ободрял Василия Матвеевича, терпеливо поучал:

— Помучишься — научишься. В тело легкость придет, а в руки — сноровка.

Прошел месяц и другой, но ни сноровка, ни легкость к Василию Матвеевичу не приходили. Наоборот, руки делались как веревочные, не могли держать инструмент: налегал на ключ, а гайка нн с места, кайлом ударял о породу, будто голубь носом долбил по крошке. И, главное, доминала одна мысль: «Зачем мне землю долбить? Зачем я ее долблю?»

И однажды Коротеев не выдержал, отшвырнул в сердцах кувалду, встал — руки фертом, маленький, широкий, будто обточенный пенек-смоляк.

— Да что же это ты, Василий Матвеевич! Ни украсть, ни покараулить! Я же с тобой тут, кроме грыжи, ничего не заработаю. Ты же мужик здоровый, а ни рукой, ни плечом. Ну? Да кто ж тебя растил-воспитывал? — отчитывал Коротеев, забыв, что перед ним не первогодок-лоботряс, а почтенных лет человек.

— Я уйду... — говорил Василий Матвеевич стыдливо и жалко.

— «Уйду».. Куда ж ты -уйдешь? Работа у нас не тяжелая, чего тут,— отступал Коротеев. — Ты работать не желаешь? А ты переломи себя, вызо-



в и охотку, а то ведь любой труд покажется каторжным. Как же без работы жить?

Но Василий Матвеевич все-таки ушел. Он только немало удивился сам себе: как не додумался до этого раньше? Ведь он же свободен и волен поступать по своему усмотрению. И даже заявление не подал на расчет. «Пускай сами увольняют по любой статье, мне все равно».

Утром в подъемный час млея в постели, как бог на летних тучках. Вошла Софья.

— Врача не надо ли, Вася?

— Нет. — И Долго поглядел на нее, выжидающую. «Глаза-то умирают!» — испугалась Софья, едва не вскрикнув. И чтобы на будущее не иметь с женой объяснений, он сказал все сразу: — Врача не надо... — Подумал и добавил: — С шахтой покончено... и вообще со всем этим, — завершил брезгливо.

— Вот и хорошо. И отдыхай, наработался, — подхватила Софья. — Я работаю, деньги есть. Много ли нам надо? Еще как проживем! Нужна она тебе, шахта.

Софья засмеялась насильственным, дрожащим смехом, стараясь не встречаться глазами с мужем.

Первые дня Василий Матвеевич лежал даже в удовольствие, но усталость не проходила, напротив, казалось, еще больше накапливалась в теле.

Однако это нисколько не угнетало его теперь. «Вот так бы и умереть. — Глаза закрыть и уснуть...»

Он и вправду не открывал глаза часами, но не спал. Не было никаких чувств, кроме приятной истомы от неподвижности да еще обиды. Обида была какая-то услаждающая, от которой не хотелось отказываться, — обида \* на Ксению, на Комарова, на Ольгу и даже на Азоркина и еще на что-то большое и неопределенное — на всю окружающую его жизнь. Хотелось, чтобы все-все его обидчики стояли сейчас около его постели, тинноватые и прячущие от него глаза. «Ну что, довольны?» — спрашивал мысленно всех их, провинившихся перед ним.

Но, пожалуй, самую большую обиду затаил на своих, уже покойных, родителей. «Они, они загубили мою жизнь!»

Перед глазами Василия Матвеевича зозникала мать в белоснежной блузке, с руками цвета неспелой арбузной мякоти. «Ах, как ты опустился, Василий!» Василий Матвеевич протестуя: — еде удчал, и злые слезы мутными ртутинками скатывались по его щекам. Но видения не оставляли его. Вместо матери появлялась Ксения. Жутко подумать — за двадцать семь лет только дважды встретился с нею, и то нечаянно. В первый раз, когда еще в общежитии жил. Вышел из дверей — и вот она! Идет в тонком пальто бежевого цвета. Полными точеными ногами сверкает; ветерок перебирает рассыпанную по спине чернь волос, ого-

ляет сбоку молочную нежность шеи. За руку Ксения вела девочку лет четырех. Свет померк в глазах Василия Матвеевича. Слышал, что она замужем за главным инженером шахты «Восточная», сыном Караваева. Да все представлялось почему-то: распахнет однажды Ксения его дверь, скажет повинно: «Вася, я пришла». Ну, вот и увидел. На девочку уставился, а Ксения, поняв его, дорубила окончательно:

— — Еще старший сын у меня. Ну, ^а ты-то как? Надо же? Рядом живем, а не встречались!.. В общежитии, что ли? — удивилась. — Как же это, Вася? Столько лет, и ты один. Неужто?.. — замялась она, и Василий Матвеевич досказал мысленно: «...на мне свет клином сошелся». Но не впустил же в нем сидел бес гордыни: и дыхание выровнял этот бес хозяину, и лицу придал печальную отрешенность:

— Да вот, один. Такая уж судьба, за десяти-рых на одного навалила.

— Музыку сочиняешь?

— Приходится, — скромно потупил глаза. — Про все забыл...

— И-меня?

— И тебя, — подсказал бес, и Василий Матвеевич чуть не заплакал из-за собственной гордости. — А вообще... ждал.

— Ждал?! Что ж мне, самой было к тебе идти? Я ведь... Эх, ты! — Дернула за руку дочку так, что та заперебирала ножонками, не поспевая за матерью.

И не нужна была ему вторая встреча, случившаяся недавно, месяц назад, ой, Как не нужна!

Возвращался он с шахты, тянул ноги, засунув руки в широкие карманы пальто. Шел домой не через поселок, как делал обычно, а улицей, где была сберкасса: хотел зайти. Только ступил во двор — прямо перед ним с разбегу прикипела к асфальту вишневая «Волга». Ксения легко вышла из машины.

— Василий Матвеевич!.. — И как она его узнала? Он было метнулся в боковую аллею. — Вася! — Она уже стояла перед ним, и он стал сдвигать шляпу. Ксения не сдержалась: — Да что с тобой? Болеешь?.. Я слышала о вашей несчастье на шахте. Ты что — в забое?

— На перекрестке.

Из «Волги» нетерпеливо засигналили.

— Подожди, — махнула рукой. — Ну, а Комаров-то не мог в конструкторском или в маркшейдерском отделе дела тебе найти? Ну, рыжий дьявол, я ему позвоню! — грозила Комарову, тянула Василия Матвеевича за рукав к машине, но он упирался, и было в этой сцене что-то унижительное для них обоих.

— Отстань! — наконец вырвал рукав потрепанного пальто. — Ехала и езжай, чего тебе?..

Он стал продираться через живую ильмовую ограду. Из узкого просвета меж кленов оглянулся

на Ксению — та стояла в лаковых сапожках, в темно-синем пальто, отороченном голубой норкой по вороту и рукавам, и показалась Василию Матвеевичу неизменно молодой и красивой, только и всего что подородней. И еще ему почудилось, вроде Ксения промокала платком глаза.

Из-за поворота ударил сквозной ветер, едва не свалив Василия Матвеевича с ног, опутал широкие брючины вокруг тонких голеней, стужей наполнил подпаху пальто.

Уже дома, в постели, он до конца осознал свой позор от встречи с Ксенией. И этот позор был более гнетущ, чем тот, когда Ольга, как скотину, вытолкала его из своего дома: «Нашла, дуреха, себе композитора, век бы тебя не видеть!..»

По утрам Софья наказывала, где что взять поест, и постоянно просила:

— Ты бы, Вася, на засов-то не закрывался...

Василий Матвеевич прислушивался, когда затихнут ее шаги, шел в прихожую и задвигал широкий засов. Покосившись на телефон, снимал и клал на стол трубку и, удовлетворенный, уходил в свою комнату.

На четвертый день его затворничества зазвонил звонок в прихожей. Через глазок Василий Матвеевич увидел горного мастера Гайнуллина. Тот звонил, звонил, да так и ушел ни с чем. А через день сам председатель шахткома Газовиков пожаловал. И тот звонил безуспешно.

— Василий Матвеевич, вы же дома, Софья сказывала. — Подождал, потоптался и тоже ушел несолоно хлебавши.

Вечером Василий Матвеевич предупредил жену:

— С шахты кто будет, не открывай.

— Они же тебе добра желают. Комаров сегодня мне звонил, просил, чтобы ты выходил паспорта крепления чертить. Ну, чем не работа? Как раз по тебе, — упрашивала жена, но от ее кротости и страдания у Василия Матвеевича еще больше распаялось обидчивое и злорадное упорство.

Софья вдруг, в отчаянии заломив руки, закричала дико, страшно:

— О-о! Мучитель! Меня-то за что?

Василий Матвеевич, придерживаясь за стенку, пятился из кухни, и в глазах его играла злая усмешка: «Забегали, заплясали. То-то же! Да не выйдет».

А через час Софья вошла к нему такая же, какой обычно и была: тихой и доброй, только веки тяжело опустились, — полуприкрыв глаза, — столько было в ней терпения и усталости.

— Подымайся, Вася, мыться. Протух весь, леж.

Василий Матвеевич нехотя поплелся за женой.

— Александр Егорович зайдет... Слышишь? Комаров сказал, что на днях зайдет. — Софья настойчиво возвращала его к жизни.

Василий Матвеевич будто и не слышал ее слов, в памяти всплыло давнее, детское — как его мыла домработница, которую он боялся, она больно намывливала голову, придерживала ее под водой, чтоб он хватанул мыльной пены. «У-у. Не ори. Скажешь матери — ухо отрежу». То-то радости было у него, когда домработница ушла «кирпичи класть».

«А что если и эта. окунет сейчас да и не отпустит...»

...Солнце уже уползло с подоконника, а Василий Матвеевич все сидел у окна, глядел перед собой. Слева шиферная крыша, справа — черные тополя клонятся вершинами под ветром, впереди, меж крышей и тополями, — желтый лоб сопки, дальше все мутно расплывается, сливаясь с серым небом. Василию Матвеевичу мнилось, что на все это он смотрит дольше, чем живет, что он давным-давно ходит по одному кругу и что никогда больше ничего другого не видел и не увидит. Тешась когда-то бездеятельным созерцанием природы и самого себя, Василий Матвеевич только теперь понял, что душа его ничем с этим миром не связана, а потому и не было страха его потерять, а значит, и себя уже было не жалко.

Слабое позднее сожаление, что он так ничего в жизни и не познал, не разглядел, даже не будоражило. Только лицо Ольги вынырнуло из той почти уже не существующей для Василия Матвеевича дали, но он прошептал: «Поздно, ох, как поздно!..»

Прозрачные предзакатные сумерки наполнили . . . такие же прозрачные и покойные, как сака душа Василия Матвеевича. Он вздрогнул: показалось, что его кто-то позвал из угла. Приел, д:алея, но ничего больше не услышал. Прошел з :г.аль:-:-: и вернулся с тонким шелковым шарфом...

Евений Матвеевич потерял сознание почти мгновенно, но это мгновение для него было таким большим Е озаренным, которого хватило бы на целую жизнь. Сперва на сотни смычков ударило стаккато и враз вылилось в прекрасную, рожденную им музыку. Он страшно закричал (хотя в действительности не издал ни звука), но не оттого, что умирает, а оттого, что вместе с ним умирает музыка, о которой никто никогда не узнает...

А дни спешили бегом да скоком — к весне, к лету. На участке смонтировали и пустили в работу механизированный комплекс, и Михаил Свешнев почувствовал, как много у него освободилось сил, сделав его жизнь просторной, как мартовский день. Круговорот напряжения его мышц как бы затормозился на большой скорости, «Что за морозка... Сил, чувствую, много, а слабею. Видно, мыш-

цы жадно кинулись отдыхать...» — определил он для себя.

— В конторах смолоду сидят, а я с двенадцати лет на критическом режиме. Поздно мне было менять эти... обороты, вредно для души и тела,— жаловался Михаил Черняеву.

— А ты переведи энергию на другое, полезное для души и тела,— советовал тот полушутя.

«А он прав, черт курносый. Человек не рак, чтоб за Дом питаться,— сделал вывод Михаил.— Осенью надо в техникум идти, а пока усадьбу рвом окопать, чтобы ливни почву не сносили, садом заняться».

Михаил перебрал весь сад до последней ветки и хворостинки. Сволоки обрези вниз к ручью — большущая куча набралась. И сад вдруг превратился в стриженного новобранца: длинноухого, худого, с тонкими руками. Впившись корнями в каменистый холод земли, сад был еще не сама жизнь, а ее обещание.

И ударил апрель — солнцем, влагой, прозрачной синью наполнил долину от края до края. Насторожив слух, Михаил едва-едва улавливал какое-то серебряно-мелодичное разноголосье, стекавшее с высоты. Казалось, где-то в поднебесье на высочайшей ноте звенел хор, слава чудо-жизнь. Михаил замер, стоял, опершись на грабли, которыми сгрэбал прошлогоднюю траву.

— Слышишь? — спросил он Валентину, направляя свой слух в небо.

— Чего?'

Валентина бросила копать начатую грядку, прислушалась.

— Вентиляторы на шахте зудят,— сказала она, надавливая тяжелой ногой на лопату. — Чего их слушать?

Лицо Валентины светилось розовым светом, который, казалось, исходил даже от ее одежды. В глазах плавала апрельская заволока, отражая зовущую радость ее тела,— не души, потому что одни и те же звуки они с Михаилом воспринимали по-разному.

— Азоркин к тебе приходил,— сообщила Валентина.

— Когда?

— Вечером. Хочу, говорит, с Михаилом \* довать.

— Так это, может, он не ко мне, а к тебе заглядывал,— напомнил Михаил.

— Опять за свое!—оскорбилась Вал.:.:-: яростно отбрасывая под уклон отрезанку:: л: - той землю.

— Ты почву-то вниз не сбрасывай,— заме:.-: Михаил. — А то будешь носилками вверх таена:;. Чего ж это он: я — в шахту, а он — ко мне, поговорить...

Валентина не знала, что сказать, и от этого сердилась, зло ворочала землю. Она бы и совсем

не сказала мужу про Азоркина, но Олег его видел — утаишь, хуже будет, если выяснится.

Не видела Азоркина полгода. Знала, что он теперь один живет в своем доме. Прошное старалась не вспоминать, так, баловство, а все же неладно было на душе. И вот—на тебе, неделю назад сошлись-повстречались. Ташила две сумки, набитые солью, сахаром да хлебом-крупой. Решила дорогу спрямить, через барачные дворы пошла. Запуталась между сараюшками, угольными ящиками, штабелями древесины. Руки замлели, поставила сумки на подвернувшуюся доску, газету подстелила и сама присела.

А весна-то! Теплынь! И вечер только-только замутил светлое лицо дня. «Зимой-то глухо, а теперь как!..» — волновалась Валентина.

Тут-то и увидела однорукого, в резиновых сапогах, с завернутыми наполовину голенищами, в синей, запятанной краской спецовке. Он улыбался, шел прямо на нее. Валентина заозиралась — сколько всякой дряни по земле ползает, что у него на уме?

— Не пугайся. Ну, чего ты? — Азоркин сел на доску рядом с Валентиной. — А я с работы. В магазин зашел, гляжу — ты.—Ну, следом... Чего ты как из-за угла мешком пришибленная? — Азоркин, приклоняя голову, старался заглянуть Валентине в глаза, но она, будто окаменевшая, сидела, отвернув лицо, старательно разглядывая что-то на сумке. Скучаю я,— хрипло сказал Азоркин.— А прийти к вам, как раньше, уже не могу.

— А зачем тебе и приходите? Михаил тебе не друг. И я тебе кто? — поджала губы, вскозь, нехорошо поглядела на Азоркина. — Так. Никто...

— Конечно, никто,— уныло согласился Азоркин.

Валентину заботило одно: как поскорее от него отделаться. Азоркин это видел. И он, повывавший немало на своем веку, теперь растерялся и сконфузился. «Ладно, что было — не было, но могла бы хоть поговорить по-человечески»,— сглотнул подступивший к горлу комок.

— Что ж, калекой стал, так теперь брезгуешь? — Азоркин с усилием старался не глядеть на ее обтянутые чулками полные колени. — Выходит, не мил телом, не мил и делом? — поддел общженно. — И за Михаила решила: друг — не друг. А это наше с ним дело...

— У тебя де-ло! Знаю я... Что, хороша Маша, да не наша? — язвительно показала ему глазами на свои колени, прикрывая их короткими полами плаща.

Азоркин потемнел лицом, поднялся.

— Валя...

— Отстань! — поднялась И она, берясь за сумки.

Как скрылась за сараюшками, И не заметил: была и нету. Про свою улыбку забыл: так И стыла она на его униженном лице,

А через неделю Валентина в темноте заметила с крыльца: кто-то от калитки поднимается. Схватила, да поздно: Азоркин уж и двери на веранду распахнул — встречай гостя!

— Я не к тебе. Где Миша-то? — подстраховался, опередив нелюбезность хозяйки.

— На работе он. — Валентина встала спиной к двери, боясь, что Азоркин войдет в дом, где спал набегавшийся за день Сережка. — Придешь, когда дома будет.

— И что только с людьми делается! — от души рассмеялся Азоркин, — Да не зеленой ты — не трону тебя, дуру. Мне без людей нельзя. Понимаешь ты, нет? Головкин людей боялся, в петлю от них залез, а я к людям хочу!..

И, может, оттого, что лампочка на веранде горела тускло, а Азоркин был в плотной темно-розовой рубашке и в той хромовой куртке, в которой ей когда-то нравился, он и теперь казался красивым.

— Где Олег-то с Сережкой? Я с ними посижу.

— Своими будто не обзавелся?.. — кольнула Валентина.

— Наладилась! — поморщился он. — За эту неделю надумал потолковать с тобой: не в любовники к тебе набиваюсь, и ты не втапывай меня в грязь!

— Не шуми. Сережку разбудишь. А Олег во Дворце, — сдвинула она голос до шепота, а глаза — вкось да в стороны, и блеск в них яснее слов. «Господи, до чего ж слаба наша сестра! — взмолилась в мыслях Валентина, да тут и Олег забухал по крыльцу. — Слава тебе!..» — вздохнула облегченно.

...Валентина сгоряча целую грядку перекопала, а Михаил нагреб большую копну хлама и зажег. Сел в стороне, а пламени в солнечном свете не видать. Только перевитые струи густого воздуха рвутся вверх да пепел студенисто подрагивает, оседая. На рбдине теперь поют скворцы и вот-вот хлынет половодье. Над Чумаковкой висит гогот и писклявый крик — на север идут косяки гусей да Казарок... Ой, так давно все это видел и слышал, что, кажется, в далеком сне было!

Весной и осенью — Михаил заметил — тянет его на родину. Он тогда завидовал братьям и землякам и думал, что счастливее нет людей, которые от рождения до старости живут на родине. Сам-то он уже был испорченным для такого счастья и хорошо понимал это. Годы оттеснили, отодвинули в его глазах родную Чумаковку. Вот вроде давно ли в отпуск приезжал, и все еще она была для него ближе собственной кожи, и чувствовал, что и он для родины еще своя кровинка. Он тогда мог не вернуться на Дальний Восток, а просто выйти в поле на работу, будто она, эта работа, у него здесь и не прерывалась: те же люди, те же трактора, те же плуги и сеялки, в которых не было ни одного болта и гайки, что бы не помнили

его рук. Еще были те же телеги и пароконные фургоны, те же лошади, которых Михаил знал не только по масти и по кличке, но и со всеми их повадками, привычками и норовом. Но как-то однажды приехал и ничего этого уже не застал и сразу почувствовал, что он на родине приезжий, чужой человек.

— Миша! — звала Валентина с крыльца. — Чего сидишь-то, в шахту-то пора.

Он нехотя поднялся, поглядел вниз на город, где левее школы тонула в мареве башня подъемного крана, а на красной стене мушками чернели люди: «Трудится народ, да на вольной волюшке. А мне опять к Яшке идти...»

Михаил про утрешний разговор с женой забыл, так и не напомнил ей об Азоркине ни в тот день, ни позже. И Азоркин больше не навещался, хотя Михаил на шахте часто его встречал и в гости приглашал, Азоркин с банкой из тонкой жести, с большущей кистью в руке подновлял стены многочисленных коридоров, закутков, раздевалок бытового комбината. На приглашения Михаила отвечал неохотно, с какой-то недосказанностью.

— Да ладно, — отводил он глаза. — Приду когда-нибудь..

Но однажды высказался с раздражением, надувая и без того зобастый подбородок:

— Что ты все талдычишь: приходи, приходи! А кому я там нужен?.. Неинтересно тебе со мной, я же знаю. Чего модничать-то?

— Ну нет, так нет, — остановил его Михаил, понимая справедливость слов Азоркина.

— Да ты того... Не сердись! Может, не то сказал. — У нас с твоей Валентиной никак, понимаешь, по-человечески не выходит, — разоткровенничался Азоркин, глядя ему в глаза.

Михаила слова Азоркина не огорчили и не обидели, но застали как-то врасплох — знал и без него об этом, да не подумал хорошенько, что человеку невозможно сразу от себя отказаться, прошлое отрезать. И не всякий поймет, поверит, что тут к чему. Здесь без душевной чуткости — никак. «Поверить такому трудно, а оттолкнешь, так после совесть замучит...»

Михаил нет-нет, да стал замечать Азоркина в кругу ханыг или, как их еще называли шахтеры, — «горбатых», то у шахтовой столовой, то у буфета.

Все они, эти «горбатые», замызганные, с жабистым цветом лиц, с угрозливыми и в то же время заискивающими глазами, вечно толпились у окраинных столовых и пивных, томимые жаждой и утоляющие ее от нескупых шахтерских рук. Время от времени их вылавливали дружинники шахты и свозили в милицию; но «горбатых» вроде не убывало.

— Ну и круговорот природы! — удивлялись шахтеры.

Азоркин со своей пенсией да с заработком для «горбатых» был нечаянным кладом, и они вились

возле него, ревниво оберегая друг от друга. Михаил как-то увидел Азоркина в этой компании, тот подозвал Михаила, сунул вместо руки розоватый обрубок культи. »

— Чего это ты левой? — не ожидал Михаил, но культю пожал, чувствуя, как напрягается весь.

—левой — ближе к сердцу. Особое почтение,— ощерился Азоркин.

— Дружков нашел себе? — Михаил оглядел компанию.

— Коллектив, понимаешь... — показал Азоркин на своих приятелей, понуро следящих глазами за Михаилом,— Да ты, я знаю, никогда его не признавал.

И тут встревоженно поднялся круглоголовый, мордастый парень, запустил руку в карман драной летчицкой куртки, шагнул к Михаилу.

— Что, рабочий инструмент ищешь в кармане? — наливаясь злобой, ждал Михаил ждал, когда мордастый кинется на него, и уже знал, как поймает его руку и загнет на вылом: он не мордастого ненавидел в этот момент, но что-то большее, чему сейчас ни размеров, ни названия определить не мог.

— Сядь, Колун, сядь.— сказал Азоркин,— а то всю жизнь будешь кашу ко рту ногой подносить.-, Мордастый опустился на землю.

— Что ж он, коллектив твой, словно воронье... — сказал Михаил и, не докончив, внезапно схватил Азоркина за шею: да так рванул вверх, что тот и ноги не успел выпрямить, как гиря, развернулся в воздухе и встал, полоумно тараща глаза. — Вали-ка отсюда!..

— Не твое дело! — противился Азоркин, а сам стягивал голову в воротник, ожидая оплеухи.

— Твое!.. Мое!.. Ейсе узнжу с ними, вторую руку оторву!

...Азоркин пришел к Свешнеаым на другой вечер, ввалился на веранду, плюхнулся на стул.

— Ну?

Валентина на шум показала я :

— О!—деланно обрадовался Азоркин, протянул в ее сторону культю.— Уступи. Михаил . У. = -гоньякая она у тебя, гладенькая!

Валентина метнулась в дом, выскочила сс скалкой, замахнулась ею на Азоркина.

— Ты что? С ума сошла?.. — Михаил заслонил Азоркина, выхватил у нее скалку.

— Подонку всякому оскорблять позволяешь!.. Жену **защитить** не **можешь!** Да от кого! Хотя бы от человека, а то от самого распоследнего...

— Замолчи. Дети услышат.— Он оттеснил Валентину в дом и закрыл за нею дверь.— Н; — сказал Азоркину,— поднимайся, уходи!

Тот молчал угрюмо, сопел.

• — Поднимайся. Ты меня знаешь... Я хорош, пока со мной по-хорошему...

• — Ладно,— многозначительно сказал Азоркин, выходя с веранды.— Я еще приду!..

Михаил закрыл за ним калитку и вернулся в дом.

— Что же ты такой? — встретила его Валентина и принялась выговаривать: — Возишься с ним, как с малым дитятей, и не надоеет тебе, своих забот мало. А от него совсем житья не стало, хоть беги!..

— Чего же ты прежде-то добрая была, защищала его от меня, а сейчас такая злая-стала? — напомнил старое Михаил.— Не нужны нам праведники, а нужны угодники,— подтрунил вроде бы сам над собой.

«Беги!»—слово это, неосознанно оброненное Валентиной, болью хлестнуло по сердцу. Жил в русле дел и вроде все было на своем месте, а тут стал что-то растекаться на рукава и протоки. Затосковал по солнцу, шахты забоялся... С людьми стал жить неладно — это только кажется, что ладно. Надо собраться с мыслями, а то ведь так дальше, больше, можно и совсем потеряться. А другого места, чтобы собраться с духом, лучше родины не найдешь...

Такой, расхристанный, я не нужен ни себе, ни людям, думалось ему. Надо развернуть судьбу покруче. Если не шахта, то, кроме родной Чумаковки, ничего мне не нужно. Встану на землю и заживу рядом с родными. Встану на землю!.. Да я ведь всю жизнь стою на земле, запоздало догадывался Михаил, только стою как-то не так: одной ногой — в Чумаковке, а другой — здесь, на шахте. Мне только мнилось, что я утвердился тут, а кровь-то моя крестьянская — разве она отпустит легко от пашни? Вот и подошел срок, и забыла она, кровь, мою жизнь, в которой уже не устоять так, как стоял, и остается одно: отступить к своему извечному, — там отдышаться, , осмотреться, окрепнуть и пойти туда, куда сердце позовет,— но уже твердо, без покачки, не на теперешних ватных ногах.

Через день Михаил подал заявление Черняеву.

— Михаил Семенович,— заговорил Черняев, волнуясь.— Сколько сил ты положил на подземных дорогах, чтоб дойти вот до такой... — показал на мехкомплекс, над которым за ребристой напряженной крышей «разговаривало», бушевало горное давление пород.— Разве не обидно теперь все это в чужие руки отдавать...

— Почему чужие? Не чужие.., Что мое, то мое. А у другого свое будет.

— Ты двадцать лет рос на шахте сам и выращивал шахту,— продолжал свое Черняев.— Здесь ты, здесь твое место. И учти, здесь ты — мастер, а в деревне будешь учеником. Понимаешь, Михаил Семенович? Пройти через невероятные трудности, выйти к светлему, о чем мечталось, и спасовать... Не принимаю и жалею!..

— Все я понимаю, зря ты горячишься. Да вот тут... — ткнул большим пальцем в грудь.

— Шел бы ты, Михаил Семенович, в отпуск... Без содержания еще месяц добавим. И деньги найдем на этот месяц. Отдохнешь, а? Там, глядишь, все перемелется, как говорится, мука будет.

— Не хочу, чтоб мололось,— убежденно возразил Михаил. — Иного так перемелет, что мать-земля родная отвернется. Не хочу, чтоб мололось...

— Что ж, поезжай, оглядись. А мы ждать будем!.. Что надумаешь — сообщи. Не верю, чтоб навсегда... — И Черняев понимающе пожал Михаилу руку выше локтя.

...Дом оставили на Дарью Веткину и на Олега. Большой парень, не станешь из техникума отрывать, и уехали в Сибирь, в Чумаковку,

## 16

Три брата Свешневы и сестра Анна уже года три как переехали в Чистоозерную — центральную усадьбу совхоза. В Чумаковке, в родном доме, остались старики. Деревня почти пустовала — ее по какому-то большому плану должны были сносить, да что-то временно отложили будто; сносить не сносить, а житья нормального лишили тех, кто в ней остался,— обрезают электрические провода и закрыли магазин. Как отключили свет, так и водочка перестала работать. А колодцы без надобности еще и раньше позавалялись, только Семен Егорович Свешнев держал свой колодец в порядке, потому как вода из скважины была жесткой, в ней даже мыло не мылилось, а рассыпалось хлопьями — ни чаю из такой воды всласть не попить, ни в бане толком не помыться, от нее, говорил отец, «волосы на голове, что щетина у бешеного поросенка».

Вот теперь и шли к Свешневым за водой старики и старухи, последние обитатели Чумаковки.

Наискосок через улицу в крепком, с разлапистыми углами доме жил Трофим Тонких со своей Евфросиньей, две вдовы сестры — Ольга и Полина Скорохватовы — жили на разных концах деревни, через четыре двора от Свешневых — Антон Лабунов по прозвищу Лабуня со старухой да\* у самых скотных баз в саманной халупе — безродный дед Петрак. Как закинула сиротская судьба немолодого тогда уже солдата Петракова в сорок пятом году в Чумаковку, так и отрубили люди от его фамилии две буквы. Петрак и Петрак: тут тебе имя-отчество и фамилия — все в одном слове сжалось, как сжалось в его сетде неизбежное горе о не известной чумаковцам погибшей дотла семье...

Вот и все население.

На станцию за семьей Михаила приехал брат Иван на своих желтеньких «Жигулях». Как и все Свешневы, Иван был жилистый, крупнорукий, с

раскосыми карими глазами; поцеловались да и покатали по той самой дороге, по-которой двадцать с лишком лет назад вез на быках Трофим Тонких Михаила с чужим человеком Головкиным.

— У Петьки-то уже пятый родился,— сообщил Иван. — Строгает! — Иван, прикусив язык, оглянулся на сноху и племянника. Но Сережка, привалившись к матери, спал, дремала и Валентина, прислонив голову к спинке сиденья. Алела щеками и губами, на бело-матовой шее едва заметно билась невидимая жилка. Это Иван уже в зеркальце разглядел, бесхитростно по-мужицки восхитившись: «Вот это роза-краса!»

— Строгает-клепает, говоришь, всех старших обогнал,— обрадовался чему-то Михаил. — Давно ли: «Блатка-а, застегни мне станы», — передразнил младшего брата. — Сам-то еще не слез с трактора?

— Нет. Чего слезать? Техника теперь удобная. Заработки... Это же не те железяки, что при твоём времени были...

И замолкли. Оба остро и задумчиво глядели вперед, будто не в пустынную проселочную даль, а в свое далекое детство.

Родная проселочная дорога! На тебя, самую первую дорогу в жизни, испокон веков выбегали за поскотину русские дети. Приставив козырьками ладошки к глазам, глядели, замерев, в твои далекие извивы, в такие далекие, что даже вечно недоступные, лежащие у горизонта облака были ближе и понятней. А в бесхитростных глазах такой неизъяснимый восторг, а в сердцах такая зовущая печаль, что уже никогда-никогда не опустошатся их глаза и сердца от этого восторга и зова! Не оттого ли, родная проселочная дорога, повзрослев, так далеко уходили по тебе они в мир, что смертельно трудно им было возвращаться к твоему истоку? А то и вовсе не возвращались, рассыпали за горами-долами свои белые кости, ни разу не упрекнув тебя за то, что ты заразила их неумной тоской по пространству. Не с тебя ли, проселочная дорога, твои дети вывели великую страну на великие пути? Помнит ли твоя пыль тепло их босых ног? Ты все та же, и земля, по которой ты пролегла, все та же, и облака, и деревья, и трава, только мы уже давно-давно не те. И то ли ветер тугой слезу выбивает, то ли печаль по невозвратному. Годы скатились, что бусы с ожерелка, и уже меньшая часть их осталась. Ты будешь, а нас не будет. И уже иные дети не выбегут на тебя с зовущей мечтой. Зачем мечтать, если даль доступна? Для них совсем иные будут дороги и иные дали, такие дали, о каких мы и мечтать не могли. \*

Михаил вздохнул и поглядел на брата, и у того, похоже, думы были такие же, и он тоже вздохнул.

— Да вот... Вроде как и не жили,

— Поживем,еще, чего ты?

— Поживем.

— Пораспахали степь, всю засеяли. Не степь, а сплошные поля.

— Да, мало чего не тронули. Григорий коров пасет по болотистым лощинам.

— Так и не уговорили стариков переезжать к вам?

— Не-ет,— усмехнулся Иван. — Мать говорит: на чужой стороне умирать не хочу. Девять километров — чужая сторона. Вот как!

— Ну, а другие?

— Чего другие? Другие на центральную переехали. Там же ванна, горячая вода и вообще удобства. Здесь остались только старики, нашим ровесники.

— Перевезли бы дома для них. Разобрал, собрал — долго ли?

• — Не долго, да по плану нельзя. Городской тип. Приедешь, сам увидишь. Там директором — ты его не знаешь, — а фамилия тебе известная, племянник того, нашего Цимбаленко...

Братья опять надолго замолчали.

— Ну, вот и заживем теперь все в сборе, — наконец проговорил Иван с душевной наполненностью в голосе. — А то оторвался в такую даль! Да еще эти шахты... Пошли они!..

— Не «пошли». Она, шахта, в свое время и тебе пригодилась... — напомнил Михаил. Потом спросил: • — Чего это ты вроде как пасмурный?

— Вовремя приехали. Мы же тебе телеграмму хотели давать.

— Случилось что?.. Не тяни душу! — Михаил дернул Ивана за руку. Иван выправил руль,

— Мать у нас плоха.. В больнице.

Михаил понял: пришла беда.

— Почему не со:;сдала? — спросил он обеспокоенно.

— Да ты ведь знал, желудок у нее побаливал, а тут — хлоп... В Чистоозернон лежит. У нас сейчас больница лучшая в районе.

Михаил оглянулся на — с сыном, те по-прежнему спали.

Чумаковка вывернулась из-за холмика, деревня как деревня, если со стороны посмотреть. Даже не верилось, что обезлюдела.

В ограде их встретила :;ед с Петром. Петр ворота распахнул, а отец с крылечка сходил с горькой радостью на лице.

Михаил из машины выскочил к Нему, притянул к себе за плечи, а сердце так а зашлось. Почувствовал, обнимая, как тот состарился: спина и плечи сузились, косен рабочие выперли наружу, как обкатанные гс.сидел

— Ну, здравствуй, папа... — только и хватило воздуха выдавить эти :;:зз.

— Мать у нас плохая, совсем плохая мать, — сказал отец, отстраняясь и пряча ладонь за широченную коричневую ладонь, и Михаил по этим словам, по жесту понял, что горе отца неизмеримо больнее, чем его, сыновье горе.

Отец достал папиросы, принялся искать спички в карманах долгополого хлопчатобумажного пиджака. А на голове тоже хлопчатобумажная кепчонка, рубашка из выцветшего синего ситца застегнута на крупные желтоватые пуговицы, воротник, как и лацканы пиджака, завился стружкой. Не понять, как сохранились у него этот пиджак и эта кепка с рубашкой двадцатилетней давности. Добро бы, было нечего надеть, а то ведь привозили и присылали и костюмы, и рубашки, и обувь дорогую, добротную.

— Поеду я за Анюткой, — нарушил замешательство Иван. — Чего тянуть, дело вечернее.

Петр шагнул к старшему брату, и они обнялись.

— Мать в Чистоозерной, в больнице, — сказал Петр тихо, будто боясь, что услышит отец.

— Знаю, Петя. — Михаил потерся щекой о щеку брата, нежнея сердцем и легонько отталкивая его от себя.

Отец как-то рассеянно поздоровался со снохой за руку, а Сережку потискал и подтолкнул в затылок:

— Ступай в огород, пошелуши там что-нибудь.

А Валентина уже стояла на крыльце в халате, с тазом и тряпкой в руках:

— Мужики, воды несите!

— Встретили, называется, гостей, — ворчал Петр, снимая с плетня ведра. — Все в Чистоозерной, а он заладил: дом, дом... Когда-нибудь сволоку трактором, ей-богу.

— Ты носи воды-то. Родной дом ему не мил. Живут там в скворечнях... На землю уж ступать разучились, пахари, — ворчал отец.

В дом не пошли, когда на дворе такая благодать. Сели у сеней на лавку.

Сколько живет Михаил, столько помнит, как на этой лавке, уморившись в работе, когда-то сиживали в детстве. Слева — дом, — справа — сарай, а перед глазами — низкий плетень, за которым огород с неизменными подсолнухами. Все так и теперь было: меж кольев плетня над подсолнухами покоилось то же вечное небо, с теми же вечными сиреневатыми по краям облаками, которые, может быть, во всем мире одинаковые, да только не для него. Такого он нигде не видел — этого неба и облаков над этими плетнями и подсолнухами, над дальним, завечеревшим в покое полем.

Рыбам — море и реки, птицам — небо, а человеку — отчая земля, круг Вселенной.

Сидели, ждали Ивана с Анной и Григория.

— Или самому за Григорием слетать? — Отец показал на открытый сарай, где синел его «Запорожец». — А то будет до ночи на Буланке трястись.

— Куда на твоей таратайке ехать? Рассыплется дорогой, — запротестовал Петр.

\* — А чего ее жалеть? — отвернулся отец.

— Да не жалеть! Разве о том речь? — обратился Петр к Михаилу. — Гоняет и гоняет, как на ра-

кете. Вчера сел с ним — страх берет! За машиной ухаживать надо!

— Ухаживать! "то она, скотина? Скажешь тоже, ухаживать за железякой,— почему-то осерчал отец.

Михаил сжал незаметно руку Петра: молчи, дескать, не перечь.

— Брось ты, папа. Стоит ли?.. — успокаивал отца Михаил. — Как тут дядя Трофим живет? Как Лабуня?

— Живут,— махнул рукой отец. — Трофим ордена, носит. То сроду не носил, а тут на старости лет... Вот он названивает, легкий на помин.

Трофим Тонких шел через улицу, поблескивая наградами на черном пиджаке, а за ним все население Чумаковки: Полина с Ольгой, как квочки, в широких юбках и кофтах, казалось, дунь ветер и поднимет их, вознесет над землей, а сзади всех де!г Петрак — руки сплел на поясище, согнулся, чуть землю не метет бородой.

— Вся гвардия в наличности. Антона одного нет — в степях.

— Чего он там?

<sup>1</sup> — Да лошадемок пасет. Там их с десяток. Тешкается с ними. — Петр метнулся в дом и вынес скамейку для стариков.

— Ну, здорово были! С прибытьицем вас,— басил Трофим, надувая жилы. — Вино ишо не пили? Хе-хе-хе!.. — Сел на скамейку, весело скаля желтые зубы, глядел, как Петрак пятился, целился тоже сесть. — Тебя, Петрак, переладить надо малешко, ногу одну пяткой вперед повернуть, чтобы, как трактор, два хода имел,— балагурил Трофим. — А вы что стоите, христовы невесты? — перекинулся на сестер. — Садитесь к нашему шалашу, хлебать лапшу. — И дурашливо обмахнул скамейку-кепкой.

— И-эх, людей бы постыдился, балабол красноглазый,— укоризненно покачала' головой Ольга. — А еще медалей повесил!..

— Медали мои не трожь,— сразу посуровев, заговорил Трофим. — Михаил Семеныч городской человек, поди, знает, за что их дают!.. А меня Цимбаленко к людям жить не пускает. Это как?!

— На центральной коровы и те лучше нас живут: электричество для них горит и вода под нос,— с готовностью вмешалась Полина, обращаясь к Михаилу. — А тут живешь: дров нету, угля не везут...

— Я, ее спалю, Чумаковку,— спокойно пообещал Трофим. — Это ему, Семену Егорычу, что не жить — на центральной три сокола да дочь, случись что, вот они, а мои — один на кораблях живет, другой в тундрах железо ищет. Как это нам со старухой? А она хворает, у ней кровь в голову давит...

— А хоть бы и не в тундры! — Полина сучила большими, в темных трещинах рухама, совсем не подходящими к ее маленькой усохшей фигурке, к

ее по-младенчески безгреховным, потянутым слезливой пленкой глазам на просветленном до синевы лице. — У меня Федька в области минцанером работает. Так директор — езжай к сыну. А чо бы я ехала, когда тут с молодуду до старости силы выкладывала. Федька-то свою жись там зачал, а моя вся до капелюшки тут. А теперь — езжай!

Полина словно и не высказывала только что своей обиды: выдобранными глазами матери глядела на Михаила, радовалась каждой морщинкой лица:

— г- Ладно уж мы в назьме да в земле. Детки зато 'взыграли в начальники большие. Федька-то пишет: мама, я теперичь старшина. Это ж, поди, командир роты?

— Мужики заулыбались.

— Пovyше хватай, Полька! Федьке твоему до генерала рукой подать. Он теперь без охраны до ветру не ходит...

— Болтай, ботало! — деланно осерчала Полина, но по ее усмешливым глазам было видно, что слова Трофима ей приятны.

— А мой Витька-а... — Ольга медленно, повела рукою вдаль.

— Витька твой!.. Сроду был отчаюгой. У меня огурцы крал!.. — проскрипел Петрак, не дав той договорить.

И примолкли, притихли старики, словно спохватившись, что бессовестно забыли о том, зачем пришли. Где же это видано, чтоб дорогих, гостей встречать не расспросами об их жизни, а наперегонки свое выкладывать.

— Ну, что же... это, к матери-то небось завтра поедете? — сказал Трофим, подымаясь. — Кланяйтесь ей от нас.

Он долгим, охватистым взглядом глядел по-над огородами, туда, где в далекой дали мглисто нарождалась ночь, а ближе будто кто невидимый ходил и разливал по лощинам молоко тумана, и он языками растекался по округе. В холодной зоревой траве кричали перепела.

— Ишь разошлись,— сказал Трофим о перепелах. — Отец, бывало, шутил, когда жись прижимала: провались, говорил он, земля и небо, только перепелок жалко!..

Трофим пошел, а за ним заподымались старухи и Петрак.

— Пропинайте, прошайте...

И исчезли, будто истаяли за задичавшими от бурьяна плетнями, за нежилыми дворами деревни, которая сама была похожа на умирающего старого человека: душа еще теплится, а тело холодное. Валентина готовила ужин на низкой плитевременке. Дым то ровно уходил вверх, то льнул к земле, затоплял угольной горечью двор, а Петр нервничал:

— Как печенег, Там у Гришки с Анькой по



комнате пустует. В кранах — и кипяток и холодная...

I — Конечно,—соглашалась Валентина. — Какие тут условия!

Но Михаил в душе радовался, что хоть такую Чумаковку застал. Он ехал на родину, а Чистоозерная для него, как и для родителей,— чужбина.

Тихая, зябкая заря разлилась вполнеба. Пётр принес полушубок, укутал им отца. Валентина закончила стряпать и тоже присела к мужикам, набросив на плечи от Непривычной летней сибирской прохлады теплую кофту и прикрыв полой прижавшегося к ней Сережку.

— Дом-то на кого бросили? — спросил отец.

— Пока Олег в нем остался,— ответила Валентина.

— Вот это ловко! — Отец метнул сердитый взгляд на сноху, дескать, не тебя спрашивают, бабу неразумную, когда хозяин тут. — Это как же, дитя бросили, в года не вошедшего, дом бросили...

— Да какое дитя, папа, не расстраивай себя. Приехали—значит, поживем,— успокоил отца Михаил, удивившись, как отец сразу уловил их зыбкое положение. Издалека-то все проще кажется, а тут не успел приехать, и теперь уже странно, дико и вроде баловством выглядело все то, что выстрадал. «Нет, правда, неужто я здесь не гость?» — удивлялся он.

А из Чистоозерной все не приезжали. Уже огни в той стороне кишели — прямо целый город. Улицу заполняли сумерки. Луна стала подниматься, невероятно громадная, слабо нагретая, с темными окалинами, когда где-то за деревней начал нарастать заполошный вопль. Кажется, от этого вопля и перепела и коростели притихли испуганно и черные избы плотней присели к земле.

— Григорий едет,— сказал стен. — Радио теперь пастухам вместе со спецовкой выдают!..

А рев уже ворвался в деревню, и, пересиливая его, властвуя над ним, высился -голос: «Го-ол! Какой красивый гол!»

— Во! — наострился отец. — Только и слышишь: мяч ногами пинают, а весь мир орет, ровно конец света приходит. А еще с кочережками по льду... хоккеисты эти... Тьфу!

— Ну что ты, папа, развлекается народ, отдыхает,— возразил Петр. — Раньше в деревнях тоже в лапту играли.

— Играли,— согласился отец. — А теперь не играют... Нет уж, раз завизжал вот этот мир, значит, захворал!..

«Ишь ты, куда хватил старик,— усмехнулся по себе Михаил. — Мир захворал... Так-то мир всегда хворал. Сколько земля крутится, столько он и хворает. Жизнь без болезней не обходится...»

— Выключи ты свой чемодан! — закричал отец на въезжающего во двор Григория. — Глухоту наводишь.

— Ну, а чего сидеть тут! — тоже зашумел Григорий, слезая с лошади. — Я не знаю, отец, тебя хоть связывай да вези с собой. Сидишь тут... гостей-то как встречать? Ни помыться, ни пожрать по-человечески.

— Ишь, кипяток! К отцу в дом приехал и разоряется — проворчал отец, уходя зажигать лампу.

— Нет, правда, эти старики хуже детей,— обратился Григорий уже к братьям, отпуская подруги седла.— Дитя-то — за ухо да поволок, а с этими попробуй... А-а, ну их!.. — Бросил плащ на седло. — Впотьмах-то и не знаешь, с кем целоваться.

Обнялись. От Григория шибануло степью, запахом сбури, конским потом — такими запахами, какими на родину только и заманивать.

— Два года? Ну, точно — два года не был! Все над нами пролетаете, собаки, все мимо на свои курорты,— срывистым от радости голосом частил Григорий. — Пасешь, а они зудят, зудят, челноки-то белые. Вот, думаешь, может, Мишка на нем полетел... Видно нас оттуда? — спросил наивно и сам ответил: — Где нас увидишь, букашек. Страшно небось на такой верхотуре?

Зашли в дом, а следом Анна с мужем и Иван с женой. С сумками — еды понавозили, не понадеялись.

— Ну, здравствуй, братка... — Анна сдержанно поздоровалась, словно вчера виделась, а с Валентиной — и того холодней. — Мойте руки да за стол,— распорядилась,— а то уже зориться начинает. Зори-то сейчас целуются.

Стала вынимать посуду из шкафа, по столу расставлять. Стройная, длинноногая — вся «свешневская», только характер какой-то чужой: строгости больше, чем у всех мужиков Свешневых.

— Ты, Анютка, с нами, как с пацанами в своей школе обходишься. А под моим командованием тоже триста голов. Не какой-нибудь там пастух, а скотник-оператор. Поняла? Кнопки жму — в одну сторону телята выскакивают, в другую — молоко рекой льется.

— Будет, нашел время зубы мыть,— зыркнула на него Анна.

А от керосиновой лампы свет такой, что и сравнить не с чем, до того отвыкли: тускло-красный, лица едва различимы. А когда-то, после копилки, вот эту же лампу зажгли, так глаза позакрывали — ослепила яркость. Рядом с керосинкой над столом висел электрический шнур с лампочкой, и Михаилу показалось, что все, что с ним сейчас происходит, происходит не всерьез, какая-то нелепая случайность вернула его в детство. Тени на стенах от сидящих за столом, тот же длинный стол, тот же посудный шкаф и стены... Ложку бы выщербатить зубами, да так, чтоб отец не заметил! Или потихоньку толкнуть кого из братьев в бок: гляди, мол, что за чудо с потолка спускается! Тот пока лупит глаза на «чудо», а у него хлеба

отщипнуть или из его глиняной чашки погуще ложкой вычерпнуть...

I — Так что же с мамой-то будем?.. — напомнила сестра о главном. — Врач вчера выговаривал. Сколько, говорит, можно тянуть...\*

— Эх! Что делать,— мотнул головой Григорий.— Тыщу раз говорил: забрать домой да травой поить. Не-ет, пичкают там этой химией! Таблетками-то и молодого можно угробить. А чердак весь чебрецом завешан да кровохлебкой...

— Погоди, Гриша, не горячись,— попросил Иван.— Лечилась же она травами. Сами же поили ее. У мамы это... — Иван покашлял, ^подвигался на скамейке.

Григорий забежал глазами по лицам родных.

— А зачем тогда резать? — возразил, испуганно оглядывая застолье, словно кто-то настаивал на операции.

— Если хотя бы один против ста, все равно нужно оперировать,— тихо, вроде стесняясь старших, сказал Петр.— А потом, чего мы решим? Слово-то за мамой. Так ведь, Миша?

Все враз поглядели на Михаила. Старший, мол, за тобой и слово последнее, говорили глаза. Но он испуганно, как пугался до потери речи, когда мальчишкой ловили за ухо в чужом огороде, оглядел застолье: «Да что же я? Как я могу?» — и с внезапным облегчением понял, что он не самый старший в семье: здесь же отец сидит. Вот он, такой родной, мудрый отец. Отец жив, значит, и мы еще дети, и есть плечи поперед тебя, которые, когда будет нужда, прикроют, и голова, которая за тебя обдумает и ответит.— Здесь, в родном доме, Михаил испытал сейчас это облегчающее чувство слабости. Оно, это чувство, было давно-давно им забыто-перезабыто, ибо там, в его совсем нездешней жизни, он сам отец и ответчик и за себя и за других.

— Ясно, что слово за мамой,— согласился Михаил.— Но и нам надо тоже на что-то решиться. Папа, что ты скажешь?

— Ничего я, дети, не скажу.— Отец сидел, опустив маленькое, заклинившееся к подбородку лицо, и тени от кустиков бровей прятали его глаза.— Уморился я жить, и мать уморилась.

— Чего ты говоришь зря!— обиделась Анна.— Отчего теперь умариваться? Живи да радуйся. Вот хоть сейчас к наложить поедем. Пальцем шевельнуть не дадим... Мать выздоровеет, сюда больше не пустим.

— Не выздоровеет она, глупая ты, хоть и ученая. Мать умрет, и я за ней следом. Старый ворон даром не каркнет, не бойсь.

<— Ты же старый солдат, папа...

— Раньше срока-то чего...

— Вот и поговори с ним...

— Да пришел он, срок-то. Прише-ел! — затряс отец хохолком волос.— К себе она заберет.— Искося взглянул он на Анну.— А Петрака забере-

рете? А Ольгу с Полькой? А-а, то-то! А хошь бы и забрали — это что ж, в скворечнике наверху сидеть? Нетушки. Всю жизнь ногами на земле стоял, а теперь в скворечник? Тело в таз, с горячей водой, а душу куда? Вот он и подвелся срок-то сам собой.

— По-твоему, папа, мы должны вернуться сюда? — Иван вздохнул, поскреб в затылке.— Опять к этим избам, к печкам этим...

— Да не надо, чего без толку буровишь? По-нашему, все кончилось, а по-вашему, слава богу, началось. Мы ж не лиходеи своим детям, чтоб желать вам, как мы жили. Для того ли из кожи лезли, учили вас? Вот и живите на здоровье, а нам этого хватит,— повел отец рукой.— Старики-то, они только языками молоть, а сами отсюда не хотят, хоть того же Трофима возьми...

• — Вот арифметика! — крутанулся на лавке Григорий.— Чего куришь-то?

Отец протянул Григорию пачку «Севера», и Михаил заметил, как дрожала его рука. Григорий, втягивая щеки, жадно закурил, а отец упором рук в стол помог себе поднять тело с лавки.

— Вздремнуть надо,— сказал слабо, почти одним дыханием.— Приустал я.— Глухо и редко застучал деревянной ногой в пол к горнице, у проема дверей остановился.— И вам пора. Заря уж луком взялась.

— Завтра к маме, а мы так ничего и не решились...

— Матчи! — зашипел Григорий на сестру, но отец все понял: от него требуют слова.

Узкая, костлявая спина отца вздрогнула, как от большого толчка, еще больше выгорбатилась и замерла.

— Как знаете,— сказал, не оборачиваясь,— Вы не маленькие.

## II

Операцию матери сделали в совхозной больнице, и через три дня она умерла. Вернее, операцию и не делали, только вскрыли и зашили.

Мать умерла в сознании.

Михаил же, напротив, все эти трое суток был около матери в каком-то помутнении разума.

Она хоть и мучилась — ни разу не позвала к себе на помощь.

«За что? За что? За что?» — твердил Михаил, страдая за мать.

И уже когда копал с братьями могилу, тогда и обуяли мысли, четкие и широкие. Знало ли хоть одно поколение на Руси за прожитые столетия столько страданий, сколько выпало на поколение его родителей? Нет, не знало. Уходит навсегда величайшее поколение величайшей силы духа. Уходит, а мы остаемся, не слабые, но не такие...

Так высоко думал Михаил, выкидывая из ямы податливую глину с тусклым блеском на срезах, и память его сужалась до самого близкого и родного. Вот мать купает в корыте его, трех-четырёх-летнего. Из корыта валит пар, и вода почему-то зеленая и колючая. Это мать сеной трухи запарила — из иван-чая, вязила да медуницы с донником. — Дух густой — окутывает, кружит голову. Мать ошлепывает, трет его зелеными колючими мочалками сена, и он смеется от щеколки. Белый пар, а за паром — округлое, румяное лицо с блестящими каплями пота улыбается и приговаривает: «Косточки, распарьтесь, темна кожаца, выбелись, сына — маленький мизгирь, скоро будет богатырь».

А еще: первый снег из темного неба так накруживал, так вихрил, что от запотевшего окна оторваться сил не было, и колени **ОТ** лавки болели. Тут и вбежала со двора мать, шубу схватила: «Ой, сына, скорей бегом — трактор едет!» Отец **С** крыши сарая корм скоту сметывал, возьми да крикни: «Хоронись за плетень, трактор копытом бьет!» Мать так и — • . : «Не бойсь, сынок, я **С** тобой!» А отец хохотал на крыше.

Черное железо, рокоча синим дымом, выкатилось на зубастых колесах из белой падеры. Трактор никто не тянул и сзади не толкал: сам бежал, чудо такое!

«Господи, господи». — вздохнула мать и, перекрестив его, маленького, понесла в избу.

Не в **ТОТ** ли буранный день, тревожно осенев крестом, благословила его мать на грохочущую железом жизнь?

Мать, **МАМА...** Куда ни метнись памятью, везде она. Если в душе есть епее доброта и нежность, если не растряс **ТЫ** ее, доброту, на гонких индустриальных дорогах, значит, с большим запасом ею напитала тебя мать **СО** своим молоком.

Разве мог кто из детей сам до долгожданного обеда снять **С** высокой пел- "улку да отломить себе краюху? Хлеб могли взять только мать с отцом. "Когда хлеб «сидел» в печи, на печь залазить не разрешалось. «**МА-АМ**, отломи папушки». Хлеб называли «папушкой», «папой», значит — отцом, а для Михаила хлеб начался с матери. Вот она останавливает прялку, достает с полки буханку и отламывает всем. А сама крошки в рот не возьмет — не дело хлеб до обеда есть, — придет да **С** такой доброй лаской на детей поглядывает, столько тихого счастья в ее глазах, потому что дети хлеб едят и хлеба в доме вволю.

В сорок четвертом году председатель колхоза Филипп Маркелович Расторгуев, кособокий старикашка, которого когда-то изуродовал бык, вручил четырнадцатилетнему Михаилу литовку. Косить — дело не страшное, бывало, и двенадцатилетние дети косили, но мать тогда побледнела и взмолилась:

— Филипп Маркелыч, пожалей парнишку! По-

жалей, не ставь на косьбу. Пропадет, не живя века.

— Не могу, Марья, — прятал целый глаз Филипп. — Не могу... — тянул он, сам жалуясь голосом.

— Ну, хоть норму сбавь, — пугалась мать. — Мыслимо ли, полгектара!

— Не могу-у.

Кто косил, тому понятно, что такое скосить полгектара, а кто не косил, тому не дай бог испытать это на себе. Тот кольцовский удалец-косарь, у которого разжуживалось плечо да размахивалась рука, бросил бы свою косу и век бы ее в руки не взял, если бы хоть один день покосил с бабами из деревни Чумаковки летом сорок четвертого года.

Михаил всю жизнь помнит острую боль в боках от бесконечного разворота тела — такую боль, будто ребра под кожей одно **С** другим сцепились и терлись. К полудню у него мутилось в глазах, качалась земля, и он падал лицом в колючий прокос. Приходил в себя оттого, что мать обливала его лицо и голову водой. Увидев ее страдающие глаза, распущенные потные волосы, заплакал от бессилия и жалости к ней.

— Мама, я не скошу нормы. Я **не** могу встать.

— Я выкошу, сынок, я выкошу.

Он будто сквозь сон слышал поспешное «вшес, вшес, вшес», постепенно этот звук удалялся, глохнул, тогда Михаил поднимался на четвереньки и меж крупных блоков морковника глядел на мать, которая копошилась в конце прокоса маленькой серой бабочкой, и странно было думать о том, что она, такая маленькая, сможет свалить этот невообразимый лес трав. Опираясь на косье, он поднимался, ждал, когда перестанет кружиться перед глазами трава, и, утвердившись расставленными ногами, запускал косу в трескучую от знойного полдня траву. Долго ли, коротко ли махал косой, все больше сужая «ручку» и оставляя огрехи. Опять все начинало видеться, как через мутную воду, земля поднималась наклоном, словно намереваясь сбросить его **С** себя в бездну неба. «Вшес, вшес», — мать косила и косила.

Солнце утягивало жар за собой на запад. Заря златоперая полыхала вполнеба. А мать все косила и косила. А когда расплывались по степи прозрачные комариные сумерки, тогда приходили со своих делянок женщины. Они молча заходили прокосы на его **С** матерью деляне и терпеливо, упорно, уже не косили, а добывали, дорывали затупевшими косами его, Мишки Свешнева, норму, чтобы уже при светлых звездах торопиться домой. Часа через три — опять в степь.

Мать заостенела вся, как березовое косье. Обтрепанная юбка болталась на ней занавеской, заплеталась в тонких ногах. В провалистых больших глазах — упорство и какое-то смиренное безразличие. Она уже не стала подходить к свалившемуся

Михаилу. Он лежит, а она косит и косит. А он начал маяться животом.

Приезжал Филипп Расторгуев, боком сваливался с ходка и волок свое кособокое тело по валкам, точно подбитая куропатка. Брал у Михаила косу и махал ею широко, заграбисто близкими к земле длинными руками. Накосившись вволю, отдавал Михаилу косу с обязательным наказом:

— Плечами води, а не руками. В. плечах сила. А на траву вроде бы как серчай.

Расторгуев боком, по-петушиному глядел на вихляющие шаги Михаила, на его тонкие, будто хворостинки, ноги, на закоробившиеся сзади штаны, говорил:

— Ты, Марька, поглядывай за ним. В случае чего... это...

— Уходи, шишига! Уходи, а то... — говорила мать звенящим голосом.

Расторгуев, взобравшись на ходок, кричал виновато, тыча в воздух кулаком:

— Ну, а там-то не гибнут, что ли?

А однажды Михаил не поднялся. Мать косила до сумерек. Пришли женщины, ссадив две косы и опутав кося платками, соорудили носилки и помогли матери унести его домой.

Мать оставляла ему на день три отвара: из душицы, бессмертника и кровохлебки. Он пил отвар, а поправлялся плохо.

Время от времени заходил Расторгуев, наваливался руками на деревянный шишак кровати, видно, тяжело было носить калеченое тело, и спрашивал:

— Ну, скоро?..

А между тем подошла осень. Михаил видел, как пожелтели листья у подсолнуха, который заглядывал в окно, и похолодало в избе. А однажды закутало небо, и пошел, пошел обложной трехсуточный дождь. Мать осталась наконец-то на весь день дома. Перекупала в корыте малых ребят и Михаила, вынесла из избы скопившийся за лето мусор, сама налаживалась купаться, тянула из печи чугун ухватом, когда и зашел к Свешневым маленький, точно подросток, офицерик с молочно-бледным лицом и с темными пронзительными глазами — участковый милиционер Цимбаленко — с виду целый, здоровый, но говорили, что раненый да еще и контуженый. Кроме обязанностей участкового, Цимбаленко исполнял еще обязанности уполномоченного от района в деревне Чумаковке, жил в конторе, если подолгу не пропадал в деревнях по милицеейским делам.

Мать стояла у печи с ухватом, а Цимбаленко сел у окна, устало оглядел сумеречную от хмурого неба избу.

— Вот и осень, — сказал он, кивая в окно, — а сена не накосили...

— Так дождь ведь, — вздохнула мать. — Какое теперь сено? — И настороженно посмотрела на Цимбаленко: не зря, знать, зашел?^

— На току хлеб мокнет. • • Цимбаленко сцарапал с галифе ногтями ошлепки грязи. — А он чего лежит? — кивнул на Михаила.

— Хворает, животом измаялся.

— Хворает, хворает, — выдавил Цимбаленко. — Сена нет, хлеб гниет, а они тут — расхворались... Время нашли отлеживаться...

И без того бледное лицо его вдруг стало желтеть, он поднялся, как-то весь дергаясь, и, подступив к кровати Михаила, скомандовал:

— Вста-ать!

Михаил потрепыхался, но встать не смог. Цимбаленко за ногу ловко дернул Михаила с кровати. Михаил деревянно стукнулся пятками об пол и стал оседать скелетистым телом по краю кровати. Мать с ухватом наперевес пошла на Цимбаленко. Тот даже не отвел рога ухвата. Полез за наганом.

— Руки! — крикнул он. Выстрелил в простенок и тотчас, подхваченный рогами ухвата, загремел через порог в сенцы.

Мать перевела дух, цыкнула на перепуганно плачущих Гришку и Аньку.

— Что же будет-то, мама? — Михаил кутался в одеяло и с опаской глядел на двери.

— А хоть что, — сказала мать спокойно. — Ничего не бойся. Одной смерти не миновать, а двум не бывать. Отзернись, я купаться буду.

Выпроводила младших за перегородку и стала купаться.

К вечеру пришел Расторгуев. Сел к столу так, чтобы уложить на стол свой кривой бок.

— Марька, Марька, — сказал, вздыхая, — что ж ты наделала. Сама пропадешь и детишек загубишь. Он тут стрелял?

— Стрелял...

Мать повела взглядом, отыскивая, куда выстрелил Цимбаленко, и вдруг побледнела. Пуля попала в маленькую застекленную рамку — фотографию старшего брата Степана. Она сняла фотокарточку и, прижав ее к груди, заголосила.

Степан и вправду не вернулся с войны, и мать оплакала его дважды — еде и потом, когда пришла похоронка.

— Одна надежда на секретаря райкома, — сказал Расторгуев, когда мать немного успокоилась. — Ванюшка должен подсобить.

Цимбаленко уезз мать в город, а вслед за ним по осеннему оздоровью утрусил верхом Расторгуев к секретарю райкома Горбунову Ивану Сергеевичу, выходцу из Чумаковки.

Мать вернулась через неделю.

— Ну как же, — рассказывала она собравшимся у Свешневых женщинам. — Иван-то Сергеевич велел меня прямо к нему. У тебя, говорит, два героя на войне? Два, говорю. Вот, говорит, и пускай они там фашистов бьют, а ты тут уж потерпи. Тут, говорит, мы тоже за свое постоим...

— Да подь ты!.. — ахали соседки.

— Истинная правда!

— Против правды не мудрой. Она почище солнца будет. А то стрелять тут!.. Вот и заработал себе ухватом по шее.

— А Филипп-то Маркелыч сам весь кривой, а душа прямая. Сразу здогадался про Ивана Сергеича...

— Ну-у!.. — радовались бабы.

Цимбаленко впервые появился в Чумаковке в середине войны. А вскоре совсем исчез — взяли куда-то на другую должность. И только в пятьдесят седьмом году появился он из области, заявился в гражданской одежде, сразу выказав себя парнишкой-заморышем, и попросился на житье и работу. Говорили, что с большого поста его наладили. Приезду его не обрадовались и интереса к нему не проявили, только не могли понять, почему он пришел в Чумаковку, а не в Чистоозерную, где у него была какая-то родня.

Цимбаленко стал выходить вечерами на посылки, а там его принялись шпынять за прошлый поступок.

Внуки Расторгуева Матвей с Григорием, так те даже побили его. А кого там бить?..

Михаил как раз в отпуске гостил. Пришел вечером из степи, а мать в сенцах с кого-то кровь смывает. Пригляделся — Цимбаленко!

— Пойдем-ка, — говорит, — сынок, проводим.

Идут, а у конторы народ на бревнах вечерует.

Мать Цимбаленко за ру:д к народу и подвела.

— Где Матвей? — спросила.

*f*

Д тот уж, как медведь, на дыбка поднялся.

— Трус ты, Мотька. Тебя *и.и.э* годила трусом, трусом ты и помрешь. Со слабым ты герой! А с сильным-то как воевал? Знать, бегал от немца, если в спину поранетый...

Люди засмеялись, а Матвей зло выкрикнул:

• — Раны мои не трожь! . . . .

— Попробуй тронь человека, — показала на Цимбаленко, который, должно быть, не очень верил в ее защиту. — Попробуй тронь: А тронешь — тогда и поглядим, какой ты!..

С той поры никто Цимбаленко пальцем не трогал. Жил он спокойно, но запил, ззпил. Придет к Свешневым в ограду, завоюет.

— Тетка Марья, Семен Егорыч, выдьте на минутку.

— Да ты в хату заходи, — зовут из окна.

— Недостойн вашего дома. — На колени бухнется прямо в навозные отолочья. — Преклониться перед вами желаю.

— Встань ты, не срамись! — Мать подымала его на ноги. — Зайди, хоть поешь. Замираешь ведь совсем...

Цимбаленко упирался разбитыми сапожонками и в дом так ни разу и не зашел. И вскоре умер.

Мать с Полиной Скорохватовой, когда обмывали Цимбаленко, насчитали на его тщедушном

теле восемь ран: весь кругом был опоясан шрамами да синими рубцами.

И потихоньку оплакали две матери, потерявшие на войне своих кровных сердцу, оплакали неизвестно чьего сына, бедового и бесталанного человека.

«А я бы смог, как мать, не только простить, но и пожалеть и отправить с миром на вечный покой человека, причинившего мне зло? — спрашивал себя Михаил и честно отвечал: — Не' знаю».

От такого признания его душе делалось так мутно, будто это он совершал зло. «Она своей жизнью меня воспитывала, делом показывала: будь таким, а не этаким, но почему она вершиной взялась, а я — бугорчком у ее подножия...»

Михаил знал, что сейчас за родной деревней, под тремя березами с обломанными вершинами (а на его памяти здесь когда-то была целая березовая роща), оставляет он не только мать, но и человека, светлый добрый дух которого долго будет звать его.

Мать схоронили, на склоне тихого июльского дня, когда совхозный оркестр не мог траурным рыданием заглушить набежистого со всех сторон перепелиного боя, журчания жаворонка и разливатого печального журавлиного клика из ближних болот.

- 18

Директора совхоза Цимбаленко увидел Михаил в двухэтажной конторе, похожей на маленький дворец.

Мертвые не воскресают, но Михаила пронял суеверный испуг, когда из-за большого стола крепкими шажками вышел маленький человек. Холок льяных волос, острый кадык, голос зычный.

— Пор-р-разительно! — взмахнул Цимбаленко руками. — Кто вошел: Иван? Петр? Григорий? Свешневская порода!

Пожал Михаилу руку, процокал по паркету орбитно к столу.

«Поразительно!» — повторил про себя и Михаил. Поразило не внешнее сходство дяди и племянника, но то, что в душе что-то странное стало твориться. Михаилу захотелось взять Цимбаленко за руку, водить по деревням и спрашивать: «Люди, вы помните этого человека?» — «Цимбаленко-то? Да как же не помнить? Но этот — другой». — «Другой, — согласился Михаил. — Конечно, другой».

Цимбаленко пощелкал карандашом по трудовой книжке.

— Я вас слесарем направлю на животноводческий комплекс. Не против? Квартиру получите немедленно. Откровенно говоря, я рад, — говорил Цимбаленко. — Вы с женой для нас — манна с небес! Люди нам чрезвычайно нужны.

<sup>1</sup> — Говорите, люди вам нужны, — не утерпел Михаил. — А вот в Чумаковке людей бросили!..

— А-а, — усмехнулся Цимбаленко. — Это временно. Да и дома у них добротные. С годик еще потерпят.

• — Вот-вот — потерпят. Люди многое смогут стерпеть и терпят...

— Ну, знаете... Вы здесь не устанавливайте свои порядки, без вас есть кому этим заниматься, — властно обрезал Михаила Цимбаленко.

— Без меня? Это как же без меня! Я здесь не чужой. Это вы... Дядю вашего помню, а вас вот...

Михаил вышел на улицу. Между рядов пятиэтажных домов, словно из гигантских щербатиц рта, врывался сухой-казахстанец, крутил пыль, трепал на балконах белье, гнул редкие хворостинки тополей. Небо заметно побурело — это с целины сносило чернозем на север, в Васюганские болота. За домами — выбитая догола степь, длинные ряды железных гаражей, за гаражами рваными клочками разбросано с десяток огородов-пятисоток, а дальше справа — ребристые серо-серебряные, похожие на авиационные ангары, корпуса животноводческого комплекса, левее — длинное, из красного кирпича здание механических мастерских. «Железно зажили», — отметил Михаил, направляясь через асфальтированный двор конторы в сторону чумаковской дороги.

Валентина уже работала в магазине и поселилась с Сережкой у сестры Анны, а в Чумаковке остался один отец.

Михаил еще раз оглядел Чистоозерную, которая высилась строениями над плоским, как лист жести, пространством, и не поверил себе: как же это по своей доброй воле будет жить в этом поселке, который не только душе, но и глазам-то не мил? А ведь как представлялось-то там, на шахте: дом купить в Чумаковке, работу найти покрепче, завести корову, овец, само собой и кур-гусей, огород... Мечталось, как в зимнюю стужу входит в сумерках в теплую терпкость сарая, где широкая на коротких ногах самая добрая на земле животица, вздыхая, дышит в лицо утробным травяным жаром; где в отгородке толпятся овцы, выставив на тебя каждая по паре зеленых фонариков-глаз. Представлял, как поит он их из ведер, убирает навоз, мечет сено в ясли... А потом сразу не идет в дом, стоит на дворе в затишье от стога, смотрит на белые и пухлые от мороза звезды, прислушивается к жутковато-темному пространству степи, и бланность сходит на душу оттого, что тепло и сытно скотине и что сам сейчас войдет в сухо натопленный дом, где разденется, отходя потихоньку думами от дел своих, сядет за стол и будет читать умную книгу, изредка отрываясь от чтения, чтобы, глядя на толстую наморозь окон, подумать, повспоминать.

И весенняя, и летняя, и осенняя жизнь представлялась Михаилу в родной деревне — и все

того добротней и прекрасней. Но он хоть и догадывался, но гнал от себя эту догадку, что мечтает о деревне своей, о прошлой, которую тут уж почти все позабыли, кинулись к новой, которую и деревней-то назвать язык не повернется, да так спешно кинулись, что впопыхах позабыли не только старый уклад жизни, но и старых людей...

Но если говорить по правде, то не вприпрыжку, конечно, бежали люди от старой деревни к новой, они ее, новую-то, долго и трудно строили. «Пока я три года служил в армии да двадцать лет, как сказал Черняев, выращивал шахту и рос сам, они тут двадцать лет выращивали деревню и сами росли. Моя беда, что все годы на шахте я жил с душой крестьянина, тянулся из-под земли на землю, но с какой же душой я вернулся сюда? Кто я здесь?» — спрашивал себя Михаил, шагая в Чумаковку меж набежистых волн пшеницы придорожного поля.

Он растирал в ладонях колосья с младенчески-молочным зерном, нюхал, пробовал на вкус: но ни запаха, ни сладковатый вкус не напоминали ни вчерашний день, ни прошлый год, а что-то далекое-далекое, почти за пределами его памяти в жизни, и меж этим далеким и сегодняшним ощущалось громадное пространство любви к родной земле.

Он стал гнать от себя думы, а они — что воробьи на бурте зерна: сколь не гони, опять слетаются.

Из переулка верхом на саврасой лошади выехал Антон Лабунов по прозвищу Лабуня. Такие мастера чумаковцы фамилии на свой лад обтесывать! Лабуне далеко за семьдесят, но выглядит моложе своих лет, а уж если в седле, то прямо спортсмен. Михаил невольно улыбку распустил по лицу. Сколько он им, ребятишкам, скачек устраивал! Председатель колхоза Никита Семенов, помнит, и на собраниях его ругал, и трудолюбей лишил за то, что в баловстве лошадей тратит: «Не жалею, — трубил Лабуня. — Я защитников Родины учу». — «А я жалею? — сердился председатель. — Да они ж, мартышня, вон какие, все спины лошадям протерли».

У Лабунн маленькое, сухонькое тело, но длинные, жилистые ноги врасширку. Ходили слухи, что в гражданскую Лабуня долго не знал, к какой стороне пристать, но у белых его никто не видел, а у красных с тем же Никитой Семеновым вместе служили. «Так у белых-то бывал?» — допытывался какой-нибудь досужий мужик. «А што, спытать хочешь?» — отвечал Лабуня, и губы его маленького рта сжимались в гузку, а подбородок заострялся клинышком. И любопытный отставал, потому что помнил, как за такой вопрос Лабуня хряпнул об стену амбара семипудового Авдея Тонких: поднял, как полено, и швырнул, и у того «подборы» сапог отскочили.

Лабуня был первым председателем Чумаков-

ского колхоза и со своей бесшабашной отвагой и лешей силой «гнул в три погибели контру». Михаил того не видел, какой он был раньше, но сколько его помнил, все он с лошадьми да с ребятами: «Лошадь одной рукой бей, другой себе слезы вытирай», — запомнилось лабуническое навсегда.

— Кого я вижу, сам не рад! — Лабуню будто смело с седла, и сразу перед Михаилом предстал старичок-раскоряка. — Мы ить так и не потолковали с тобой, Миша. Семен-то Егорыч... Эх, Марька, Марья... Были кони, да изъездились...

Лабуня надвинул большую кепку на г/аза, зашуршал плащом-болоньей, натянутым на ватник, стал доставать курево.

— Ну что ж, вот ты теперя... Сколь ни бейся, а родина держит. Родимая-то деревня Москвы краше, а, Миша? — И вскинул на Михаила свои мутноватые глаза, точно примороженный паелен-поздничок.

— Да ведь нет ее. родимой-то, — пожаловался Михаил, завидуя .. что для него деревня всегда была и еще вел

— Как же — нету? Это для нас, стариков, нету. Цимбаленко такого молодца с руками-ногами схватит. Вас, молодых. **Вперехват-вперегон...**

— Тело-то схватит, а душу...

Михаил погладил по гл:::л бархатистой шее задремавшей лошади, пахнувшей неповторимым запахом веков.

— Не старый еще савраска? — спросил, с какой-то неизъяснимой нежностью произнося слово «савраска», такое мягкое и, думалось, на век им забытое русское слово.

— Во! — хлопнул Ла: <sup>7</sup> ухой по плащу. — Ну ить... — Он затряс гол:я:ас — 5с-дь помнишь же масть, а! А у нас счас деревенские, а лошадь для них черная и красная. Н; . от: Умереть мне и не ожить! А, к примеру, игренева?.. — устроил Лабуня экзамен.

— Так это совсем рыжая дет с грива и хвост беловатые, игренька, значат. А буска — бу-ро-дымчатая, — разохотился Михаил — Чалый — серый в смеси с рыжим или с вороным, вороно-чалый. — И еще повторил с улезала станем по слогам: — Во-ро-но-ча-лый. А? Дяд- :н! Слова-то какие!

— Миша... Эх ты, дьявол! Любить тебя некому, а мне некогда. — Лабуня потыкал пальцами в подглазья, должно быть, унимая слезу. — Душа живая, живое понимаешь, тогда в красе и слову не умереть. Вот ты — двадцать с лгтдком лет... А весь прям тутошний. Уехал, завился, а жил бы тут да выучился и был бы замесе: Н:::аленко нам, — высказал с упреком. — Да время в обрат не перевалишь. А хорошие люди, **СЕК.** ахать, и там, на шахтах, нужны.

— Нужны, да не всем, дядя Антон.

— А всем и не надо, любя-ч.:;:- — тстоизо

подхватил Лабуня. — Напроть надо, чтоб кой-кого трясло от тебя. Я сам, бывало, во! — сделал он крутой взмах рукой. — Ты заходи ко мне домой. Или прямо в конюховку-тепляк. Я там больше. А то заседаем — да в степь. В матушку-кормил-цу. Ею ты рожден, светлый человек!

— Да ладно, чего уж ты меня возносишь, — поскучнел Михаил. — Приду. Ты сам заходи.

А дома отец, приладив к ноге-деревяшке лыжицу, чтоб не тонула нога в черноземе, окучивал картошку. Михаил — за тяпку да к нему. В такую радость работалось! И странно и приятно было оттого, что тяпка не звенела, не скребла по камням, как у него на склоне сопки, а плюхалась в тяжелый мягкий чернозем по самую трубицу.

Картошка выше колен, ботва толще пальца: прет, растет прямо на глазах, а сирень у окон давно посажена, но мала и коряжиста, и клены такие же: вкривь да вкось. Стволы и каждая ветка колечаты, суставчаты, корявы — с таким жестким упорством борется дерево за жизнь с лютостью холодной зимы.

— Поступил работать-то? — спросил отец, опираясь худой грудью на тяпку и дыша тяжело, перехватает

— Нет, поступлю еще, — ответил мягко, наливаясь болючей жалостью к отцу. — Пошел бы ты полежал, папа. Зачем тебе огород этот?

— Налержусь еще, сынок. А то ведь ляжешь да не встанешь.

Отец, выгнув худую спину, опять мерно и забывчиво задвигал руками. Весь в задумье, весь в себе все эти дни после похорон, а по ночам не спит — то сидит на постели курит, а то уйдет во двор и долго-долго не возвращается. Михаил одевался и выходил к нему на лавку, где он, уложив руки в колени, сидел, перегнувшись, со своими скорбными думами.

— Что ж ты, сынок, поднялся — до свету еще далеко, — говорил отец, а Михаил по току его голоса знал, что отцу лучше из-за того, что его одного сын не оставил.

— Да я. выспался уж. К ночным сменам приучен, так...

Михаил тоже спать не мог. С вечера забудется часа на полтора-два, а потом хоть глаз коли. Думы, бесконечные думы — ни сна. ни покоя. Так широка, так велика жизнь одного человека, что даже думами во все уголки ее не заглянешь, не проверишь. А оказывается, что твоя жизнь — это жизнь не одного человека: так ты весь опутан, окружен другими жизнями, судьбами, так плотно и широко пронизан ими твои пух, что и одинокая маленькая жизнь одного становится не одинокой и не маленькой.

«Мы только рождаемся по одному, и никто за мгновение до рождения не знает нашего голоса, внешности, будущей нашей жизни, будущих мыслей, а живем не по одному и умираем не по одно-

му, если даже смерть одного от другого разделяют десятилетия. Брат Степан не один умер, и мать — тоже, потому что мы живем, думаем о них и о живых, но и о мертвых, а значит, и в каждом из нас что-то умерло вместе с ними и, чем ближе га последняя черта, тем все крепче связь с живыми и мертвыми. Отец теперь, наверное, продумал всю нашу жизнь наперед и не раз уже примерился мысленно, как он будет лежать рядом с матерью на вечном покое».

Так уж не одну ночь они сидели рядом, и отец, словно понимая его мысли, сказал:

— Сынок, а тебе поспокойней надо бы жить и спать надо. Тебе еще рано думать так, как я думаю.

Михаил направился в дальний угол огорода к березе и вдруг встал столбом — березы не было. Вернее, от нее был высокий, метра в три, пенёк и вроде бы не пенёк, а половина березы с двумя зелеными ветками около зачерневшего омертвевшего верха. «Да когда же это она? Приезжал в отпуску — все была. И сразу...»

— Да вот уже года два как почернела и подломилась, — пояснил отец, — ее твой дедушка Егор сажал. Пожить бы ей еще надо было, а вот... У березы с человеком век равный. Пожить бы надо, а она что-то рановато.

— Болезнь какая-то. У них тоже болезни бывают, — сказал Михаил низким голосом, вспомнив про яблоню, разорванную бурей. «И Ель мою с Изгибом По-лебяжки ущебило в вершине. Уехал второпях, не сходил к ней».

Но посидеть им не дали. Прикатили на «Жигулях» Иван с Петром и Анна с Валентиной. Анна сразу начала выговаривать отцу, чтоб не смел больше братья ни за какие дела, и увела его в дом. Валентина вслед за ней понесла сумки, в которых были закутанные в полотенца кастрюли с горячим варевом, а братья уселись на скамейку какие-то молчаливые и даже обиженные. «Чего это они?..» — покосился на них Михаил, споласкивая в кадлушке руки.

— Ну, ты чего вообще-то, — начал Иван. — К нему по-доброму, а он... Повернулся и пошел. Цимбаленко мужик дельный... Ого, какой! Не сыотрп, что ростом мал. Головастый мужик.

Валентина растапливала лежанку и одобрительно прислушивалась к Ивану.

— За директора, что ли, обиделись? Ну? — Михаил внешне весело спрашивал, а братья старались не глядеть ему в лгшо. — Ты же сам сказал: приедешь — увидишь. Вот я п хочу поглядеть.

— Чего глядеть? В общем, давай к нему завтра...

Михаил молчал.

— Сорок человек кадров по совхозу не хватает, — бубнил Иван. — Директора ведь тоже понять можно. С него тоже спрашивают.

— Чего ж ты гундишь, Ваня? Да пускай хоть

четыреста не хватает. Вы там у теплых батарей греетесь, в телевизоры поглядываете, а родители ваши лампешки жгут... Позанимали родительские квартиры, вам и хорошо.

— Да при чем мы?! — набрал голос и Иван. — Нам, по-твоему, за деэять километров на работу ходить? Он, гляди-ка, прилетел, страдалец, а мы тут чурки. На работу-то нам как?

— Ходить отсюда, раз выхода нету...

— Ну, поглядим, как ты будешь ходить, <— пообещал брат. — Тогда что скажешь!..

— А Миша правду говорит, мы сами виноваты, — заговорил Петр, с опаской косясь на Ивана. — Надо было упереться. Мол, не поедем, пока стариков не переселим. Нашли бы квартиры, куда бы они делись. Они и теперь у него резервные есть, квартиры-то. Ждет, кому их дать.

Иван, обиженный, ушел к машине. Валентина подседа к Михаилу, и Петр, заметив по ее лицу, что он тут лишний, пошел в дом к отцу.

— Что же, Миша, так и будем жить? — Оглянулась на двери, спешно прижалась к нему тугим боком, вычастила с жарким смешком: — А я уж соскучилась...

— Ну и приходи сюда, хоть дня через два. Что тут прогуляться... Отца же нельзя оставлять одного.

— Нельзя, — согласилась Валентина. — А как же. когда работать начнешь? Не находишься.

— Там видно будет.

— Ты. Мпшок, уж и верно, не лез бы на рожон. Они же, наверно, тоже тут думают, как им лучше...

— Не буду лезть. Не буду. Все, — твердо по\*обещал Михаил.

Говорят, не шло бы время, не пришла бы и пора. Но шло оно, время Михаила, и быстро шло, и пора его пододвигалась.

Михаил ремонтировал на животноводческом комплексе немудреную для него технику: автопоилки, водопровод, скребковые и ленточные транспортеры, чем-то напоминавшие ему старые конвейеры шахты, п ходил ночевать в Чумаковку.

Отлетела в золотой осенней тишине клочковатая и белая, точно вата, паутина, подошло мрачное, слякотное предаярье. Валентина грозила:

— Оформлю квартиру на себя. Сколько же мыкаться-то нам по чужим углам? Семья мы или кто?

Михаил понимал: правда, так нельзя. Семья не семья, и сам тут только слесарь, а не человек.

— Домой не тянет? Не тоскуешь по родине-то? — спрашивал жену, втайне желая услышать от нее, что тоскует п попросится домой.

— Какой там, — печалась, вздыхала она. — Во сне — все дом и дом. И Олег покоя не дает. Написать ему, пускай едет сюда. Техникум-то и тут найдется. Здесь жить можно. Люди хорошие и по\*



село какой! Лучше города поселок. А квартира, Миша!.. Мы сроду в такой квартире не жили.

— Потерпи с квартирой, Валя,— душевно просил он. — Поживем с отцом, а нет — так рядом с ним. Вон сколько домов пустует. Сережка зиму у Ани проживет, а на работу на лошади ездить будем. Еще как и хорошо на лошади-то! В кино только и впляла русских красавиц на тройках, — старался Валя шуткой сбить жену с ее прицела, переманить в Чумаковку. — А чем ты у меня не красавина?

Обнял ее тугую, матерую, и отпрянул, чтобы зря не дразнить себя при белом дне, когда отец сидит за распахнутой дощатой заборкой.

— Вот! Вместе и врозь. Жизнь разве? — сказала Валентина, отворачиваясь и оправляя платье. — Ее тавно нашу квартиру Цимбаленко старикам не отдаст, не жди. Их летом перевезут, в новый дом будут вселять.

— Вот и мы вселимся за ними следом. Полгода подождем. Старики будут ждать, а мы чем лучше?

— П:—тз:—г е:е равно не будет.

— Бума Не дойду в квартиру вперед стариков — вот 2 г:— : ему.

— Да ты : : а :т аеаиься ли тут жить? — с подзрением *De-ZzZi:-* на него жена.

— Я? — всжзззззз Михаил, словно пойманный на воровстве — Наверное, собираюсь. Только ты не ломань *м-г* — тез колено. Думаешь, я дуг:—? Ты ТУТ чел:—tea— свежий, тебе проще. А я дол. сними... *Z-i* ' —д: айльными были...

— Гоеп:— тут он должен, — сокрушенно начала Бе...—:— а таловой. — Двадцать с лишним лет здесь ве жаьг — д должен. А братья переехали, и ничего.—

— Как же ипего? Они уже спохватились, а не спохватит:п:— . :— :—нзатятся. Позже им все вывернется, *сжашгзск*. Так не пройдет. Поторопились мужеззле

— Бетья -а» *жж*. беляный. — Валентина забродила палыявш з его волосах. — И седеешь, и седеешь... Так тяжело живешь — тебя хоть з рай отправь, **ТЫ** і там гетдду тяжесть найдешь.

— Ниче: —: абразуется, залегчает.— :— "ворил Мпда ' - - -:z нежной любовью к жене. — А мне тоже д: \* -а\_ снится и шахта тоже. Каждую-ночь в «таге бываю... Такая проклятушая зараза!

— **НШ1** нет .-: \*:=? — вроде не спросит. а как бы П:д~:—"4:— *zi* Валентина. — Нет уж. Миша, приехали, та; • —:—: летать. И тебе крап т:дной, и род-л *и-л* хорошая У тебя р:а : — говорила ей! г :-. пачему-то не радовал:— ее добрым стаз: \*« : —:—:дне и удивлялся тому, как она легко <гг—ц— гт своего кровного и приживается к **ЧУКЗЖУ**.

— Во! — У.шт.т кинулся к сумеречному ткну. — Панд:а- . —: ;дд-кусучая! Надо-олг: лап-

шла,— радовался он по-детски первому снегу. — Папа, снег пошел!

В передней закрипела кровать: отец одевался и пристегивал деревяшку-ногу.

— Что ж,— говорил он, кряхтя,— пришла пора и зиме. Вошел в горницу, оглядел сноху сухо-воспаленными глазами, большой костлявой рукой провел по зажелтевшему широкому лбу, оправляя с него белую полоску волос, как бы — готовясь к чему-то торжественному, и тоже приложился к окну.

— Пришла-а,— подтвердил еще. — На мокрую землю, к урожаю. Снег ночной надежный. — Отлепился от окна и пошел опять к себе в переднюю с каким-то ожившим просветлением в лице: — • Готовь, сын, лампу, да печь затопляйте. Зиму встречать будем.

«Чему радуются? — недоумевала Валентина. — • Вот уж радость — снег!» — Но сама тоже улыбалась — очень уж приятна была ей такая редкая за последний год радость мужа.

Михаил принес дрова, ведро угля, затоплявая печь, все радовался, мечтал:

— Эх, а утречком-то раненько запряжет нам дядя Антон савраску в кошевку, да по первопутку на работу с тобой! Колокольчик бы к дуге — теперь уж, поди, нету колокольчиков..,

И правда, славно назавтра прокатились! Савраска, сытый еще летним кормом, ходко пронес кошевку по крупчатой, шушастой от морозца пороше. Михаилу — в воспоминание, Валентине — в новизну так радостно-коротка оказалась дорога, что про все на свете забыли, и себя тоже, целовались, как не целовались перед свадьбой. }

Но набирала силы зима, снег сперва заубродился, потом жестко запесчанился, заребрился острыми застругами... Савраски да нгрейки пустые сани не могли тянуть, потому что овес они видели только во сне, как Михаил шахту. Совхоз на лошадей корм не планировал, и они доживали свой век как бы вне закона. «Возьми лом, убей лошадь, а управляющий тебе спасибо скажет», — жаловался Лабуня Михаилу, смахивая со щек скорые от мороза слезы. Кормил он лошадей пшеничной соломой, которую скотина ест только перед голодной смертью. И даже солому Лабуня «косил дугой», стаскивал с совхозного сенного склада.

И остались старики чумаковцы еще на одну долгую сибирскую зиму. Изредка до Чумаковки проламывался трактор «с товаром»; приволакивал на волокушке-прицепе железный ящик, нагруженный вперемешку замерзшим хлебом, стиральным порошком и прочей мелочью, крайне необходимой человеку. Пустынно стыло девятикилометровое пространство между Чумаковкой и Чистоозерной...

Михаил дважды в день, кроме выходного, мери́л пешком эти девять километров, как бы попадая из полувекового прошлого в современный мир — и обратно. От ветра-деруна у него подпеклась, задубела на лице кожа, высинилась пятнами ознобов. На день-два закручивала метель, с сухим просвистом несла верхом и низом белую пропасть снега, и Михаил оставался ночевать у сестры. Валентина радовалась, но радость свою слабывала колючим осуждением:

— Дурачок ты дурачок, и я от тебя дурею. Или я тебе так уж постыла, что только буря и загоняет ко мне? И ведь наплетет, наговорит всячины, а я уши развешиваю. Дура!

— Поживем маленько в дураках, — терпеливо отшучивался Михаил. — Для интереса.

С Иваном встретились на ферме, и тот попенял:

— Ты нэ смеши людей-то. Ей-богу, уж смеются.

«&» Пускай. Смех не слезы — полезный...

• — Да нет, ты ходи, но не так же, не каждый день, а то и перед отцом нас всех выставляешь. Чего там каждый день-то? Что, отец печь не протопит без тебя? Топливо под рукой, продукты... Мы вон прошлую зиму в тракторную будку все грузили да раз в неделю — к ним. И теперь бы так. Он же не один там...

В голосе Ивана была и просьба, и обида, и виноватость. Михаил понимал его и жалел. У него к Ивану с детства спрятана в душе особая жалость. Иван голода не терпел или терпел как-то по-своему. Сидит, бывало, на лавке пузатым лягушонком, обхватит босые ноги, поджатые коленями к подбородку, покачивается и скулит тоненько. Таким почему-то помнится Иван ему всю жизнь.

— Не переживай ты, братка, — попросил и Михаил вытоньпенным от сердечности к брату голосом. — Работа у меня легкая — что же мне не прогуляться... Я, может, для себя хожу-то. Может, я сам на острой ребрине стою — того и гляди, не туда вступлю. Я тебе скажу, а ты помолчи пока, никому об этом... Не хочу я привыкать к Чистоозерной. Боюсь. Привыкнешь — и будешь не по душе жить, а по привычке. Уеду я отсюда на шахту, в свой дом обратно, — признался неожиданно не столько брату, сколько себе. — Хоть в одну, хоть в другую сторону глядеть — сложно, не переказать всего.

Так вот поговорили коротко, и Михаил с того часа как бы сбросил с себя тяжелую противную ношу, но наказал себе не горячиться: не рвать галопом с места — ученый, слава богу, рванул уж раз, а теперь надо собрать, слить в себе воедино то, что так растеклось в нем в последние годы. «Лечись, тут вылечишься, все небо твое, — думал едко, вышагивая по своей дороге. — Вон оно. все твое, чего ж не радуешься? В себе света нет, так и на небе не найдешь...»

А свет был в Михаиле, да еще какой свет! Он только поубавился было, поослабел, но с первых месяцев приезда на родину в душе словно сквозное дутье наладилось: потянуло, накаляя жар-свет. И тянуло все с одной стороны, оттуда, с востока, из Многоудобного, из садов-огородов распадка. А то дохнет липким, сладковато-терпким неповторимым сквознячком шахты, и тогда сердце заколотится-заколотится неумно: «Ах ты, зараза, а?! Ну, не зараза ли! — охватывала Михаила саднисто-печальная радость. — Имеем — не бережем, потеряем — плачем, — твердил тогда свою любимую поговорку. — Как все на расстоянии-то дорого. Вот, если бы было возможно, жил бы я в двух лицах тут и там, то-то бы счастлив был! — И усмехнулся своим нелепым мыслям, а потихоньку-помаленьку зрело в душе другое: — Нет, не нужно раздваиваться, не нужно. То, что имел на шахте, никогда уже не займем на родине, если бы даже жила-здоровствовала Чумаковка. Я уже весь в другом, и другое это проросло через мое сердце, только вместе с сердцем и можно из меня вырвать. А уж Чистоозерная-то мне сбоку припеку».

А время тянулось — да так напряженно, будто толстенная резина между шахтой и Чумаковкой натягивалась: вот-вот оборвется и прихлопнет, как муху. Сны стали донимать и такие четкие, живые: то будто идет по штреку, а навстречу сплошь свои шахтеры из забоев, и каждый здоровается и спрашивает, какая на-гора погода. А то вдруг такая нелепость: Ель с Изгибом По-лебяжьки стоит на месте спиленной яблони, а дом ширит двери раззявленным ртом: «Миш-ша, Миш-ша...» — дышит дом.

В ::: о:е получил письмо от Азоркина: «Доб-и рый день, веселый час, — начиналось его письмо. — Да. Веселый. Тебе-то не шибко весело от меня письмо получать... Осенью ходил к тебе домой, у Олега адрес взял. Он ничего парнишка, весь в тебя. Посидел на твоём крыльце. Ага. Так, знаешь, больно. Жили не тужили, ты тут был. Ну, был и был. для меня все были. Лилось, знаешь, катилось. А теперь тебя тут нету. Да, брат, нету. Больно. Наверно, тебя не одному мне здесь не хватает, бука ты монголистая. Костя Богунков у меня твой адрес взял, жди, напишет. Шахта зудит, пошумливает наша соковыжималка. А чего! Походил бы еще в нее, потряс ей потроха, да вот петух клюнул в зад. Как ты говорил: имеем — не бережем. Крашу все быткомбинат. А ты там, наверно, землю пашешь. Валентине привет передай, и простите за всю бузу. Живу в общежитии, завалюху бросил. Не женюсь. Тоскливо, напиток охота. Был бы ты, пришел бы к тебе трезвым. Пришел бы, а вот и не придешь...»

Валентине письмо не показал — опять беситься начнет. А сам задумался: «Все здесь ушло в даль невозвратную, и весь я там, как Черняев

говорил. Вот и не хватает силы у крестьянской крови удержать, хоть и держит. Видно, еще один разбег делать надо: рвануться и — навсегда. Не поздно. Поздно будет после смерти, а уж дети как раз пойдут одним путем, без срывов. О них-то забота поглавней, чем о себе».

А о стариках чумаковцах еще в начале зимы догадался в-агшсать письмо в областную газету, просил, чтоб прислали корреспондента в Чумаковку.

Корреспондент приехал, когда на чумаковских почерневших от старости скворечнях запели скворцы. Цимбаленко сам возил его в Чумаковку, потом показывал новый дом, в Котором уже начали внутреннюю отделку.

Замес::;; .. в газете быстро напечатали, в ней сосаедл-::е. что в таком-то совхозе такого-то района «аде восемь пенсионеров в ближайшие дни справят воаоселье в благоустроенных квартирах».

На рондн-дъское воскресенье утро пало пасмурное, глух:: :-;- редкий туман-плакун, просеивал через се-ф? студеную липкую изморось на черные дома : -:- на разбухший чернозем огородов. Где-то за сараем сырими, надорванными весенней Т2д:~--: голосами каркали вороны; над окном, г:а **нетли** застрехой, мягко чулюкали воробьи, словжэ с крыши в кадушку катилась вода?

У **Mej.if.-i** - **-ела.** ныла в сросте давнего перелома нога, **ж** ш зозился, искал ей прохладу.

— Спи. **-е-** : : :дъся-то,— сердилась Валентина через 5.131 : : :ненье и снова проваливалась в забытье. Ли : **ее** мертвенно покоилось, залитое тяжелым рум-хэБХ-м :т лишнего сна.

Отец **Е2д:л-:** - :лнл во двор, возвращался, заноса с : : . тепло дома сырой, сладковатый и на-: ' :.:": запах оттаявшей земли и навоза.

— Не грае: " а-'-та.— говорил он глухо, вроде для себя. **и.** Михаил не спит. — Куда по такой слякотж!

— Ранняяг -:-: : :беда. — Михаил поднялся и вышел в --:-:~:~: —Туман к погоде. Глядишь, к обеду ixjiJUULICH.

— Да, оvs гл. **Зелекняя** грязь усушиста,— соглашался отеда — **Еегзсн** ведро воды, а ложка грязи.

Сидели 31 **ГГАЕЖ\*** столом с ножками-крестовинами, гл.-д:-- \* : : **ень,** обвешанную крупными светлымг пт...-\* **годы.**

— Я, **ПАВА,** **яий** аоеду,— сказал Михаил. — Сережка **ИМЧШИК.** Я воедем. — Михаил исподлобья покосилгс 51 — г. но тот будто и не слышал его, не -зедд-УХГ-лея, ни слова не проронил ответ:-:.-: — . - -а уж ясно, к осени переедешь **В** Читгссзес -уте—продолжал Михаил.— Будешь пенед:-=д :-:~:~:чаньку около внучат. Вам, старикам, аса **ВВВАО** от Чистоозерной никуда

не деться, не то что мне. Погостил, и хватит. Загостился уже. Ты уж прости, папа...

— Чего «прости». **He** вижу я, что ли, с какими мыслями живешь? Поезжай. Мне ведь лучше, если тебе лучше станет. А Чумаковка что человек: умерла — жалей не жалей,<sup>1</sup> все равно не вернешь,— махнул отец слабой рукой.

Михаил глядел на отца, под недельной сивой щетиной которого глинисто желтела дряблая кожа, глаза ввалились в натянутых землистых веках, и трудно было ему, Михаилу, дышать через сжатую болью душу.

— А ее уж и жалеть некому, Чумаковку,— продолжал отец, собрав в легкие воздух и выталкивая его из себя поддавками, отчего одно слово у него выходило криком, другое — сипом. — Ребятам она уже не нужна, а на нас и глядеть нечего — свое отжили.

— Куда это ты ехать собрался? — Валентина шагнула из горницы, тяжелая и ленивая со сна. — Собрался, а мне ни гу-гу. — Она заглянула в умывальник. — Воды бы принес,— сказала, залавливая зевок. Своим присутствием, своими ленивыми словами через зевоту Валентина как бы трогала походя живые раны отца и сына.

— Нога у меня болит, сходи сама за водой,— попросил Михаил. — Да оденься — холодина же.

Не оделась. Ушла **В** халатике без пуговиц, под пояском.

— Бил когда? — спросил отец, едва заметно улыбаясь глазами.

— Нет,— покачал Михаил головой. — А может, и надо бы иной раз.

Часам к десяти вдруг дунул ветер, собрал и унес всю взвешенную мокреть. Стало голо, солнечно и ветрено. Ветер с тугим шумом цедился сквозь плетни, сгонял птиц за пустые скотные базы, даже воробьи примолкли **В** уюте затишка сараев.

После обеда, прихватив лопаты и грабли, все трое пошли на кладбище. Пока окапывали, оправляли могилы, на двух машинах, битком набитых взрослыми и ребятней, приехали из Чистоозерной все четыре семьи. Шумно, как на гулянье, расстелили брезент, готовили еду женщины. Мужики курили в сторонке, а нетерпеливый Григорий все торопил:

— Да будет вам, нашли ресторан!

— Успеешь,— одергивала его жена. — Дай детей накормить.

Ехали-то к матери да к деду Егору с бабушкой Анисьей и совсем выпустили из виду, что тут схоронены прадед Захар с прабабушкой Ефимьей, тоже по отцовской линии (материн род велся из деревни Кучумовки, в сорока километрах от Чумаковки), а еще — дядя Захар, умерший **В** молодости, тетка Евфросинья и даже родной брат Владимир, рожденный между Степаном и Михаилом, и Михаил его едва помнил... И еще тут лежало

Свешневых н» счесть сколько — двоюродных да троюродных, которых отец называл-называл да и сбился.

Григорий расставлял налитые граненые рюмки по бугоркам, прикладывая по паре яичек и печенья. Над могилкой брата Володи постоял в раздумье:

— Тебе рано, тебе молочка бы налить, — сказал, озираясь с неестественной улыбкой, и положил конфет с печеньюшками. — А ты вот уезжать, да? — перекинулся на Михаила. Будешь там один!

— Сядь, — Гриша, садись давай, — мягко говорил Петр. — Тут шуметь нельзя, не положено, тут ветру только шуметь можно.

Поминали молча, и даже ребяташки притихли, забились в машины от сиверка, а ветер свистел в бурьянах, басовито гудел в трех старых березах. Вокруг кладбища там-сям стояли разноцветные машины, кучками сидели люди.

К Свешневым подошел Трофим Тонких, вынул из кармана брезентового плаща бутылку и стакан, плескал на донце, обносил по одному;

— Помяни моих родителей.

Потом налили и ему. Трофим подержал стакан в долгой задумчивой паузе, повторил трижды «вечная память», выпил и, обколуывая яйцо серым от глины ногтем, сказал:

— Запашут наших родимых. Я с председателем сельсовета об этом толковал, с Пашкой Четверых.

— Да что им, степи мало?

— Вот и я тоже Пашке. — Трофим положил сразу все яйцо в рот, принялся жевать. — Да-а... А он мне и ответил: ты че, говорит, дед? Если, говорит, с древних пор могилы бы берегли, то на Руси и пахать бы уж негде было!

— Ты не мути, дядя Трофим, — вмешался Иван. — Осушим гектар-два болота заместо кладбища — и разговора нет. Все в наших руках.

День поклонило к вечеру, и все заторопились уезжать, только Григорий уперся:

— Ну вас! В Чумаковке ночью.

— Гляди тут! — построжилась его жена Лида, усаживаясь в машину.

Прихватили подвезти домой утомившегося отца и уехали.

— Тут не плакать, а песни задумчивые надо петь, не знаю только какие... — сказал Григорий Михаилу. — А мне не все равно, где жить и лежать потом. Я и тебя люблю за это.

«А мне не тут, а там, возле шахты, где дед Андрей, Караваев, Иван Васильев... — мысленно возражал брату Михаил. — Разница-то есть. Прадед Захар тоже нездешний, воронежский...»

— Вперед-то беги, да назад оглядывайся, — кутаясь плотней в куртку, вел прерывисто речь Григорий. — Попробуй не оглянись — завтра же в ничто превратишься...

А ветер, будто взамен «думных песен», не уни-

мался к ясному студеному предвечерью, проламывался через корявые ветви трех старых берез и гудел в их суховершье торжественно и вечно,

Были они или не были, эти годы, что испытывали жизнь Михаила Свешнева и на излом и на давление, как рудстойку в шахте? Гнет ее, рудстойку, корежит, иная подламывается, а другая стоит напряженно. Думаешь, вот-вот расколется или переломится, ан нет, стоит, отекает соком, выдавливаемым из нее породой, будто кровью обливается. И выдержит, спасут ее, целехонькую, поставят в новое место, где полегче держать кровлю — и не ту кровлю, что зовется крышей дома или сарая, а в шахте, монолитом нависшую над человеческими жизнями, веса которой никто не знает. Живет рудстойка второй век, значит, жизнь свою дважды оправдывает.

Михаил возвратился в Приморье в конце июня. Еще как повернул поезд от Амура на юг, так и почувствовал особый воздух: не такой, как в Сибири, и не для каждого гожд. В Сибири у Валентины голова побаливала, там крепкий воздух, а особенно зимой, кажется, взмахни топором — и расколется, как стекло. Михаил после Приморья надышаться не мог; встанет у колодца за огородом и глядит, глядит в степь. А что там увидишь? Ровнота, что столешница, только синее, подрагивает на срезе земли и неба гребешок березовой рошцы, — в Сибири их колками называют. Детство свое, юность он видел в этой раскатистой дали, потому и грудь теснило светлой грустью. Но взгляд его уже привык и к другому: к тесноте сопки, распадков, к терриконам городка и к буйству леса, потому и в этой ровноте далекой все время виделось воображением те сопки да леса.

Песед отъездом проводины устроили. В ограде под черемухой поставили столы. Еще жаворонки спать не уселись в густоту синеватых трав, журчали в предзаревом небе; пересушенными задень голосами округло взванивали перепелки, и Михаилу все думалось и думалось: «Конец Чумаковке от сего лета и навеки. Уж не приедешь сюда, не погостишь. Останется только речка Тихонькая с почти стоялой водой, в кудрях тальников, да и то может недолго прожить — теперь и у рек жизнь становится недолгой».

Снохи с тещей Ивана Варварой Степановной песню заладили: «Ой, ты степь широко-окая-я...» Проголосно затянули на высокой душе. Варварин муж Игнат Васильевич, маленький крепкий чалдон с накаленным до красноты погожими днями лицом, плавно покачивал круглой головой, колыбал светлый хохолок и, шуря васильковые глаза, как-то всхлипываяще повторял:

— Молодцы бабы, язви их, ах, молодцы!

Валентина тоже приладилась петь, но вдруг споткнулась, скомкав конец песни, повела печальными серыми глазами, как бы напоследок оглядывая полюбившуюся ей родню, и уронила лицо в ладони.

— Ну, и не ездили бы,— сказал Иван строго. — Что он, Дальний Восток?.. Край земли и есть край земли... Жить на краю-то...

— Да какой край, Ваня?.. — Валентина, промокая платочком глаза, кивнула на Михаила. — Для него уж самая середка. Да и я родилась там, дети. Дом стоит, дожидается...

Дом!..—осердилась Варвара Степановна.— Тут дома не нашлось, что ли? Ты-то хоть не молчи, пень сивый! — толкнула локтем мужа в бок и, видимо, больно толкнула — тот дернулся, озлясь, и тут же лицо его приняло прежнее спокойное выражение.— Всю жизнь такой: хоть потоп, хоть пожар — ни слова от него, ни совета.

«Отец родной не осуждает, а она лезет. Лишь бы душу рвать человеку». — Михаил осуждающе посмотрел на Варвару Степановну.

Лабуня спешил от калитки, топал длинными ногами в самопошивных сапогах.

— Лабуня, драгун-гусарик! — шумел Трофим.— Дай на завтра кобылу. Михаила Семеныча поскачу провожать.

— Отгусарил, отдрагунил, умереть мне, не ожить! Три оврага на всю степь... Эх! Выйду на заре в степь — все, кажется, ржут. Ладно машины, пусть, а степь без лошадей — как это? Миша, Михаил Семеныч, помнишь, скачки вам ладил? Соловую Стрелку ты любил и цепкий был, что обезьяна,— первым приходил ежераз.

— Было, дядя Антон, да былцем поросло,— вздыхал Михаил, чувствуя всем телом какой-то грустный и торжественный восторг от того, что такая большая у него родня, такая земля большая.

Ночь не наступила еще, но в воздух будто синьки добавили. Далеко вспыхивали зарницы — самое милое в природе для Михаила. И тревожно было на душе: заря не потухла и не потухнет, рассвет будет долгим... А на юге Приморья, на новой родине его, солнце нырнет за сопки, и почти сразу тьма, и рассветы коротки. Куда ни поедешь, ни пойдешь — везде Россия, уму непостижимы ее дали!

Где край России, где ее центр? А он, центр, там, где могилы твоих родных, где ты сам впервые слезы пролил. Сережке одиннадцать, а то скует по леку а распадке, по ручью и лесу, что за до:-: ~ \_ : Изгибом По-лебяжьи. Для Михаила святое уездет. Шумела эта ель до него, засыпала хв: людей, как засыпала следы, однажды :е:ет: оставленные отцом Валентины, дедом Андреем, тещей... И еще долго ей глядеть зеленъ;::: глазами на город и на дом в распадке, хранить прошлое и настоящее, благоговая на будущее. Боша мой, как далеки один

от другого Многоудобный, дом, сад. Ель и эта степь, речка Тихонькая, Чумаковка... Как далеки и разны, но как неодолимо связаны они людскими судьбами. Везде Россия и везде ее центр.

— Значит, Миша, к делу своему,— забасил Лабуня. — Правильно, одобряю. Ты тут жил: хоть и здешний, а чужой...

Родные расходились на ночлег к чумаковским старикам — свой дом всех не вместил. За столом остались только Григорий да Лабуня, оба захмелевшие. Григорий угрюмо и тихо плакал, а Лабуня тянулся со стаканом к Михаилу, уговаривал выпить.

— Мне хватит,— отказывался Михаил. — Сердце у меня, того...

— Ну, ладно, ладно. — Лабуня отставил стакан.— Миша, Михаил Семеныч, помнишь, в предзимье приволокся ты ко мне на конюшню? А?! Пришел — смерть в глазах! И сам я был — тоска горячая. Валентина, слышь? Шахтер он, я конюх. Дело вечное. Ночь вот, а кони в степях не ржут. Кто мы без дела кровного? А душа душу подпирает, умереть мне, не ожить! Слышь, Валентина, человек человека держит. Во! — Лабуня вскинул огромные ладони. — На руках несет. Давай попросаемся. Мне в степь надо рано... Долгие проводы — лишние слезы. Люб ты мне, Миша, дорог — век не забыть. Поцелуемся за оба раза!

Лабуня крепкими ногами обошел стол, стал тыкаться Михаилу в щеки колючками усов. Оттолкнулся от его плеча.

— Вот, теплый ты и ясный. Кому так говорил? Никому. Кого люблю, того и уважаю. Ты береги его, Валентина. Дед Лабуня жизнь прожил — знает, где зерно, где полова. Тебе счастье далось. Не уберегешь, век слез не измеришь.

Взял стакан, но пить не стал, припечаталдном о стол, водка плеснула через край.

— Пошел я. Прощай, душа-человек. Не забывай Лабуню. Вернешься когда в степь, на могилку приди.

— Да чего ты! Еще поживешь.

— Поживу. Знаю, сколько поживу. К могилке как раз и придешь. И сиди-ка, не ходи,— сдержал порыв Михаила проводить его. — Что за крайтвой далекий, не знаю, не бывал там, а люди везде хорошие есть. Вот хоть ты туда рвешься. Не к пустому месту, а к людям, к делу... Твое там, а наше тут, дела розны, а души одинаковы, умереть мне и не ожить!

— Поговорка у тебя неприятная...

— А что, от приятной проживешь дольше? А жить-то охота, Миша, охота! Прощайте,— бросил, не оборачиваясь.

Лабуня тенью скрылся за углом дома, и у Михаила что-то новой волной стеснило сердце, будто и вправду прощание произошло перед отцовской смертью. На отца что-то все Лабунины слова о смерти перекинул,

— На могилку, говорит, приди,— усмехнулась Валентина. — А сам нас переживет...

— Ну, а переживет — что из того? Чего злишься-то, если хороший человек жить будет?

— • Миша, Миша, седой ты уж,— давясь словами, с досадой заговорила Валентина. — И жизнь тебя помотала, и пакости тебе люди устраивали, а для тебя все хорошие...

Сердце его упруго давило, возилось у стенки груди, будто искало выхода наружу, и он тянул в себя воздух изо всей силы, а его не хватало. Михаил уронил голову на руки, лежавшие на столе. «Зря выпил»,— думал он. И вдруг хорошо так, мягко забылся... Будто стоит он на берегу озера Ханко, ждет электричку, а денег нету, и тут подходит мать: «Есть, говорит, деньги, поедем со мной». — «Куда я с тобой, ты же мертвая». А тут и отец: «Не ездь, сынок, не слушайся». А электричка в камышах мельтешит, проходит, и родители уже в последнем вагоне. Мать смотрит на Михаила, а отец рукой слезы утирает. Электричка вышла на чистую воду, а потом стала вздыматься, превратилась в птичий косяк и исчезла над серым горизонтом. «Вот дурак, что же я остался один,— ругал себя Михаил. — И куда уехали, не знаю. Да ничего, отец напишет». А отец — сзади! «Пойдем со мной». Голос его и обличье здоровое, веселое...

Спал не спал, диво-то какое! Поднял голову, а в степи туманец розовый! Стол мокрый от росы, и на нем рядом с Михаилом — буйная головушка Григория, скошенная сном. Слушал сердце, а оно с хромотой работало. «Не пустят врачи в шахту, учуют»,— подумал.

Солнце наладилось восходить — над краем земли кучу "жара накаливало-накаливало добела. А в Приморье, вспомнил, теперь позднее утро.

Если там ясная погода, то дом из-за сопки светом залило. В саду тень и роса, внизу ручей по камням гулькает, лопочет. С прохладного, с навесиком крыльца видна внизу, в долине, часть города и оранжевые осыпи терриконов «Глубокой».

Михаил прикрыл глаза и будто все это увидел и на этот раз особо остро понял, что нельзя вернуться в прошедшую жизнь.

Степь еще долго гналась за поездом: ближее отставало, а то, что было дальше к горизонту, забегало вперед и где-то далеко впереди медленно поворачивало и уж потом торопилось навстречу. И все же кончилось гладкое травянистое однообразие, и за окном закружились леса и далекие увалы Восточной Сибири.

Михаил почти не слезал со средней полки, все глядел в окно, а когда надоело, пробовал читать. Чувствовал в теле неодолимую лень и слабость и не было желания думать ни о прошлом, ни о будущем.

— Как дорога надоела, господи! — мучилась Валентина. Откидывалась к стенке, руки за голову, прикрывала глаза.

Тридцать седьмой год, а ни морщинки на лице, ноги будто молоком налиты, вроде и не рожала никогда. «Жили вместе — изнашивались врозь»,— думал лениво Михаил.

ч

Но расслабленное его спокойствие было неверным. Иногда он спохватывался, словно вспомнив что-то нечаянно забытое и очень нужное. «Ну да,— решал несвязно,— такую землю шагами не *zzF.iiih...* На ней жить — силу надо иметь немалую...»

«Не подведешь?» — «Не подведу». — «Не подведешь?» — «Не подведу»,— пощелкивали колеса, а мим; бежала земля и земля...

## МИХАИЛ СВЕШНЕВ-ОБЩЕСТВЕННАЯ ДУША

*В советской литературе мы не раз встретим произведения, уже самими названиями которых авторы активно, настойчиво обращают внимание читателя на главный предмет забот и страстей своих героев, — на событие или общественное явление, процесс, род деятельности, что собрали вокруг себя людей, связали или разомкнули в конфликте, вызвали к жизни душевные ценности или проявили скрытые до того изъяны характера, мировоззрения. Вспомним, например, такие из них, как «Доменная печь», «Бронепоезд 14-69», «Цемент», «Гидроцентральный», «Танкер «Дербент», «Большой конвейер», «Черная металлургия».*

*Названия, казалось бы, не содержат метафоры, символа, не являют собой формулу главной мысли произведения. Однако в них — мудрый расчет литератора на жизненный опыт читателя, и опыт этот сразу же встрепенется в читательской душе от встречи с названным явлением и скажет многое. Поэтому уже своим заголовком эти книги выбирают себе вдумчивого, преданного читателя: любителю скоротать за книгой, время такие произведения «не по зубам», зато читатель, обращающийся к литературе, как к учебнику жизни, будет вознагражден.*

*Такому читателю и адресует свой первый роман «Шахта» Александр Плетнев. Для него, проработавшего в горнодобывающей промышленности более двадцати лет, жизнь шахты — . . . <ный узел трудовых, бытовых, этических, психологических связей между людьми, полем столкновений и дерзаний, срез общественного бытия для лирических и философских размышлений над ним.*

*А. Плетнев новаторски подошел к жизненному материалу, воссоздаваемому в романе. Произведение, встречающее читателя суровым «технологическим» заголовком, оказывается романом лирическим, исповедальным даже, — так близко стоит писатель к своему главному герою, м. . . горных комбайнов Михаилу Свешневу. Значит ли это, что нам не открываются приэ. . .-твенные конфликты шахты «Глубокая»? Нет, писатель добивается в этом романе г. . . : — пак называемой «производственной теме» мало кому удастся. Кажется, наконец пришел к читателю роман, где многослойная жизнь современного рабочего воссоздана во всей ее сюжестности и неделимости, где хорошо видно взаимопроникновение и связь городских и деревенских, рабочей косточки и крестьянина, старшего поколения и младшего, времени минувшего и дня сегодняшнего, — словом, запечатлена в художественно зримых и эмоционально впечатляющих образах та естественная, извечная, исторически необходимая*

яровая слитность, что замыкает в реальной действительности круг общественной жизни, что составляет наше бытие.

Мы часто остаемся не удовлетворены книгами, где судьба героев связана с производством, жизнью рабочего коллектива, — они грешат порой одноплановостью, самодостаточностью конфликтов. И еще — редко духовная, этическая, эмоциональная жизнь героя, его размышления выплескиваются за пределы проходной, а тем более интересов собственной семьи или круга сослуживцев, и, как правило, опять-таки связаны с течением и разрешением производственного конфликта в чистом его виде. Наша проза, порой, еще робко, с трудом отрывается от проторенной и основательно укатанной дорожки «производственного романа» пятидесятых годов, хотя, разумеется, самое производственную сферу пишет иначе, — без дежурного «очеловечивания» героев.

Роман А. Плетнева, безусловно, вырывается из этих пут и выходит к широкому и прозорливому огляду духовной жизни рабочего человека наших дней. Он взламывает все условные перегородки, потому что автор изначально ставит себе задачу писать не «про шахту» (и пусть никого не обманет такое «технологическое» название романа). Михаил Свешнев понимает, что его жизнь — «это жизнь не одного человека: так ты весь опутан, окружен другими жизнями, судьбами, так плотно и широко пронизан ими твой дух, что и одинокая, маленькая жизнь одного становится не одинокой и не маленькой».

Роман этот складывался у Плетнева, вынашивался давно, исподволь: его черты угадываются и в повести «Три дня в сентябре», и в ранних рассказах «Маршалы в отставку не уходят», «Без свидетелей», в автобиографической «Второй смене» («Поверившие в меня»). Можно сказать, что Михаил Свешнев — это и повзрослевший Сережа Журавлев из повести «Дивное дело»... Однако роман — это открытие целого материка народной жизни, той, что прежде осваивал писатель в отдельных ее проявлениях. Решающим в успехе романа можно считать выбор А. Плетневым главного героя, а вернее, выбор судьбы человека. Однако выбор этот никогда не бывает произволен, механистичен.

Личность автора, его гражданская судьба обычно становятся тем невидимым, неявным, до конца непознаваемым миром, откуда приходят первые импульсы творчества, где возникает и чем чаще всего определяется замысел произведения писателя. Концепция романа «Шахта» органична для Александра Плетнева. В судьбе Михаила Свешнева — яркий свет судьбы самого писателя. Тема выбрала писателя раз и навсегда: военное голодное детство, ранний труд в помощь семье привели его на шахту, соединили на долгие годы с рабочим коллективом, обогатили народным мироощущением. Возможно, и автор, как и его герой, спускался в шахту пять тысяч шестьсот тридцать или сорок раз и столько же раз поднимался на-гора...

Личностная окраска авторской позиции в романе сообщает творящейся в ней жизни и размышлениям персонажей особую достоверность и искренность, проникновенный лиризм. Этому способствует и стилистика романа, несобственно прямая речь, частые внутренние монологи Михаила, который с некоторых пор «вроде как приподнялся над жизнью и теперь торопливо, с жадностью вглядывался, словно бы примеривая, определял: кто он есть среди людей и как с ними ладить дальше?». И читателю дано услышать и мучительные, и ответственно тревожные, и благодарно радостные раздумья рабочего Свешнева о сущем и былом, проникнуть в побудительные причины его поступков, героических и будничных одновременно, осознать вместе с ним его место среди людей родной деревни и родной шахты.

Михаилу Свешневу мало личного благополучия, мало удобно и счастливо жить в семье, хорошо зарабатывать, — его духовная зрелость и классовая ответственность за устройство жизни других органично увязывает в его душе семейные заботы и общественные, личные и государственные, выказывая в нем человека нового склада, гражданина, не потребителя, а устроителя жизни. Талант Александра Плетнева воссоздал этот реальный жизненный тип достоверным и, главное, нравственно притягательным. И потому все сомнения и ра-



дости Михаила, осе его душевные движения становятся сердечно близки читателю. Вот, поднимаясь в клети из забоя, он видит на бетоне ствола оттиск ладони кого-то из строителей шахты в далеком двадцать восьмом году, — это будто привет из прошлого, словно стремящаяся к рукопожатию с новым поколением шахтеров рука ветерана... И остро, как о глубоко интимном, личном задумался Михаил Свешнев: «Что они за люди, шахтеры, кто он сам, Михаил? Неужто особенного устройства тела и души, коль не чувствуют себя обделенными, раз их жизнь, если отбросить сон, большей частью проходит там, где никогда не ударит в глаза свет, пусть хоть пасмурного дня, свет, с которым в глазах родился человек и только со смертью его должен утратить?.. Зло ли несусветное вгоняло его в землю, силушка ли добрая, смекалистая ли забота на века вперед?» Впрочем, вопрос скорее риторический: «смекалистая забота» движет и жизнь Свешнева.

В бесконечной цепи поколений Михаил ощущает себя крепким и необходимым звеньишком, зорко глядит он в обе стороны — и в будущее, и в прошлое. На него пришлось в этой цепи новое качество, особой крепости место — ему выпало стать рабочим, первым в своей крестьянской династии.

«Раз пошел, то не останавливайся. Иди в рабочие. И нас оттуда поддержишь...» Не думал потомственный крестьянин Семен Егорович Свешнев, отец Михаила, напутствуя сына в юности, что слова его прозвучат символически. Но не случайно прозвучали они: классовая позиция в оценке и в созидании жизни присуща народу, а Семен Егорович — плоть от плоти его.

И старый откатчик Федор Лытков спустя годы в очень важном для Михаила, тогда еще молодого шахтера, разговоре напоминает: «Ты рабочий, а рабочему силы надо раскладывать так, чтоб на всю жизнь». И навсегда уточняет для себя Михаил, кто в жизни «основа», а кто «косвенность». Основа ее — это и бывший директор, основатель шахты «Глубокая» Караваяев, и нынешний — Комаров. Федор Лытков и банщица Дарья Веткина, старый конюх Лабуня, мать и отец, дед Андрей и молодой инженер Борис Черняев — все те, кто в деревне ли, в колхозе или в городе Многоудобном, в шахте берут на себя всю полноту ответственности за разумное и справедливое устройство жизни и труда, за человеческое самочувствие всех, кто живет и работает рядом. А они зависят не в последнюю очередь и от тех, кто в обществе «косвенные» — от агрессивно-равнодушного начальника участка Василия Головкина, бывшего «самого большого активиста», бездумного исполнителя Ивана Загребина, хвата и гуляки, браконьерствующего среди женщин поселка шахтера Петра Азоркина, циничного «вкалызателя», бригадира Ефима Колыбаева, «прогрессивного» директора совхоза Цимбаленко, забывшего в «неперспективной» деревне стариков пенсионеров, бывших колхозников... Всех вбирает Михаил Свешнев в круг своей жизни, ни от кого не отталкивается, как не оттолкнулся, не оставил под рухнувшей кровлей забоя Петра Азоркина. Ему их от «косвенности» к основе жизни поворачивать]

Ненавязчиво возникают в романе «Шахта» параллели судеб людей, живущих на первой родине Михаила, в сибирской деревне, или здесь, на его второй родине, в приморском шахтерском городе. Они принципиально важны для писателя, эти параллели, в утверждении главной мысли романа: общая история, единая Родина, одна цель, одинаковые заботы у народа, в какой бы точке российских пространств он ни прикрепился к земле: «Михаилу иной раз чудилось, что он живет две жизни, что родился сразу в двух местах: там, в черноземной степи, где обойди все до окоема, а камешка, даже с воробьиное яичко, не найдешь, и тут, где взялись сопки из дробленого камня — некуда лопатой ткнуть, все звенит... Для него эти две земли, расположенные за шесть тысяч километров одна от другой, будто сдвигались, сливались воедино.

Мотив родного — Родины, отчего дома, главного дела, семьи, большой родни — в расширительном, народном смысле проходит по страницам романа в ярких лирических и философских размышлениях и главного героя, и самого писателя, в раздумчивых или шумных

беседах персонажей в пронзительно человеческом взгляде писателя на своих героев. Отцовское и сыновнее чувства одинаково ярко цветут в душе Михаила, и опять он здесь — необходимое звено в цепи жизни человеческой. Сень его любви благотворна, ее достает и старикам, и сыновьям: «Дети входили в его душу, как в родной дом, где им все известно и нет никаких загадок: известно, где что лежит необходимое для жизни, что можно трогать, что нельзя, где угол теплей, где холодней, где светлей, где скрытый в полумраке». Человечность как главный секрет воспитания и общения остается и здесь для Михаила первостепенным.

Остро ощущает Михаил свое родство с уходящим «величайшим поколением величайшей силы духа»: «Уходит, а мы остаемся, не слабые, но не такие...» И с теми, кто ушел давно, кто лежит на погосте родной Чумаковки. И с теми, кто живет рядом, с Дарьей Веткиной, например, изработавшейся в войну в забое, а теперь к ней, банщице, привыкли, «как привыкли к вешалкам, к толстым деревянным лавкам... к сыроватому, банному запаху». Кому как не ему, Михаилу, помочь ей, вдове, — и вот уже чувствует, «что с заботами о Дарье жизнь его вроде бы вздорожала. Да и Дарья, видел, отмякла, ожила — материнское-то, должно, никаким пеклом одиночества не засушить, никакому времени не выветрить».

И нам дороги, близки душевные движения героя, его «какой-то грустный и торжественный восторг от того, что такая большая у него родня, такая земля большая».

Михаил Свешнев, такой, каким мы его узнали, не один в романе, — рядом его братья, Борис Черняев, жена Валентина, за ним — его поколение.

Крестьянский сын, кадровый шахтер, общественная душа, Михаил Свешнев — принципиальная удача Александра Плетнева. Это мастерски написанная судьба советского рабочего, точно увиденный в жизни новый социальный тип, в своей исторической судьбе заботливо связывающий интересы города и деревни.

НИНА ПОДЗОРОВА

Александр Никитич Плетнев

ШАХТА

Роман

Редактор с. ГЛАДКОВЛ

Художественный редактор С. Гераскевич. Технический редактор Т. Тарханова.

Корректоры Т. Калинина и И. Филатова

© Фото П. Казанцева

СЛАНО В НАБОР 27.10.80. ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 09.12.80. А09440. ФОРМАТ S4:< 125.1.. БУМАГА ГАЗЕТНАЯ. ГАРНИТУРА «ЛИТЕРАТУРНАЯ». ПЕЧАТЬ ВЫСОКАЯ. 10,08 УСЛ. ПЕЧ. Л. 12.S12 \Ч.-НЗД. Л. ТИРАЖ 2<sup>и</sup> 000 ЭКЗ. (2-Й ЗАВОД 500 001—2 391'000 ЭКЗ.). ЗАКАЗ 1590. ЦЕНА 61 КОП.  
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 107882, ГСП, МОСКВА, Б-78, НОВО-БАСМАННАЯ, 19  
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Д Тnvmnrrn КВАСНОГО ЗНАМЕНИ  
НАБРАНО И СМАТРИДИРОВАНО В ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ ^ ^ ^ ^ ^ ^ т ^ А. М. ГОРЬ-

КОМИ ---

ЗАК, ЗЯ99

Рукописи ранее не опубликованных произведений не рассматриваются.

В третьем номере

«Роман-газеты»

*читайте*

сборник повестей

**« С И Б И Р С К И Е   Д А Л И »**

В сборник включены произведения Константина Лагунова «Самотлор», Валерия Поволяева «Трасса» и Бориса Фаина «Вахтовый поселок». В них дается широкая картина разработки и освоения уникального нефтеносного района страны, ярко показана жизнь и работа газодобывателей и нефтяников Западной Сибири.

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

Георгий БЕРДНИКОВ, Юрий БОНДАРЕВ, Олесь ГОНЧАР,  
Даниил ГРАНИН, Геннадий ГУСЕВ, Сергей ЗАЛЫГИН,  
Феликс КУЗНЕЦОВ, Леонид ЛЕОНОВ, Василий НОВИКОВ,  
Евгений НОСОВ, Александр ОВЧАРЕНКО, Петр ПРОСКУРИН,  
Валентин РАСПУТИН, Александр РЖЕШЕВСКИЙ (ответственный секретарь), Сергей САРТАКОВ, Андрей САХАРОВ

61 н.

8-95

70782